

ЗНАМЯ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

3

1953

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

3
1953



ЗНАМЯ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

23-й год издания

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

- От Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР
Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза 3
- М. ТЕВЕЛЁВ — «Свет ты наш, Верховина...», роман. Окончание 6
- СЕ МАН ИР — Кочжедо, стихи, Авторизованный перевод с корейского Н. Грибачёва 72
- Фридрих ВОЛЬФ — Летящие блюдца, роман. Авторизованный перевод с немецкого А. Ариан 76
- Владимир ОСИНИН — В Западной Германии, стихи 111

ПУБЛИЦИСТИКА

- В. ПОДОСЕТНИК — И. В. Сталин о борьбе против догматизма в научном познании 113
- Полковник Н. ТЯГУНОВ — Бдительность — острейшее оружие советских людей . . 125
- Народный арт. СССР Алексей ДИКИЙ — Буржуазный театр в тупике 132

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- В. ЕРМИЛОВ — О драматической сатире Аугуста Якобсона 142
- В. ОЗЕРОВ — Проблема типичности в советской литературе. Окончание 160
- П. ВЕРШИГОРА, А. АКимова, И. ФРЕНКЕЛЬ — Молдавский журнал «Октябрь» 176
- И. МАСЛОВА — Люди, которым принадлежит будущее 188

МАРТ

КНИГА ТРЕТЬЯ

**ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
И ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР**

*Ко всем членам партии,
ко всем трудящимся Советского Союза.*

Дорогие товарищи и друзья!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 час. 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа — Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

Имя СТАЛИНА — бесконечно дорого для нашей партии, для советского народа, для трудящихся всего мира. Вместе с Лениным товарищ СТАЛИН создал могучую партию коммунистов, воспитал и закалил её; вместе с Лениным товарищ СТАЛИН был вдохновителем и вождём Великой Октябрьской социалистической революции, основателем первого в мире социалистического государства. Продолжая бессмертное дело Ленина, товарищ СТАЛИН привёл советский народ к всемирно-исторической победе социализма в нашей стране. Товарищ СТАЛИН привёл нашу страну к победе над фашизмом во второй мировой войне, что коренным образом изменило всю международную обстановку. Товарищ СТАЛИН вооружил партию и весь народ великой и ясной программой строительства коммунизма в СССР.

Смерть товарища СТАЛИНА, отдавшего всю свою жизнь беззаветному служению великому делу коммунизма, является тяжчайшей утратой для партии, трудящихся Советской страны и всего мира.

Весть о кончине товарища СТАЛИНА глубокой болью отзовется в сердцах рабочих, колхозников, интеллигентов и всех трудящихся нашей

Родины, в сердцах воинов нашей доблестной Армии и Военно-Морского Флота, в сердцах миллионов трудящихся во всех странах мира.

В эти скорбные дни все народы нашей страны ещё теснее сплачиваются в великой братской семье под испытанным руководством Коммунистической партии, созданной и воспитанной Лениным и Сталиным.

Советский народ питает безраздельное доверие и проникнут горячей любовью к своей родной Коммунистической партии, так как он знает, что высшим законом всей деятельности партии является служение интересам народа.

Рабочие, колхозники, советские интеллигенты, все трудящиеся нашей страны неуклонно следуют политике, выработанной нашей партией, отвечающей жизненным интересам трудящихся, направленной на дальнейшее усиление могущества нашей социалистической Родины. Правильность этой политики Коммунистической партии проверена десятилетиями борьбы, она привела трудящихся Советской страны к историческим победам социализма. Вдохновляемые этой политикой народы Советского Союза под руководством партии уверенно идут вперёд к новым успехам коммунистического строительства в нашей стране.

Трудящиеся нашей страны знают, что дальнейшее улучшение материального благосостояния всех слоёв населения — рабочих, колхозников, интеллигентов, максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества всегда являлось и является предметом особой заботы Коммунистической партии и Советского Правительства.

Советский народ знает, что обороноспособность и могущество Советского государства растут и крепнут, что партия всемерно укрепляет Советскую Армию, Военно-Морской Флот и органы разведки с тем, чтобы постоянно повышать нашу готовность к сокрушительному отпору любому агрессору.

Внешней политикой Коммунистической партии и Правительства Советского Союза являлась и является незыблемая политика сохранения и упрочения мира, борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политика международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами.

Народы Советского Союза, верные знамени пролетарского интернационализма, укрепляют и развивают братскую дружбу с великим китайским народом, с трудящимися всех стран народной демократии, дружественные связи с трудящимися капиталистических и колониальных стран, борющимися за дело мира, демократии и социализма.

Дорогие товарищи и друзья!

Великой направляющей, руководящей силой советского народа в борьбе за построение коммунизма является наша Коммунистическая партия. Стальное единство и монолитная сплочённость рядов партии — главное условие её силы и могущества. Наша задача — как зеницу ока хранить единство партии, воспитывать коммунистов как активных политических бойцов за проведение в жизнь политики и решений партии, ещё более укреплять связи партии со всеми трудящимися, с рабочими, колхоз-

никами, интеллигенцией, ибо в этой неразрывной связи с народом — сила и непобедимость нашей партии.

Партия видит одну из своих важнейших задач в том, чтобы воспитывать коммунистов и всех трудящихся в духе высокой политической бдительности, в духе непримиримости и твёрдости в борьбе с внутренними и внешними врагами.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета СССР, обращаясь в эти скорбные дни к партии и народу, выражают твёрдую уверенность в том, что партия и все трудящиеся нашей Родины ещё теснее сплотятся вокруг Центрального Комитета и Советского Правительства, мобилизуют все свои силы и творческую энергию на великое дело построения коммунизма в нашей стране.

Бессмертное имя СТАЛИНА всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества.

Да здравствует великое, всепобеждающее учение Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина!

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина!

Да здравствует наш героический советский народ!

Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского Союза!

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА**

**СОВЕТ
МИНИСТРОВ
СОЮЗА ССР**

**ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СОЮЗА ССР**

5 марта 1953 года

«СВЕТ ТЫ НАШ, ВЕРХОВИНА...»

Р о м а н

43*

В тревогах и слухах, а потом в угрозах и воинственных выкриках пришёл тридцать восьмой год. Подобно тому, как совсем ещё недавно всеобщее внимание было приковано к Абиссинии — первой жертве захватнических устремлений фашизма, — а несколько позже к мужественной Испанской республике, подобно тому, как взирал изумлённый мир на молниеносное превращение Австрии в германскую провинцию, так в тридцать восьмом году миллионы глаз были устремлены на Чехословакию.

Разжигая нацистский психоз среди судетских немцев, фашистская партия бывшего гимнаста Генлейна, державшая в чехословацком парламенте около сорока мандатов, стала требовать присоединения Судетской области к Германии.

Вместо того чтобы запретить эту партию и лишить её мандатов, правительство попустительствовало генлейновцам под прикрытием всё тех же лозунгов пресловутой «демократии». Но, в сущности, оно уже боялось своих доморощенных фашистов, за спиной которых стоял Гитлер. Что он теперь предпримет? Об этом только и говорили при встречах, об этом в страхе думали мирные люди, включая радиоприёмники.

— Ультиматум, пане! — взволнованно выкрикнул однажды старик-почтальон, протягивая мне, как он делал это каждое утро, газету сквозь решётку калитки.

— Какой ультиматум?

— Да вот, пане, читайте... Гитлер заявил Праге о своей поддержке требований Генлейна...

Это страшное известие не явилось для меня неожиданностью. Рано или поздно мы готовы были его услышать, но удар от этого не стал менее чувствительным... Ошеломлённый, я развернул газетный лист.

— Вот тут, пане, — тыкал пальцем в газету почтальон. — На первой странице...

Был тот час утра, когда на нашей обычно тихой улице царил недолгое оживление. С подлесной северной стороны шли на работу железнодорожники, водопроводчики, каменщики, ехали на велосипедах служащие частных и государственных контор. Все они знали почтальона Мучичку и, поровнявшись с нами, спрашивали:

— Какие новости?

— Ультиматум, — горестно отвечал почтальон.

Люди останавливались, слезали с велосипедов, просили газету и, заглядывая через плечо, друг другу читали. Одни бурно выражали своё негодование, другие подавленно молчали.

— Дождались! — гневно воскликнул пожилой мужчина в форме железнодорожника. — Дело ведь не в Судетах! Судеты — только проба.

* Окончание. См. «Знамя» №№ 1 и 2 за 1953 год.

Этот проклятый Гитлер рассчитывает проглотить всю Чехословакию, как проглотил Австрию!

Мучичка глубоко вздохнул:

— Я маленький человек, но я думаю: Испания, Австрия, теперь мы... Когда же он наконец подавится?

— Теперь должен подавиться,— уверенно произнёс железнодорожник.— Я уже хлебнул порохового дыму достаточно, но если речь зайдёт о том, что пора поломать рёбра Гитлеру, готов хоть сегодня!

— Один в поле не воин,— печально проговорил стриженный под ёжик велосипедист.— Мы маленькая страна, хотя наша армия не на последнем счету.

— Но у нас большие союзники! — горячо возразил я.— Россия и Франция!

— И вы верите в союзников, пане? — спросил велосипедист.

— В Россию — да,— ответил я твёрдо.

— Вместе с Россией,— воскликнул почтальон,— и я солдат!

Это было сказано от души и с таким задором, что все улыбнулись Мучичке. Он отковырял и, поправив сумку, зашагал в своей форменной, развевающейся пелерине к соседнему дому.

Требование, предъявленное Гитлером, породило, однако, не смятение, чего ожидали генлейновцы и на что рассчитывал сам германский фюрер, а гнев и решимость народа отстаивать свою независимость. Должно быть, это и побудило правительство объявить мобилизацию.

Эшелоны везли мобилизованных к германской границе, в Судетские горы, и к границе с Венгрией, где националисты уже в это время открыто заговорили о своих притязаниях на подкарпатский край, эту якобы исстари венгерскую землю.

«Гитлер не пройдёт! Хорти не пройдёт!» — кричали мобилизованные, когда эшелон останавливался на станции, и пели ставшую популярной в Чехословакии советскую песню «Если завтра война».

А по городам и сёлам всё настойчивее и настойчивее стали говорить о том, что Сталин приказал восьмимиллионной армии быть наготове и, как только понадобится, придти на помощь Чехословакии; то была надежда народа, его желание, его глубокая уверенность.

Только теперь, в наши дни, всем стало известно предложение товарища Сталина, переданное в ту пору через Клементу Готвальда президенту Чехословакии Бенешу. Это было подтверждение обязательств, взятых на себя Советским Союзом. Советский Союз готов оказать военную помощь Чехословакии даже в том случае, если этого не сделает Франция, и даже в том случае, если бековская Польша или боярская Румыния откажутся пропустить советские войска. Сталин подчеркнул, что Советский Союз может оказать помощь Чехословакии при одном условии: если сама Чехословакия будет защищаться и попросит о советской помощи.

Лишь немногие знали в те дни об этом предложении Сталина. Но ни для кого не были секретом происки близких к правительству реакционных элементов, добивавшихся отказа правительства от договора с Советским Союзом.

— Гитлер оценит такой шаг,— твердили они,— и Чехословакия будет спасена.

Народ сердцем чувствовал опасность, грозившую ему, и вот, как выражение самого главного, чем жили теперь люди, прозвучало требование к правительству: «Мы за нерушимый договор с Советским Союзом!»

Эти слова родились одновременно во всех областях Чехословакии. Они были начертаны углем и мелом на стенах домов. Их писали на своих транспарантах рабочие-железнодорожники и верховинские лесорубы. Они звучали с одинаковой силой в разных концах площади Коря-

товича в Ужгороде, где собрались делегаты от нашего края для участия в демонстрации единого антифашистского фронта.

Вместе с делегатами на площадь пришли сотни людей, встревоженных, негодующих и в то же время готовых к действию, жаждущих встать на защиту своей страны от разбойничьих притязаний фашизма.

Стихийно возник митинг. В центре площади на крыше легковой машины стоял Куртинец. Лицо его было строго, и голос звучал отрывисто и взволнованно.

В эти грозные дни, не зная ни сна, ни отдыха, он выступал то у солотвинских солекопов, то перед солдатами на венгерской границе, то у великобычковских химиков, то в горных сёлах.

Для одних его слова как бы служили выражением их собственных чувств и мыслей, для других они становились спасительной твердью среди засасывающих, подобно трясине, шепотков трусов и пораженцев.

— Только одно,— говорил Куртинец,— только одно может ответить нависшую над нами опасность: верность договору с нашим советским союзником и решительные меры против тех, кто толкает страну на путь капитуляции. Нам говорят: отдайте Судеты Гитлеру — и вы спасёте мир в Европе. Ложь! Если мы согласимся, нас ждёт не мир, а война, нас ждут такие страдания, каких ещё не испытывали люди. Полное доверие Советскому Союзу, с которым мы связаны договором о взаимопомощи! Фашистов — за решётку, а демократию — народу! Все права словакам и украинцам! Вот программа спасения, которую народ должен заставить президента и правительство принять немедленно, пока ещё не поздно...

И площадь ответила на эти слова одобрительным гулом.

Вслед за Куртинцом один за другим выступали всё новые ораторы. Старуха-табачница из Мукачева требовала:

— Запишите мои слова и передайте их пану президенту. Я вскормила и вырастила пятерых сыновей. Это моя надежда и радость, другой радости у меня нет в жизни. Теперь они все пятеро стали солдатами. Вчера я проводила их в Судеты, на границу. Пусть не предадут моих детей! Скажите пану президенту, пусть их не предадут!

Наконец на крышу машины взобрался член комитета антифашистского фронта, делегат из горного Хустского округа.

Прочитав список лиц, представленных округами для поездки в Прагу, он выразил сожаление, что не хватает средств отправить всех, и предложил сократить число делегатов.

— Не сокращать! — слышались голоса.

— Пусть едут все!

— Объявите сбор!

— Сбор! Сбор!

— Прошу слова! — крикнул я и, оставив пришедшую со мной на митинг Ружану, стал пробиваться к машине.

Несколько человек подняли меня и поставили рядом с делегатом из Хустского округа.

Возбуждённые голоса откатились и замерли на дальних краях площади. Передо мною оказалось море голов, сотни лиц, старых и молодых.

Я снял с пальца кольцо и поднял его высоко над головой. Это было серебряное обручальное колечко матери, которое долго хранил Горуля и которое я носил теперь после смерти Гафии.

— Разыгрывается серебряное кольцо! — выкрикнул я. — Разыгрывается кольцо! Сто крон, кто больше?

— Сто десять,— отозвался стоявший у самой машины пожилой рабочий. Он снял старую, замусоленную шляпу и, положив в неё десять крон, поднял шляпу так, чтобы её видно было далеко.

— Сто десять,— повторил я.— Кто больше?

— Сто пятьдесят!

— Сто пятьдесят пять!

Сумма росла с каждой минутой. Кроны и геллеры со всех концов площади стекались к машине.

— Триста семьдесят крон, кто больше?

И откуда-то издалека слышалось:

— Четыреста!

Я едва успевал объявлять новую цифру. И через каких-нибудь полчаса простое серебряное колечко ценою в три — пять крон уже стоило дороже бриллиантового. Полторы тысячи! Две, три, пять тысяч крон!..

Не знаю, кому досталось это обручальное кольцо. Я протянул его стоявшей у машины девушке, та передала колечко селянину, и оно поплыло над головами людей и затерялось где-то в толпе.

По улицам столицы вместе с чехами, словаками, венграми, немцами-антифашистами, скандируя: «Верность договору с СССР», — прошла и наша многочисленная делегация.

Прага кипела. Казалось, все жители были в этот день на улице.

Перед президентским дворцом демонстранты избрали депутацию, которая должна была вручить Бенешу требование народа, принятое на митингах антифашистского фронта во всех краях страны. В числе избранных депутатов оказался и я.

У дворцовых ворот я очутился рядом с профессором Ярославом Марек; он приехал в Прагу делегатом из Брно. Мы молча крепко пожали друг другу руки, и в этом рукопожатии заключалось всё: и радость неожиданной встречи, и наша тревога, и наша решимость.

Президент республики доктор Эдуард Бенеш принял нас у себя в канцелярии.

Щупленький, невысокого роста человек с прилизанными на пробор светлыми волосами и с такой же, казалось, прилизанной улыбкой вышел к нам в просторную приёмную.

Ему навстречу из рядов депутации выступил Ярослав Марек. Он поклонился Бенешу и протянул папку, в которую были заключены резолюции митингов.

— Это воля народа, пане президент, — сказал Марек. — Народ хочет мира и готов заплатить за него кровью, но не свободой. Народ хочет, пане президент, чтобы вы и правительство отвергли предложение о капитуляции и в своих решениях исходили только из интересов независимости страны.

— У нас нет никаких других интересов, — перебил Марека Бенеш, и в голосе его послышалось недовольство. Улыбка исчезла с лица президента.

А Марек, будто не расслышав слов Бенеша, продолжал:

— Народ протестует против того, чтобы Чехословакия стала разменной монетой для правительств некоторых держав в их игре с Гитлером. Народ отлично понимает, что мы небольшая страна, но мы можем спасти свою независимость — спасти мир, — если попросим помощи у Советской России. Народ ждёт её. Слово за правительством. Честь имею, пане президент!

Марек поклонился и отступил на своё место.

Бенеш, не читая, перелистал несколько страниц в папке, закрыл её и произнёс:

— Я и правительство — слуги республики. Мы выполним свой долг до конца.

Больше он ничего не сказал. Аудиенция окончилась.

И они выполнили свой долг до конца, эти «слуги республики»! Но не перед народом и страной, а перед теми, кто назначал их президен-

тами. премьерами, министрами, кто в лютой своей ненависти к Советской стране вскормил для будущей войны против неё Гитлера.

Правители Франции, Англии, Польши и самой Чехословакии предпочитали отдать страну на растерзание фашизму, чем увидеть в ней хотя бы одного советского воина.

Польское правительство заявило, что оно не сможет пропустить через свою территорию Красную Армию. Нам было известно, что отвечало правительство Франции на предложение Советского Союза выполнить взаимные обязательства перед Чехословакией: «Мы уговорим Гитлера».

Двадцать девятого сентября тридцать восьмого года в Мюнхен на свидание с Гитлером и Муссолини слетелись премьер-министры Франции и Англии.

Может быть, и вам когда-нибудь попадётся в руки старый иллюстрированный журнал, подобный тому, какой лежит сейчас передо мной. На страницах его фотографии запечатлели для истории несколько моментов этого предательского совещания:

Вот за столом, в креслах с высокими спинками, сидят: сам фюрер с безумными глазами маниака, быкородный Муссолини, угодливо улыбающийся премьер-министр Франции Даладье и сухопарый мрачный старик Чемберлен — премьер Англии. Нет среди них только главного — их общего хозяина — денежного мешка Америки. Хозяева с Уолл-стрита не присутствуют здесь, да и зачем им это? Их воля известна, и приказчики договорятся о мелочах сами. До поры, до времени лучше оставаться в тени, у себя дома, за океаном, в Нью-Йорке или Вашингтоне. Что значит для этих международных гангстеров судьба какой-то Чехословакии, если, пожертвовав ею, можно начать готовить Гитлера к походу на Восток! Правда, ефрейтор стал строптив: лезет в Наполеоны и позволяет себе порой огрызаться на самого хозяина, — но что за беда! Война Гитлера с Россией обескровит обе стороны, и тогда можно будет крепко прибрать к рукам и тех и других.

Сделка состоялась. Вопреки воле народа Судеты были отданы Германии без единого выстрела.

С проклятиями покидали солдаты свои укрепления, оставляя оружие врагу. Города были похожи на потревоженные муравейники. Люди толпились у радиорепродукторов, всё ещё не веря случившемуся, всё ещё надеясь услышать опровержение, но его не последовало... Я видел, как плакали женщины, как, ошеломлённые неслыханным предательством, потупясь, стояли мужчины, — каждый из нас чувствовал, что Судеты — это только начало и что самые тяжёлые испытания впереди.

Иллюстрированный журнал не поместил на своих страницах ни фотографий солдат, посылающих проклятия предателям, ни изображения плачущих женщин, он поместил лишь фотографию утирающего слёзы президента. Доктор Эдуард Бенеш в чёрном пальто с непокрытой головой стоял на ступеньках широкой мраморной лестницы, поднося платок к глазам. Теперь никого не могли бы обмануть эти слёзы. Это плакал не президент, на глазах у которого теряла свою независимость его страна, а предатель, добросовестно сослуживший свою нудину службу.

Но не только теперь, годы спустя, а и в ту пору многих и многих не могли уже обмануть крокодиловы слёзы президента. Наступили дни бессильной ярости, разброда и великого протрезвления для тех, кто до последней минуты верил в честность буржуазных правителей, в их преданность республике и народу. Всё рушилось, рассыпалось на глазах с трагической, ошеломляющей быстротой. И те, кто давно уже избрал для себя путь борьбы, стояли на пороге новых, неслыханных испытаний, требующих мужества, жертв и стойкости.

— Вам не следует больше бывать у меня, пане Белинец,— с горечью говорит мне Куртинец.

Он похудел, осунулся, стал необычно молчалив. Анна куда-то уехала с детьми, квартира имеет унылый, заброшенный вид.

— Мы с женой всегда были рады вам, но теперь... У них уже заготовлен манифест о роспуске нашей партии, и не сегодня-завтра коммунистов объявят вне закона.

«Что же будет дальше?» — проносится в мозгу тоскливая мысль, и в памяти одно за другим мелькают события, последовавшие за мюнхенской трагедией.

Как камень, сорвавшийся с вершины горы, увлекая за собой другие камни, с каждой секундой убыстряет своё движение, и вот уже невозможно глазу уследить за стремительно мчащейся лавиной, так неудержимо неслись эти события к своему трагическому финалу.

Едва только свершилось мюнхенское предательство, как главари профашистских партий Подкарпатской Руси господин Бродий, господин Фенцик и униатский священник Августин Волошин поспешно создали слёт своих сторонников, назвав его национальной радой, и в Прагу полетела петиция о предоставлении нашему краю автономии.

Почти двадцать лет правительство республики обещало Подкарпатской Руси эту записанную в конституции автономию, но всеми правдами и неправдами оттягивало выполнение своего обещания, опасаясь, что благодаря сильному влиянию коммунистической партии большинство мест в сейме окажется у коммунистов. Теперь автономию требовали не коммунисты, а Бродий, Фенцик, Волошин — люди, бывшие не на плохом счету у Берлина.

Вопрос об автономии был решён в течение нескольких дней, и она свалилась на нас неожиданно-негаданно, как гром среди ясного неба.

В большом зале ужгородского отеля «Корона» собрали по этому торжественному поводу представителей интеллигенции. На почётном месте, за столиками, восседало несколько министров новоиспечённого кабинета во главе с самим премьером, бывшим учителем пения, Андрием Бродием и несколько селян в постолах и домотканых куртках. Этих селян привёл в отель «Корона» как представителей народа Казарик. Говорили, что он отыскал их перед самым собранием на вокзале среди ожидавших поезда пассажиров. Теперь селяне сидели рядом с министрами и напряжённо слушали речь, которую держал перед притихшим залом Казарик.

Сцепив на животе руки, в которых были зажаты часы, и воздев глаза к лепному потолку, Казарик говорил пространно, торжественно и, казалось, вот-вот готов был разрыдаться от охватившего его счастья.

Он говорил, что пробил великий час в истории многострадального края, что с этого момента начинается эра возрождения, что дарованная автономия — это спасательный круг, брошенный народу, и народ воспёт этот исторический момент в своих песнях и сказаниях.

Казарику зааплодировали, но не успели стихнуть хлопки, как один из селян приподнялся и, вытянув вперёд голову на худой шее, с виноватым видом обратился к раскланивавшемуся оратору:

— Дозвольте спросить, паночку, а с землёй як буде?

— С какой землёй? — удивился Казарик.

— Да с панской. Будет автономия ту землю делить, як колысь там в России, или по-старому останется?.. Ну и с долгами, паночку, спишут или тоже по-старому?

По залу пронёсся шумок, министры покосились на селян, а Казарик, не ожидавший никаких вопросов, ибо они не входили в программу его выступления, смешался и, скрывая за улыбкой своё замешательство, произнёс:

— Братья, вы, должно быть, не поняли меня. Я говорю о возрождении души народа.

— Души! — повторил один из селян.— А какая душа без земли? Э, паночку, паночку, опять по-старому всё...— и, взглянув на товарищей, стал доставать из-под стула дорожную суму и палку.— Мы уж до станции пойдём. Времени нема...

За ним стали подниматься и другие. Несмотря на отчаянные звонки председателя, в зале долго не прекращались перешёптывания и смех.

— Калифы на час,— с усмешкой произнёс Куртинец в тот день, когда я пришёл к нему и подробно рассказал о том, что происходило в отеле «Корона»; я пошёл на это собрание по просьбе Куртинца с тем, чтобы написать отчёт в газету «Карпатская правда».

— Так и назовите в своём отчёте Бродия и Волошина калифами на час,— мы не ошибёмся.

И в самом деле Куртинец не ошибся. С лёгкой руки пана Бродия, переставшего скрывать свою приверженность к Хорти, агентом которого он был, в Подкарпатской Руси подняли голову мадьяроны¹. Нацепив на лацканы пиджаков трёхцветные кокарды с портретами регента Хорти, они нагло группами ходили по улицам и орали победные песни. При виде их возникало гадливое чувство. Нивесть из каких притонов на белый свет вылезли все эти лавочники, сутенёры, спекулянты. Страшно было представить себе, что будет, если этот сброд придёт к власти.

Сам Бродий заявил, что Угорская Русь (он воскресил прежнее, австро-венгерское название края) должна стать под руку Хорти.

Правительство, обеспокоенное домогательством Бродия, вызвало его в Прагу и там арестовало. Берлинскому министру иностранных дел арест Бродия был наруку. Берлину не нравилось усердие этого двухнедельного премьера: у фюрера были свои виды на Подкарпатскую Русь. Вот тогда-то и выплыл для роли премьера человек с лисьим личиком и спрятанными за стёклами очков колючими глазками, буржуазный националист, униатский поп, немецкий разведчик Августин Волошин. Поп ни к кому не хотел присоединиться, а возмечтал присоединить к себе ни больше ни меньше как советскую Украину и создать единую Украинскую державу по образцу германского райха. Так мечтать Волошину приказал Гитлер, которому, как и некогда американскому президенту Вильсону, наш край представлялся удобным плацдармом для движения на Восток.

В крае появились не только «свои» министры, но и «свои» штурмовые отряды, названные Волошиным «карпатской сечью».

Теперь мы с Куртинцом обсуждаем все эти события.

— Подумать только,— говорю я,— что со времени мюнхенского предательства прошло всего двадцать три дня! Неужели это конец?

— Нет, пане Белинец, только начало,— отвечает Куртинец.— Начало борьбы жестокой и, может быть, очень долгой, и всё-таки мы выйдем из неё победителями, помяните моё слово.

Ушёл я от Куртинца с уверенностью, что это ещё не последняя наша встреча, что не сегодня-завтра мы увидимся.

Через три дня радио сповестило о запрете компартии.

Дождавшись сумерек, я окольными путями стал пробираться на ту улицу, где жил Куртинец. С противоположного угла я увидел, что дом его оцеплен полицией; на крыльце валялась сорванная с петель дверь, осенний ветер трепал выбившуюся сквозь распахнутое окно занавеску.

— Что тут такое? — спросил я женщину, стоявшую в толпе любопытных.

— Коммунистов ищут, пане,— ответила она шёпотом.

— И нашли?

¹ М а д ь я р о н ы — приверженцы хортиевской Венгрии.

— Нет пане, никого не нашли...

Я облегчённо вздохнул.

К «своим» министрам и к «своим» штурмовикам прибавились теперь и «свои» концлагери. Аресты и облавы не прекращались ни днём, ни ночью.

Но пока велась эта кровавая игра в «самостоятельность», в Вене шёл торг за счёт нашего края между гитлеровским министром Риббентропом и венгерским регентом Хорти. Гитлер за присоединение Венгрии к странам оси соглашался отдать Хорти половину Подкарпатской Руси, а другую, восточную часть решил пока что оставить Августину Волошину.

Сделка состоялась 2 ноября 1938 года.

Я помню день, когда управляющий собрал сотрудников лесной дирекции в своём кабинете. Управляющий, одетый в праздничную куртку лесничего, к которой была теперь приколата хортиевская розетка, держал себя важно и торжественно. Над креслом из той же самой яворовой рамы, в которой вчера только красовался портрет президента, теперь смотрел на нас пристальным взглядом регент Венгрии.

— Господа! — торжественно провозгласил управляющий. — Справедливость восстановлена: мы снова под короной святого Стефана. Я поздравляю вас со столь важным событием и верю, что каждый из вас проявит свою лояльность к великой Венгрии. Всё, господа. Приступим к занятиям.

Выслушав речь шефа, мы молча вышли из кабинета.

«Быстро переметнулся, — подумал я про управляющего. — Ещё покойника не вынесли».

Нашего главного инженера Зденека, который по письму Куртинца принял меня на службу, я больше не видел. Он не появлялся в дирекции, говорили, что уехал в Прагу.

Через несколько дней вооружённые карабинами хортиевские полицейские встали на ужгородских перекрёстках, а через четыре месяца, когда в Берлине увидели, что даже ловкий Августин Волошин бессилён привлечь симпатии народа к своему безумному плану, хортиевские полицейские встали и на перекрёстках Хуста — столицы, бесславно окончившей своё позорное существование, волошинской «державы».

Весь край был теперь передан Хорти.

45

...Седьмой час, ожидая своей очереди, я сижу в длинном коридоре полицейского управления. Меня вызвали сюда для дачи показаний так называемой «комиссии оправдания».

Время от времени открывается какая-нибудь из выкрашенных в стальной цвет одностворчатых дверей, и резкий голос выкрикивает новую фамилию. Десятки полных ужаса взглядов провожают вызванного до открывшейся двери. Дверь захлопывается, щёлкнув автоматическим замком, и кажется, что по коридору проносится вздох.

Вечерет. Люди томятся на скамьях, напоминающих откидные вагонные сиденья; иные стоят, прислонившись к стенам, молчат и прислушиваются.

Вдруг в одной из дальних комнат раздаётся приглушённый крик, и от него замирает сердце. Крик повторяется снова и снова. И вот уже полицейские волокут под руки через весь коридор очередную жертву. На плитчатом полу остаются пятна крови, их затирает мокрой тряпкой идущий следом полицейский служитель.

За то время, что я сижу здесь, по коридору проволокли одиннадцать человек. Нетрудно догадаться, что это делается для устрашения нас, вызванных на проверку в «комиссию оправдания».

Но вот ближайшая ко мне дверь распахивается. Из комнаты выходит юноша, почти мальчик, в глазах его застыл ужас, бледные губы дрожат. Ни на кого не глядя, он быстро проходит к лестнице, и тотчас же слышится:

— Белинец!

Я вхожу в освещённую ярким электрическим светом комнату. Длинный стол как бы делит её на две части, оставляя у стены узкий проход. По ту сторону заваленного папками стола сидят трое в штатском платье. Четвёртый, впусивший меня полицейский чин, усевшись сбоку за маленький столик, принимается размазывать по плоской войлочной подушке краску.

— Белинец? — спрашивает, не глядя на меня, занимающийся раскладкой бумаг скуластый брюнет с напояженными и зачёсанными на пробор волосами.

— Да, Иван Белинец, — подтверждаю я.

— Ваша национальность?

— Украинец.

Пауза. Брюнет вскидывает на меня цепкие, нагловатые глаза.

— Такой национальности нет! — произносит он резко и раздражительно.

— Прошу прощения, но я ведь украинец...

— Что?! — вытянув шею, привстаёт с места сосед брюнета, человек с потасканным лицом, напоминающий всем своим видом гусака. — Что? — повторяет он. — Где мы находимся?.. Запомните, что вам сказали: украинцев нет, вы греко-католический мадьяр. Ё сё!

Прокричав это, он опускается на стул и начинает быстро писать, двигая в такт письму нижней челюстью.

Градом сыплются вопросы о жене, родственниках, сослуживцах.

— Что вы можете нам сказать в своё оправдание?

— Я не знаю, какое обвинение мне предъявляют.

— Не знаете? — шурится брюнет. — Вы коммунист?

— Я не был коммунистом.

— Но вы путались с ними? Говорите, какие у вас остались связи?

— У меня нет никаких связей.

— Нет? Вам будет лучше, если вы скажете сразу. Ну?

Повторяю свой ответ.

У брюнета вздувается на лбу синяя, похожая на червяка жилка.

— К Борошу! — кричит он.

Я вздрагиваю. Всего неделю как бесчинствуют эти «комиссии по оправданию и проверке», но имя Бороша уже произносят в городе с ужасом и проклятиями.

Нивесть откуда появившийся полицейский забирает со стола протокол допроса и уводит меня в соседнюю комнату.

.....

— Ну?

Удар. Острая боль растекается по всему телу. Я креплюсь изо всех сил. Ещё удар. Губы мои искусаны до крови, и на языке её солоноватый вкус.

— Ну?

Одно только это слово и слышу я от Бороша. Мне начинает казаться, что оно у него единственное, других он не знает.

На вид Борошу не больше двадцати пяти лет. Всё в нём узко: и лицо, и глаза, и руки, — даже избивает он узким резиновым шлангом.

Я гляжу на Бороша с нескрываемой ненавистью. Он это чувствует, и удары его становятся изощрённее.

Потом, теряющего сознание, меня волокут куда-то вниз по железной винтовой лестнице...

Несколько дней нас, человек пятьдесят, держат в подвале. Мёртвая тишина. Люди не разговаривают: боятся провокаторов.

Раз в день служители приносят нам какую-то тухлую бурду и ждут в коридоре, пока мы опорожним бак.

Сквозь полуприкрытую дверь я слышу, как они переговариваются друг с дружкой.

— Никогда ещё не было столько работы. Девать некуда этих, всё битком забито.

— В третьем уже разгружают.

— Куда их?

— Кого как...

День ли сейчас или ночь — не узнать. В подвале нет окон. Ловишь каждый звук, доносящийся снаружи, чтобы как-нибудь определить время.

Я лежу на полу и думаю о Ружане, о нашем мальчике. Что с ними будет без меня? Какими неизмеримо малыми кажутся мне прошлые горести по сравнению с теми, что обрушились на нас теперь. Неужели может наступить такой день, когда Борош, и этот подвал, и опустившийся на нашу землю мрак неволи и страха станут для нас только воспоминанием?

Начинают разгружать и наш подвал. Людей уводят, а на их место волокут от Бороша новых. Боже мой, скорее бы и для меня кончилась эта неизвестность! Но вместе с тем я с ужасом думаю о минуте, когда полицейский, выкрикнув мою фамилию, поведёт меня по лестнице наверх, к Борошу, или в комиссию.

Эта минута наступила. Опять передо мною заваленный папками стол в ярко освещённой комнате, а за столом ненавидимые лица моих палачей.

— Белинец! — кричит брюнет. — Э, да вы живы-здоровы! Борош просто пощадил вас для первого раза. Но не думайте, что вы так легко отделаетесь во второй. Пальцы!

У меня снимают оттиски пальцев.

Полицейский чин прикладывает каждый мой палец то к смазанной краской войлочной подушке, то к белому листу бумаги, на котором уже написана по-венгерски моя фамилия и проставлен номер — четыреста двадцать шестой. Нажим — и в разграфлённом квадратике остаётся чёткий отпечаток неповторяющихся, похожих на запутанный лабиринт извилин.

Я стою, стиснув зубы. Гнев, отвращение, горечь оскорблённого человеческого достоинства...

— Готов, — отрывисто произносит полицейский чин и передаёт лист с оттисками брюнету.

Брюнет рассматривает оттиски и, не то диктуя своему соседу, не то обращаясь ко мне, говорит:

— К государственной службе допущен быть не может. Обязан являться в полицию три раза в месяц для отметки... Вы слышали, Белинец, что я сказал? Три раза в месяц для отметки. А дальнейшее всё будет зависеть от того, — он сделал многозначительную паузу, — насколько вы дорожите своей семьёй, женой, сыном...

— Иванку, родной мой!

Ружана бежит к калитке мне навстречу. Она хватается за руки, за плечи, целует, плачет и точно не верит, что я вернулся.

— Ну, что? Боже мой, Иванку?

Я счастлив, что с ней не случилось ничего дурного, но у меня едва хватает сил отвечать...

— Являться три раза в месяц в полицию для отметки. К государственной службе допущенным быть не могу...

Мы входим в дом. Мне и самому не верится, что я вернулся. Постояв мгновение у кровати спокойно спящего сына, я бессильно опускаюсь на стул.

В город я выхожу только через несколько дней, когда наступает срок моей явки в полицию для первой отметки.

Меня поражает пустынность улиц. Редкие прохожие шагают торопливо, стараясь не глядеть друг на друга. Люди жмутся к стенам домов, одни с угодливой улыбкой, другие — потупясь, когда мимо проходят полицейские или их подручные из автономной национальной партии господина Фенцика.

В полиции опять долгая, издевательская процедура. Заставляют ждать часами на дворе, снова допрашивают, грозят и напоминают о семье.

Я возвращаюсь домой затемно. Дверь в мою рабочую комнату открыта. Там горит свет. На полу валяется лист, вырванный из журнала. На книжных полках зияющие пустоты. Я беспокожно оглядываюсь.

— Кто здесь был, Ружана?

— Они.

— С обыском?

— Да. Пришли проверять книги: нет ли советских. Я не хотела отдавать, Иванку, но они...

Отстранив от себя Ружану, я шагнул в комнату. Подбежал к полкам. Все дорогие мне книги исчезли. Припомнилось, как я радовался присланным мне из Брно Марекм тому трудов Московской сельскохозяйственной академии, работам Мичурина, томику стихов Шевченко, выписанным через склад Свида. Всё это исчезло.

— Подъехали четверо, — говорила Ружана, — у них машина с фургоном. Они ходили из дома в дом... и забирали охапками.

— Куда их повезли, не знаешь?

— Говорят, что к нашему складу. Они свозят туда собранные со всего города книги...

Я взялся за шляпу.

— Ты пойдёшь туда? — с испугом спросила Ружана. — Зачем?

Я и сам не знал, зачем. Шёл, сознавая, что это бессмысленно, неосторожно, и всё-таки шёл.

Вечер был пасмурный, но тёплый, как перед дождём. Иногда порывами задувал с гор ветер, взвихривая на мостовых пыль.

Спустившись с горы, мы свернули с Ружаной на знакомую улицу и вдруг почуяли горьковатый запах дыма. Запах то ослабевал, то усиливался вместе с порывами ветра, но когда мы прошли ещё квартал, другой, в лицо пахнуло густым и едким дымом.

Мы с Ружаной ускорили шаг. Улица в этом месте делала изгиб, открыв перед нами пустырь, примыкающий к дому Свида. И то, что мы увидели, было таким диким, бессмысленным, что мне невольно подумалось, не померещилось ли мне всё это в каком-то ночном кошмаре.

Посредине пустыря дымно и бесшумно горел огромный костёр, освещающий дома, пустырь и собравшуюся молчаливую толпу. У костра суетилось с десятков пьяных молодчиков мадяронов. Невдалеке стояло несколько фургонов. Одни уже были пусты, а из других всё ещё продолжали лететь книги. Было слышно, как трещали их переплёты, шелестели и рвали страницы. Пьяные молодчики подбирали в охапки сброшенные книги, несли их к костру и, раскачивая, с улюлюканьем швыряли в огонь. Языки пламени, на мгновение взметнувшись, опадали. Тогда суетившиеся у огня люди брались за длинные багры и начинали ворошить костёр.

Жгли книги... Как стая встревоженных птиц, летали над нами куски бумажного пепла. Расстился дым. Он был лишь тенью страшной чёрной тучи, нависшей над лесистыми Карпатами...

Каждый день приносил теперь новые ужасные вести. Спешно, один за другим строились концлагери в Ужгороде, Мукачеве, Перечине, Хусте. Ночью шли облавы и аресты, воды Тиссы прибывали к берегу десятки трупов расстрелянных. В сёлах для устрашения неделями висели на виселицах тела казнённых ни в чём не повинных крестьян.

Вот когда наступило для Матлаха его желанное время.

Встретив оккупантов хлебом-солью и послав благодарственную телеграмму регенту Венгрии Хорти, Матлах определил своего сына Андрия в полицейскую школу и со свойственной ему бешеной энергией занялся осуществлением своих планов.

— Слава богу, — говорил он домашним, — услышана моя молитва, хозяин пришёл! Теперь уж мне поперёк дороги быдло не встанет!

Прежде всего он согнал всех «должников» с земли. Вздумавшего сопротивляться Дмитро Соляка жандармы повесили перед корчмой в Студенице.

Матлах носился на своей запряжённой парой сытых коней бричке из села в село, из округа в округ, скупая у оккупантов за бесценок отнятые у крестьян землю, скот, не брезговал даже полуразвалившимися хатами. Только хату Горули он приказал Сабо спалить дотла, сам явился на пожар и ждал до тех пор, пока не погас последний язычок огня.

— Конец Горуле, — довольно проговорил он. — Теперь и духом его здесь не пахнет.

Гнетущий душу страх, как дамоклов меч, висел над каждым, кто ещё был на свободе.

Даже старик Лембей, который вначале спокойно относился к тому, что наш край снова оказался под короной святого Стефана, теперь то и дело повторял возмущённо:

— Это не те венгры, каких я знал! Это вурдалаки!

Однажды среди удручливой мглы, окутавшей всё вокруг, как напоминание о том, что мы не забыты, как надежда, что ночь не может быть вечной, прозвучали для нас события по ту сторону гор.

Стоял уже сентябрь. Днём припекало солнце, а вечера и ночи были прохладны, и порывы ветра приносили с собой в город запахи приближающейся осени.

Уволенный из лесной дирекции, я тщетно искал работы, и мы долго бедствовали, пока счастливый случай не помог Чонке устроить меня разъездным кассиром в лесную контору, которую открыла в Ужгороде частная будапештская фирма.

Контора заготавливала лес на Верховине и плотами по Тиссе, затем по Дунаю отправляла его мебельным фабрикам в Будапешт. На моей обязанности было несколько раз в месяц выезжать в горы к лесорубам и на Тиссу к сплавщикам для расчётов.

В один из свободных вечеров я допоздна провозился в теплице, которую соорудил за домом, подготавливая её к приближающейся зиме. Я ставлял себя теперь работать через силу. Всё чаще и чаще мною овладевало ощущение полной ненужности моих трудов. «К чему всё это? — спрашивал я себя, глядя на ящики, наполненные землёй, на тёмные, приготовленные к высеву маковки семян. — Кому нужны мои занятия травами сейчас, когда кругом такая беспросветная, страшная беда?» Но вопреки, казалось бы, здравому смыслу я продолжал начатое с таким упорством, с каким пробиваешься на далёкий огонёк сквозь настигшую тебя пургу.

И высеянные мною семена меума, альпийского клевера всходили изумрудной зеленью. Я подвергал их воздействию рано наступивших в том году утренних заморозков. Одни гибли, а другие не сдавались и вы-

живали. Я помогал им набирать силу, и они тянулись вверх стойкими побегами, вселяющими веру в непобедимость жизни.

Было уже около полуночи. В городе наступал полицейский час — час обысков, облав, арестов.

Заполнив два последних ящика землёй и сделав несколько записей, я было собрался идти домой, но вдруг вблизи теплицы послышались шаги, негромкие, заставившие меня насторожиться голоса. Через минуту в сопровождении Ружаны по земляным ступеням ко мне спустился мраморщик Шандор Лобани.

Люди жили теперь замкнуто, избегали бывать друг у друга, чтобы не привлечь внимания полиции. И только нечто необычное могло заставить Лобани придти к нам в такой поздний час.

— Ничего плохого не случилось, пане Белинец,— предупредил он с порога.— Так что не принимайте меня за вестника беды. Просто захотелось вас повидать,— сказал он, усаживаясь на пустой ящик.— Что слышать нового?

— Какие теперь могут быть новости! — безнадежно махнул я рукой.

— Вы так думаете? — улыбнулся старик.

— Известия о Польше?

— Неужели вы здесь собираетесь беседовать? — вмешалась Ружана.— Пройдёте в дом.

— Тут довольно уютно,— обвёл взглядом теплицу Лобани.— Посидим лучше здесь.— Он продолжал разговор: — Вы спросили, что в Польше?

— Да. Но что может быть нового в Польше? Ещё неделя — две — и Гитлер захватит её полностью. Одной храбрости солдат недостаточно, надо ещё иметь во главе армии достойных людей, а не предателей.

— Вы правы. Предателей там хоть отбавляй.

Но, говоря так, Лобани думал о другом. Я это чувствовал и выжидательно смотрел на него.

— А Галичину Гитлер всё-таки не захватит! — торжествующе произнёс он наконец, и глаза его блеснули.— Галичане счастливее нас, пане Белинец. Сталин приказал Красной Армии встать на их защиту, и войска уже перешли советско-польскую границу.

Я так стремительно вскочил с ящика, на котором примостился было рядом с Лобани, что чуть не опрокинул стоявший рядом лоток с глиняными горшочками, в которых высажены были мои опытные травы.

— Кто... кто вам это сказал?

— Молотов, пане. Он и вам это скажет, если вы только включите радио.

Я бросился вон из теплицы к дому. Руки дрожали, когда я поворачивал регулятор приёмника. Мне всё казалось, что лампы накаляются чересчур медленно. Обрывки музыки, голосов — и вдруг сквозь треск и шуршание издали прорвалась, то усиливаясь, то затихая, спокойная и немного торжественная речь.

— Это, это! Не ищите дальше! Москва повторяет её по несколько раз,— сказал, хватая меня за руку, Лобани. Он и Ружана стояли рядом и напряжённо, с какими-то просветлёнными лицами вслушивались в далёкий голос Москвы...

Через несколько дней мне пришлось по делам службы выехать на Верховину. Там только и говорили о том, что Красная Армия послана Сталиным освободить не только Галичину, но и наш край. Как всем хотелось верить этому!

Люди жили ожиданием.

В сёлах у Воловецкого, Ужанского, Ясиньского перевалов готовились к встрече. Уже были припрятаны у хозяек рушники под хлеб-соль, уже

дворы снесли в укромное место по горсти муки для праздничных караваев. Уже тайком сговаривались лесорубы, железнодорожные рабочие, селяне не давать в случае чего хортиевцам взрывать мосты.

Но события шли своим чередом, и всем становилось ясно, что Советская Армия дойдёт только до границ Венгрии.

На обратном пути я заехал к моему старому приятелю, Фёдору Скрипке, он был угрюм и задумчив.

— Час ещё не пришёл,— сокрушался старик,— не пришёл наш час! — И добавлял уже веселее: — Да и то добро, что близко будут, а, Иванку?

Мне пора было возвращаться в Ужгород, но я не уезжал, не мог уехать в такое время, и под предлогом сверки ведомостей задержался на лесосеке. Фёдор Скрипка предложил мне поселиться в его хате.

В одну из ночей меня разбудил чей-то тихий голос, который я не сразу узнал спросоная.

— Вставай, Иване!

Я быстро поднялся. В скупых предрассветных сумерках, плававших словно табачный дым по хате, маячил чей-то силуэт.

— Кто здесь?

— Я, Семён,— послышался ответ.— Пойдём, друже, советские!

— Где?

— На границе встали.

Я стал быстро одеваться, от волнения не попадая в рукава.

— Ты уже видел их, Семён?

— Нет. Только вчера вечером встали... Штефаковой Олёны хлопец прибежал сказать.

— Кто идёт? — спросил я

— Мы с тобой да вуйко Фёдор...

За порогом хаты нас обдало предрассветным горным холодком. Было тихо. Звёзды меркли в синеющем небе. Студеничье ущелье втягивало в себя длинную колышущуюся полосу тумана, и туман вползал в него будто неохотно, цепляясь за макушки нижнего леса.

Слышимость была поразительная. Дальний поток шумел так явственно, будто он бежал по камням рядом с тропой, по которой мы поднимались в гору.

До границы было километров восемь. Тропа вилась по увалам, забирая всё выше и выше. Стоило подняться на вершину горы, как за ней возникла вторая, а за второй третья, и казалось, что не будет конца этим синим, дремавшим вершинам.

Шли и молчали. Только в одном месте, сворачивая с тропинки в лес, идущий впереди Семён обернулся и сказал:

— Чуешь, Иване, если встретим кого — тут солдаты есть,— так ты скажи, что к лесникам идёшь. Добре? А мы с тобой.

С каждым пройденным километром становилось всё светлее. Звёзды исчезали. Небо постепенно голубело, над дальней горой вдруг брызнуло солнце, затопив своим золотистым тёплым светом всё вокруг.

Мы прошли шагов двести до опушки леса, свернули влево и, очутившись на уклонном лугу, внезапно остановились.

Перед нами расстилось идущее с севера на юг межгорье. На противоположном взлёте горы белело несколько домиков. Над одним из них струилось красное полотнище флага. Во дворе домика стояла группа военных. И люди и флаг были совсем близко — рукой подать, только неширокое пространство межгорья и дорога разделяли нас. Я явственно различал яркозелёные фуражки солдат и, казалось, даже лица. Стоило только сбежать по лугу вниз и пересечь дорогу, чтобы очутиться среди этих людей. Там уже был другой, свободный мир!

Сердце моё билось учащённо и больно.

— Матерь божья,— сказал Скрипка,— як близко! — и, оттопырив ладонью ухо, стал вслушиваться.

— Чул!.. Чул!..— вдруг закричал старик.— Иванку! Семён! Чул, як там казали: «Товарищ...».

— Ничего вы не чули, вуйку,— сказал Семён.— Неправду говорите. Скрипка со злости взъерошился:

— Нет, чул! Сам послухай!

Но как мы ни вслушивались с Семёном, нам ничего не удалось уловить.

Между тем к дому с алым флагом над крышей приблизилась толпа селян. Теперь уже и до нас доносились восклицания, но слов нельзя было разобрать. Советские солдаты смешались с селянской толпой. Видно было, как люди пожимали друг другу руки, радостные и возбуждённые.

Я взглянул на Семёна. Он был бледен и, закусив губу, не отрываясь, следил за тем, что происходило по ту сторону границы.

Немного погодя от толпы отделились двое красноармейцев в плащах, с винтовками за плечами.

За воротами красноармейцы в зелёных фуражках остановились, сняли винтовки, зарядили их, и, снова вскинув оружие на плечо, спустились к горе и пошли по ней гуськом, неторопливым, спокойным шагом.

Мы сорвали с голов шляпы и стали махать ими...

Семён сделал несколько шагов вперёд и крикнул:

— А-го-ов!¹

Красноармейцы повернули в нашу сторону лица и, не сбавляя шага, продолжали идти по дороге, глядя на нас.

— А-го-ов! — крикнул ещё раз Семён, и эхо прокатилось где-то высоко над нами.

Но то было не эхо. Я обернулся, взглянул вверх и увидел на вершине горы людей. Они вытянулись цепочкой по гребню и тоже махали шляпами, руками. Это были лесорубы, селяне, женщины и дети. Они, как и мы, пришли из своих сёл к границе. Несколько человек, увлекая за собой остальных, бросились к нам на луг, чтобы быть поближе к дороге. Впереди бежал молодой, подпоясанный широким кожаным поясом лесоруб. Всмотревшись попристальнее, я узнал Юрка.

Следом за Юрком спускалась молодая женщина с младенцем на руках. Юрко то и дело оборачивался к ней, видимо, предлагая свою помощь. Она в ответ только качала головой.

Вдруг женщина остановилась и, взглянув в сторону заросшего кустарником предлесья, испуганно вскрикнула. Из кустарника вынырнули хортиевские пограничные жандармы. Люди остановились в замешательстве и бросились назад, к гребню.

— Куда побежали? — с досадой крикнул Юрко.— Хотите, чтобы на той стороне увидели, как мы умеем фашистам пятки показывать? Пусть фашисты боятся нас, а не мы их!

Голос Юрка, в котором прозвучала и насмешка и сила, остановил людей. Они подошли к Юрку и сгрудились вокруг него. И мы с Семёном и старым Скрипкой в несколько прыжков очутились рядом.

— Не горячитесь, хлопцы,— заморгал глазами Скрипка, оглядываясь на приближающихся жандармов,— с них станет, что и стрелять начнут.

Но вместо ответа Юрко приказал:

— Хлопцы, вперёд! Жинки с детьми и вы, диду,— обратился он к Скрипке,— тоже назад становитесь!

Сухонькое личико Скрипки побледнело, затем пошло красными пятнами.

— Мал, мал,— затопал он боссой ногой,— мал меня учить, сучий сын! Тебя ещё батька не выдумал, когда я со старым Куртинцом и Горулей!—

¹ Восклицание, принятое в горах на Карпатах.

но он не закончил, а, выпятив впалую грудь, повернулся лицом к жандармам.

Они были уже близко и поднимались вверх по склону. Впереди шёл офицер, выкрикивая по нашему адресу угрозы и ругательства.

Я встал рядом с Юркою и Скрипкой.

Люди с той стороны границы смотрели в нашу сторону. Двое красноармейцев на дороге остановились. Один из них снял зелёную фуражку, вытер ладонью тыльную сторону околыша и, раньше чем снова надеть, высоко поднял фуражку над головой.

Это заметил не только я, но и все стоявшие рядом.

— Хай живе Червона Армия и Сталин! — восторженно, в самозабвении крикнул Юрко, и перекатное эхо повторило по межгорью: «С т а л и н...»

Ноющее чувство страха перед офицером и жандармами внезапно исчезло, и нечто противоположное страху и притом во сто крат более сильное поднялось в каждом из нас.

Офицер уже не шёл, а бежал к нам. Лицо его пылало злобой.

— Разойдись! — крикнул он. — Или я прикажу стрелять!

— Не посмеешь, — с поразившим меня спокойствием сказал Юрко. — Вот с той стороны двести миллионов на тебя смотрят, пане жандарм.

Офицер невольно поёжился и оглянулся, будто и в самом деле с той стороны границы грозно смотрели на него двести миллионов советских людей.

— Ах ты, быдло! — выругался он, подступая к Юрку. — Я приказываю разойтись сейчас же!

— А это уж, пане жандарм, как громада решит.

И, не обращая внимания на офицера, словно того и не было здесь вовсе, Юрко обернулся к толпе.

— Люди! — сказал он. — Есть думка, чтобы спокойно, чуєте, спокойно разойтись по сёлам. Кто за это, прошу поднять руку.

Юрко первый поднял руку, и за ним последовали остальные.

— Ну, — улыбнулся одними глазами Юрко, — як громада решила, пусть так и будет... Жинки с ребятами, вперёд, да не бежать: по своей земле ходим!

Женщины стали подниматься в гору, а за ними уже остальные. Юрко двинулся последним, даже не оглянувшись на онемевшего от изумления офицера.

— Ох, и хлопец! — восторженно шепнул мне Скрипка. — Ну... министр! А?

Выбравшись на гребень, я оглянулся. Жандармы поднимались за нами следом, а по ту сторону границы, в лучах утреннего солнца, зарёй горел алый флаг над домом.

Когда мы перевалили вершину горы, ко мне подошёл Юрко. Он был взволнован, хотя и пытался скрыть своё волнение.

— Пане инженер, — сказал Юрко, — уходите поскорее! Нас тут много, мы друг на друга похожи, а вас жандармы по одежке особо приметят.

— Спасибо за совет. А ты что будешь делать?

— Я? — Юрко задумался. — Я вот только присмотрю, чтобы людей не тронули, и жинку с сынком до села проведу, а там что-нибудь придумаю.

— Был бы я молодой, — произнёс Скрипка, — ушёл бы теперь на ту сторону.

Юрко покачал головой.

— Нет, мне уходить нельзя, диду, у меня и здесь дела будет много... Ну, прощайте, может, ещё свидимся.

Но свидеться нам не пришлось. Часа два спустя после того, как мы расстались с селянами близ домика лесника, около полусотни жандармов окружили лесорубов и попытались схватить Юрку. Лесорубы не вы-

дали товарища. Жандармы открыли огонь. Лесорубы бросились в топоры и зарубили жандармского офицера. Им удалось прорваться сквозь кольцо и уйти вглубь леса. Во время этой схватки был смертельно ранен Юрко. Умирал он в полном сознании, молча, и только перед смертью сказал унесшим его с собой в лес товарищам:

— Не забывайте, хлопцы, зачем жить остались. И меня не забывайте. А як придут из-за гор наши, постучите в мою могилку.

Похоронили его вблизи перевала, у глухой тропы, по которой четыре года спустя, осенней ночью, жена Юрка Мария провела в тыл оборонявшим перевал гитлеровцам советский батальон. И сейчас ещё можно прочитать на могильном кресте выжженную в ту пору короткую надпись: «Юрку, пришли!»

47

В старинной греко-католической церкви по Цегольнянской улице были зажжены все праздничные огни, и пан превелебный Новак возносил молитву о даровании победы оружию славного витязя Хорти и его союзников.

Вряд ли ещё когда-нибудь в своей жизни духовный отец молился с таким усердием, как в июньский погожий день тысяча девятьсот сорок первого года, и казалось, что Новак не просил победы, а требовал её у бога.

Война!

Давно уже вблизи советской границы, по горам, от вершин до подножий безжалостно вырубались широкие частые просеки, позволяющие хорошо просматривать местность. Из сёл сгоняли людей строить укрепления на перевалах, но всё, что вчера лишь было догадкой, предположением, слухом, сегодня стало действительностью. Война с Советским Союзом! Война!

Страшно прозвучало для меня вначале это слово, почти невозможно было сразу осознать его трагический смысл.

Хлынул новый поток репрессий. Даже в самых глухих горных сёлах появились усиленные пулемётами жандармские посты. Жандармы проводили облавы на отказывающихся ехать работать в Германию верховинских селян. Селяне встречали жандармов топорами, кольями и после кровавых стычек уходили в лес.

Родная речь была под запретом. Непокорных учителей высылали вглубь Венгрии.

«Под страхом смертной казни...» — с этих слов начинался почти каждый приказ или постановление.

Меня снова вызвали в полицию, где человек, похожий на гусака, уставившись на меня блеклыми глазами, объявил:

— Будете являться сюда для отметки каждые три дня, и не один, а с женой. Поняли, что я сказал?

С чувством тайного злорадства выслушал я это приказание. Шла война с Советской страной, и какое значение по сравнению с мощью надвигающейся на фашизм грозы могли иметь эти меры предосторожности, придуманные жалкими полицейскими чиновниками.

Как и большинство людей в нашем крае, я был глубоко убеждён в неприступности и могуществе Советского Союза. Убеждение это было так сильно, что его не могли поколебать ни первые победные реликвии гитлеровского командования, ни горестное сознание того, что где-то уже горят советские города и селения, что по советским полям, топча зреющий хлеб, рвутся на восток фашистские танки.

— Нет, нет, это не может так продолжаться! — упрямо твердил я, шагая по комнате, в которой собрались у радиоприёмника притихшие и растерянные Чонка и Ружана.

Будапешт передавал записанный на плёнку репортаж с поля боя. Из приёмника нёсся рёв машин, неясные голоса команды, звуки взрывов, похожие на грозовые разряды, и торопливый рассказ гитлеровского корреспондента о том, что происходит сейчас у него перед глазами:

— Сто пятнадцать километров от границы! Бой идёт за большую железнодорожную станцию... Налево в строительных лесах высятся недостроенный жилой дом. Русские засели в доме и упорно сопротивляются... Сейчас... сейчас всё будет кончено: четыре танка открывают огонь по дому. Вы слышите: первый выстрел... второй... третий! Строительные леса горят!.. Величественное зрелище!.. Огневые точки русских подавлены. Можно продвигаться вперёд... Танки, а за ними пехота переходят железнодорожное полотно. Сто пятнадцать километров от границы!

— Иване, Василию,— шептала Ружана, прижимая к себе удивлённо смотревшего на взрослых маленького Илька.— Неужели они так сильны?

Я не отвечал ей. Я думал о другом: «Сто пятнадцать километров от границы!»

— Нет, что-то должно произойти...

— А ты... ты твёрдо веришь, Иванку, что всё переменится? — спросила Ружана.

— Верю!..

Ожидание этой перемены стало для меня, как и для каждого честного человека, в ту пору единственным смыслом жизни. Люди хорошо сознавали, что сейчас идёт война за судьбу и самое существование всех народов, битва между свободой и рабством, жизнью и смертью.

Однако время шло, а нависшая над нами туча не рассеивалась.

В витрине одного из магазинов канцелярских принадлежностей, мимо которого мне почти ежедневно случалось проходить, была выставлена большая карта фронтов. Каждое утро в один и тот же час предприимчивый владелец магазина, кругленький толстяк-венгр, закрашивал коричневой краской всё новые и новые куски завоёванной немцами территории. Он делал это старательно, педантично, с раздражающей тщательностью недалёкого человека.

У витрины задерживались прохожие, скрепя сердце останавливались там и я, чтобы узнать, куда заползёт сегодня обмакнутая в краску кисть. А коричневая, непроницаемая пелена, как какая-то дурная напасть, ползла всё дальше и дальше на восток, хороня под собой голубые ленты рек и светлые кружки городов. Она переваливала через Днепр, растеклась по югу и вокруг Ленинграда. Неужели никто не в силах остановить её ядовитое течение и нам не на что больше надеяться?

Дыхание у меня спирало от отчаяния. Я быстро отходил прочь, но мне чудилось, что проклятая кисть неотступно следует за мной, закрашивая неживым, тяжёлым цветом дома, людей, небесную голубизну.

В эти страшные дни собственные беды людей словно отступили на задний план. Бои в России — вот к чему были прикованы их тревожные думы.

Лесорубы в горах, державшиеся обычно со мной сдержанно, улучив удобную минуту, подходили поодиночке и, как бы невзначай, спрашивали:

— Уж не слышно ли, пане, что-нибудь доброго?.. Як там?..

— Пока ничего,— отвечал я.

Одни, выслушав мой ответ, отходили молча, а другие, потоптавшись, не выдерживали:

— Эх, надо было бы, пане, один бог знает, як то надо...

А я чаще, чем когда-либо, думал теперь о Горуле и Куртинце. Как не хватало мне сейчас этих людей! Горуля далеко, а Куртинце?.. Может быть, ему удалось бежать, или он замучен, как сотни его товарищей, в застенках и концентрационных лагерях? Но в душе у меня жила какая-то странная уверенность, что Куртинце жив, что он здесь, в нашем крае.

Мысль разыскать Олексу стала всё настойчивей преследовать меня. Наконец я принял решение... Но как осуществить его в это страшное время, когда люди избегали встреч даже со своими близкими друзьями, а малейшее неосторожное слово грозило непоправимой бедой? И всё же я решил начать поиски.

Терпеливо, настойчиво, будто ошупью во мраке, я стал нащупывать пути к тому, чтобы узнать что-нибудь о людях, которые были когда-то близки с Куртинцом, но — увы! — мне не удавалось напасть на след ни одного из них. Иногда почему-то мерещилось, что старик Лобани мог бы мне тут помочь. Но Лобани уехал из Ужгорода, и я потерял всякую связь с ним. И вот когда казалось, что все мои попытки напрасны, я вдруг вспомнил лесного объездчика Имре Гевизи, в сторожке которого последний раз виделся с Горулей. Гевизи продолжал свою службу, но уже не на Ужанщине, а в долинном притиссянском лесничестве, недалеко от того места, куда я ездил выплачивать деньги сплавщикам. Он был единственным не исчезнувшим с моего горизонта человеком, связанным в моей памяти с именами Горули и Куртинца. Я решил при первом же удобном случае повидаться с ним.

Объездчик вначале принял меня приветливо, но едва только я осторожно намекнул на цель моего приезда, как он забеспокоился и стал уверять, что ничего и никого не знает, а то, что раньше знал, так сейчас не такое время, чтобы ему, венгру, вспоминать об этом. Его дело — лес, а до остального он не касается, и господину инженеру лучше тоже забыть, что он когда-то видел в сторожке под Ужом.

Объездчик явно тяготился моим присутствием, и я заторопился уйти.

Гевизи не стал удерживать меня, но вышел со мной, чтобы проводить через кукурузное поле.

— Ах, господин инженер,— сетовал он дорогой, отклоняя нависшие над тропой листья кукурузы,— как легко ни за что, ни про что пропасть человеку! Ну мало ли чего взбрѣдет кому в голову, а ты за это отвечай!

— Не беспокойтесь, Гевизи,— с досадой прервал я объездчика,— я не донесу на вас!

Он остановился, что-то дрогнуло в его лице.

— Я совсем не к тому,— смущѣнно пробормотал он.— Я никогда не сомневался... Если бы только в моих силах было помочь, уж верьте мне!..

Я промолчал.

— А разве господин инженер в последнее время где-нибудь видел господина Куртинца? — неожиданно спросил Гевизи, испытующе глядя на меня.

Я насторожился:

— Нет, не видел. А что?

— А я думал, вы его где-нибудь тут встретили! — с облегчением, как мне показалось, произнёс Гевизи и тут же стал торопливо прощаться со мной.

Через минуту каждый из нас уже шагал своей дорогой.

Последняя надежда что-либо узнать о Куртинце рухнула.

Вечер. Из-за кукурузных полей выплывает на блеклое небо большой оранжевый шар луны. Река курится, отдавая своё тепло похолодевшему вечернему воздуху. Паром движется медленно, со скрипом, а вода звенит и плещется о плоскодонные баркасы под бревенчатым настилом.

Здесь Тисса перестаёт быть горной рекой, равнина меняет её течение, река делается шире и как бы спокойней, но вода по инерции продолжает ещё свой стремительный бег, и паромщику трудно бороться с быстринной.

Вместе со мной на левый берег переправляется селянский воз, запряжённый двумя длиннорогими волами, и подъехавшие в самую последнюю минуту всадники — венгерский офицер и солдат, его ординарец.

На возу сидит закутанная в мохнатый чёрный платок женщина, похожая в сумерках на огромную дремлющую птицу. Солдат держит под уздцы одномастных вороных коней. Кони, чуя воду, фыркают, глухо бьют копытами по брёвнам и, брэнча мундштуками, время от времени вскидывают головы, будто хотят освободиться от держащего их под уздцы солдата. Офицер, как и я, стоит, облокотившись о жердь, огораживающую паром, и смотрит в мерцающую под нами воду.

Но ни прелесть осеннего вечера, ни красота пейзажа не радуют меня. Всё вокруг кажется фальшивым и враждебным. Особенно ненавистен мне офицер, внезапное появление которого на берегу заставило паромщика повернуть обратно отчаливший было паром. Лица офицера я не могу разглядеть в густых сумерках, но, и не глядя на него, я испытываю к нему отвращение. Может быть, завтра и он погрузит своих солдат в пахнущие карболкой вагоны и поедет туда, вглубь России, чтобы жечь, разорять и уничтожать то, что создано людьми для счастья.

Я стараюсь не смотреть в его сторону, но порой всё же бросаю на него взгляд, и мне кажется, что он тоже иногда посматривает на меня. Тогда я отхожу к противоположному краю парома и начинаю помогать паромщику перебирать натянутый с берега на берег канат.

Сегодня утром меня вызвал управляющий конторой.

— Господин Белинец,— сухо сказал он.— Мне телефонировали со сплава, что у них там какое-то недоразумение. Двое сплавщиков жалуются, что их обсчитали.

— Этого не может быть! — возмутился я.

— Не знаю, не знаю! — пожал плечами управляющий.— Я ничего дурного о вас сказать не хочу, прошу, поезжайте сегодня и выясните, в чём там дело.

Таким образом, я оказался на переправе через Тиссу.

Подводная часть парома мягко ударяется о дно. Всплеснув, откатывается назад волна, и паромщик привычным движением быстро сталкивает на отлогий берег сходни.

Я жду, пока сводят запряжённую волами повозку, а затем уже и сам схожу на берег и шагаю дальше по уезженной, пустынной теперь дороге. Отсюда до села, где живут сплавщики, не больше пяти километров.

Стало светлее. Это луна успела сбросить с себя тревожную и тусклую оранжевую окраску и засветиться пока ещё неярким, голубоватым сиянием.

Офицер и его вестовой не сели на лошадей. Они тоже идут пешком. Я слышу, как позади меня скрипят сапоги и цокают конские копыта о камни.

Чтобы пропустить их вперёд, я сбавляю шаг и ступаю по обочине дороги. Солдат с лошадьми приотстаёт, а офицер нагоняет меня и с минуту идёт почти что рядом, шаг в шаг, пощёлкивая прутиком по голенищу сапога. Не знаю почему, но я прислушиваюсь к этому звуку, как прислушивается иногда человек к гипнотизирующему тиканью часов. Внезапно пощёлкивание обрывается, и офицер произносит очень тихо:

— Здравствуйте, пане Белинец.

Я скорее угадываю, чем узнаю этот голос, и, поражённый, останавливаюсь, глядя во все глаза на офицера. И освещённое лунным светом лицо офицера я тоже едва узнаю. Не было раньше ни этих складок у рта, ни этих впадин и тёмных кругов вокруг глаз, лишь немного тяжёлый, волевой подбородок по-старому упрямо приподнят.

Проходит минута, а может быть, гораздо больше, прежде чем я обретаю дар речи.

— Здравствуйте, пане Куртинец!.. Я вас так искал!..

— Вот видите, говорят, на ловца и зверь бежит.— И Куртинец, обернувшись к подошедшему солдату, спрашивает: — Куда?

— Недалеко. Стёжка налево. Там будет лучше всего.

И, дёрнув коней, солдат проходит вперёд, а мы молча следуем за ним.

Куртинец не спрашивает меня, почему я очутился в такую пору на пароме, куда и зачем иду, и вдруг я догадываюсь, что ему и не надо спрашивать, что он сам всё это знает. Разговор с Гевизи, телефонный звонок в контору, жалобы сплавщиков и теперь встреча с Куртинцом связываются для меня воедино, а ночной, окруживший нас мир, казавшийся мне только что враждебным и опасным, представляется теперь населённым невидимыми друзьями, готовыми предупредить об опасности и помочь в любую минуту.

Заросшая пересохшей травой межевая канава уводит нас от дороги в поля созревшей кукурузы.

Мы идём минут десять — пятнадцать, и вот уже кукуруза начинает редеть, впереди виден уставленный тут и там оборочками дуг.

Солдат останавливается, смотрит и слушает. Затем молчаливо передаёт коней Куртинцу, а сам уходит куда-то. Вскоре он возвращается, но уже с противоположной стороны.

— Тут будет хорошо,— уверенно говорит он, берёт у Куртинца поводья и отходит с лошадьми в сторону.

— Сядем, пане Белинец,— предлагает Куртинец, опускаясь на землю. Я присаживаюсь рядом, на самый край межевой канавки.

— Давно мы не виделись,— говорит Куртинец,— а пришлось встретиться — так снова ночью.

— Но эта ночь темнее прежних..

— Да,— задумывается Куртинец,— правда, что темнее. Но я верю, нам суждено ещё встретиться при свете дня.

Куртинец смотрит на меня, и я вижу, что он хорошо понимает, о чём я думаю и что у меня на душе.

— Да, светлые дни наступят и для нас,— ещё раз настойчиво произносит он.

Он вынимает из кармана сигарету и долго мнёт её пальцами, не закуривая.

— Итак, вы искали меня?

— Искал.

— Откуда вы знали, что я... Ну, что я ещё существую?

— Я ничего не знал, пане Куртинец, да и откуда мне было знать? Мне казалось, я верил, что вы живы, что вы здесь, и я решил найти вас.

— Это было довольно рискованно с вашей стороны, пане Белинец,— говорит Куртинец.

— Возможно. Но больше я не мог так жить.

— Вам нужно было мне что-нибудь сообщить или передать?

— Нет,— отвечаю я.— Я хочу знать, пане Куртинец, что происходит, и просить совета.

И я, стараясь быть спокойным, начинаю рассказывать Куртинцу, о чём передумал и что переживал последнее время.

Он слушает, не перебивая. Лица его теперь мне не видно, я вижу только его широкую, плотно обтянутую курткой спину.

— Что же там,— спрашиваю я,— в самом деле всё идёт к концу и надо верить этим страшным сообщениям, что силы Советской Армии сломлены? Но ведь это невозможно, это немыслимо представить себе, что фашизм победит!

— Он и не может победить,— спокойно говорит Куртинец, отбрасывая искрошенную, так и не закурившую сигарету.— Он не может победить, и не потому, что он слаб, нет, он ещё очень силен, а потому, что то, на что он поднял руку, непобедимо! Нельзя победить то, что полно жизни, что несёт людям счастье, простор их творческим силам, что даёт им возможность построить на земле мир, в котором нет нужды обманывать, хитрить, грабить, убивать. Несколько дней назад я прочитал чудесные слова у писателя Короленко: «...Человек рождён для счастья, как птица для полёта».

Удивительно верно сказано!.. Но что такое счастье, если не творчество, если не радость, которую делами своими должны передавать люди людям! В этом смысл жизни. А фашизм — это мировоззрение преступников и бесплодных,— значит, он мёртв в самой своей сердцевине и обречён.

— Но до какого предела дойдут эти мертвецы? — вырывается у меня.— Откуда в них эта сила?

— Идёт очень трудная, смертельная война. Но исход её будет решать не Гитлер с его пусть даже очень значительными успехами. Силы Советского Союза неисчерпаемы, и вы не ошиблись в своей вере в них, вы только ошиблись во времени, в сроках.

Большая рука Куртинца ложится на мою руку.

— Победит Сталин, пане Белинец, как он побеждал всегда и во всём. А с этой большой победой кончится долгая недоля и нашего края... А пока война! Народная война! И пусть враг чувствует её, пане Белинец, не только там, на фронте, но и в наших горах...

И когда Куртинец произнёс последнюю фразу, я как-то отчётливо понял, что уверенность его и ясность мыслей были следствием не только сильной, убеждённой веры в победу, но и следствием того, что он сам участвовал в борьбе за её приближение.

«Но что должен делать я в такое тяжёлое, трудное время, чем я могу быть полезен в этой борьбе?» — подумал я и повторил вслух эту мысль. Куртинец не удивился моему вопросу, он, видимо, ждал его.

— Я видел ваши пробные посевы, пане Белинец,— сказал он вдруг после долгой паузы.— На клаптиках под Лютой и ещё под Студеницей. Клаптики маленькие, не о таких клочках вы мечтали, но ведь это всё до поры до времени, мы ещё увидим с вами не клаптики, а поля, вольные, без межей... Я слышал, что вам удалось добиться значительных успехов в ваших опытах с меумом.

— Да, так,— ответил я, удивившись его осведомлённости.

Куртинец улыбнулся.

— Я даже пил, пане Белинец, молоко от коров, которых кормят этим вашим меумом. Отличный вкус молока! — призадумавшись, продолжал он.— Всё это и есть ваше дело, пане Белинец, вы обязаны его продолжать.

Я разочарованно слушал Куртинца.

— Вы просто не поняли меня, пане Куртинец! — с горечью прервал я его.— Кому нужны сейчас мои пробные посевы, опыты, наблюдения? Я не в силах больше заниматься всем этим!

— Они нужны будущему,— ответил Куртинец.— Тому светлому будущему, которое близится.

— И это всё, что, по-вашему, я могу и должен делать в такое время?

Куртинец пристально поглядел на меня, но не ответил. Пауза показала мне слишком долгой.

— Кто живёт по соседству с вами? — наконец спросил он.

— Справа — хозяйка дома и два её сына.

— Кто сыновья?

— Один ушёл в армию добровольцем, а второй — содержатель ресторана.

— Мадьяроны?

— Да.

— А слева?

— Старый почтовый чиновник с женой.

— Так! — Куртинец на мгновение задумался.— А можно ли пройти в ваш дом не со стороны улицы? — спросил он после недолгого молчания.

— Можно,— отвечаю я.— Позади дома откос горы, а дальше виноградники.

Было уже поздно. Луна висела прямо над нами и заливала серебряным светом длинные глянцевиые листья кукурузы. Время от времени со

стороны Тиссы проносился лёгкий ночной ветерок, и листья шелестели, играя тысячами бликов.

— Нам нужна квартира в Ужгороде,— вдруг произнёс Куртинец,— взамен провалившейся неделю назад... И то, что вы на таком неважном счету у полиции, нам только наруку... Им ведь и в голову не придёт, что человек, который является на отметку каждые три дня, откажется держать у себя нелегальную квартиру. Вы для них запуганный, подавленный обыватель.

— Это — ваше предположение, пане Куртинец? — спросил я.

— Нет. Нам уже известно, что они о вас думают... А мы будем действовать, как в народе говорят: «От вора прятать — на видное место класть...» Но... — и Куртинец, сделав паузу, поглядел на меня, — но готовы ли вы, пане Белинец?

— Да, пане Куртинец, готов!

— А... ваша жена?

— Да,— ответил я без колебания.

— Так слушайте,— сказал Куртинец,— к вам на этих днях придёт человек и скажет: «Я ищу комнату на один месяц». Вы должны ответить: «Пожалуйста, зайдите посмотреть». Вы поняли?

— Понял.

— Пожалуйста, повторите.

— Я ищу комнату на один месяц... Пожалуйста, зайдите посмотреть.

— Вы сделаете для этого человека то, о чём он вас попросит. Пока это всё.

В эту минуту я особенно остро почувствовал, что где-то рядом идёт упорная борьба с тёмными силами зла сотен людей, объединённых единой организующей волей. И от сознания, что я становлюсь в одну шеренгу с ними, сделалось вдруг радостно и безбоязно, как в тот далёкий, солнечный осенний день, когда я шёл и вслушивался в мерную поступь колонны голодного похода.

— А как здесь хорошо, мирно! — оглядываясь вокруг, произнёс Куртинец.— Прислушайтесь, как спокойно шелестят листья!.. Вы, должно быть, проголодались, товарищ Белинец?

— Нет, не очень.

— А я так готов вола съесть!

Куртинец привстал и два раза протяжно свистнул. Через минуту к нам подошёл солдат.

— Что у тебя там есть в сумке? — спросил Куртинец.

— Кое-что найдётся,— ответил солдат.

— Тащи всё сюда!

— И мужиевское? — нерешительно спросил солдат.

Куртинец улыбнулся.

— Так и быть! — махнул он рукой.— Сегодня можно и мужиевское.

Вскоре перед нами на разостланной салфетке оказались головка овечьего сыра, кукурузные лепёшки и бутылка мужиевского вина. Куртинец разлил вино в алюминиевые стаканчики и, подняв свой, сказал:

— Есть много желанного, любимого нами, за что хотелось бы выпить, товарищ Белинец. И всё это самое дорогое для людей воплощено в имени одного человека... За здоровье Сталина!..

— За здоровье Сталина! — повторил я.

Остаток ночи, по совету Куртинца, я скоротал у объездчика Гевизи, а утром вернулся в Ужгород.

49

Это произошло вскоре после моей встречи с Куртинцом.

У калитки позвонила чёрненькая хрупкая женщина в очках и в широком сером поношенном пальто.

Для всех, кто бы нас с Ружаной ни спросил,— это наша знакомая

Мария Планчак из Хуста, приехавшая в Ужгород искать места портнихи, а на самом деле это Анна Куртинец.

Теперь женщина появляется в определённые дни в одно и то же предвечернее время, и я всегда жду её в теплице.

Не спеша расстегнув пальто, под которым виден широкий синий в белую горошинку фартук, Анна достаёт из-под него перевязанный бечёвкой свёрток. Иногда свёртки бывают тяжёлыми, иногда совсем лёгкими. Я прячу их на дне ящика под слоем земли с проросшими кустиками альпийского клевера.

Свёртки лежат у меня несколько дней. Приходят за ними в очередь двое: хлопец, напоминающий мне чем-то Юрка, с прямым, как бы бросающим вызов опасности взглядом, и средних лет мужчина в рабочей куртке, обстоятельный, спокойный, какой-то будничный, один из таких, кто раньше, чем на что-либо решится, прикинет много раз, а уж решившись, никогда не отступит от задуманного.

Чувствовалось по всему, что оба они не ужгородцы, а дальние, но куда они увозили свёртки, я не знал, не знал и того, что содержалось в этих свёртках.

С Ружаной мы не разговаривали о приходивших к нам людях. Это было как бы молчаливым уговором между нами. Оба мы отлично сознавали, что ждёт нас в случае провала. Мы делали без тени колебания то, что должны были делать. В этом был теперь единственный смысл и содержание нашей жизни. И никогда раньше мы не были так дороги друг другу, как теперь, когда не принадлежали себе.

Однажды Анна пришла позже, чем обычно. Расстегнув пальто окочевшими от ноябрьского холода пальцами, она достала свёрток и, протягивая его мне, сказала:

— Отдайте человеку, который явится за ним сегодня. Он железнодорожник и назовёт себя Пиштой. Скажите ему, что это для Верховины. Пишта оставит у вас небольшой баул. Припрячьте этот баул надёжней, пане Белинец.

— Хорошо, не беспокойтесь,— ответил я.

Проводив Анну до калитки, я не вернулся в теплицу, а пошёл в дом и сел приводить в порядок свои записи; помня слова Куртинца, я заставлял себя работать.

Внезапно шум на улице оторвал меня от занятий. Я отложил карандаш и стал прислушиваться. Казалось, что кто-то пробежал мимо дома, затем послышались свистки, они как бы перекликались между собой.

В комнату вошла Ружана, держа в руках уснувшего Илька. Лицо у неё было встревоженное.

— Ты слышишь, Иванку? — спросила она. — Мне кажется, кого-то ловят.

В этот момент где-то недалеко раздался одинокий хлопок выстрела. И, как бы в ответ ему, послышались выстрелы с разных сторон. Они приближались к нашему дому вместе с яростными свистками полицейских и пронеслись мимо, становясь всё глуше и глуше.

У меня онемели пальцы, заколотилось сердце. Всё смолкло, но не надолго. Снова послышался топот ног, и кто-то неистово заколотил в нашу калитку:

— Откройте, это полиция! Живо!

...Обыск в доме, в саду, в теплице. Весь квартал был оцеплен.

Офицер в сопровождении полицейского зашёл следом за мной в теплицу.

— О! — удивлённо воскликнул он. — У вас тут весна!

Он пошёл по узкому проходу, отодвигая ящики и заглядывая за стеллажи.

Я старался не смотреть на ящик, в котором уже развернулись и зеленели трилистники альпийского клевера. И как птица, которая пытается

отвлечь охотника от гнезда, где сидят её неоперившиеся птенцы, я сам принялся отодвигать другие ящики, показывая офицеру все закоулки.

Обыск в теплице закончился. Офицер приказал мне следовать за ним. Я спросил, могу ли зайти в дом и взять пальто.

— Не к чему, — бросил офицер, — тут недалеко.

Он пошёл впереди, освещая дорогу электрическим фонариком. За офицером следовал я, за мной — полицейский. Мы вышли на улицу и свернули к винограднику. Стоял промозглый туман, и голубоватые лучи фонарика еле пробивали темноту. Но вот мелькнул встречный свет, слышались голоса. К шедшему впереди меня офицеру приблизился полицейский.

— Что с лейтенантом? — спросил офицер.

— Увели. Он без памяти, пуля попала в живот...

Мы сделали несколько шагов к группе расступившихся полицейских.

— Взгляните-ка сюда, — обратился ко мне офицер.

Несколько пучков света, соединившись мутным пятном, скользнули по вязкой глинистой земле, осветив неподвижно распростёртого человека. Он лежал на спине, неестественно поджав левую ногу и вцепившись руками в отвороты форменного железнодорожного пальто. На меня в упор глядели остановившиеся глаза старого Шандора Лобани...

— Ну? — нетерпеливо спросил офицер.

Я стоял, потрясённый разыгравшейся только что трагедией. Но мысль работала ясно и удивительно быстро: ответить, что я никогда не встречал здесь старика, было бы бессмысленно и губительно: меня опровергли бы другие.

— Это старик-мраморщик, господин офицер, — произнёс я. — Он жил когда-то на нашей улице.

— К кому он ходил?

— Не знаю, я его не встречал здесь около года.

— Но к кому-то он ходил? Кому-то он нёс этот баул? — раздражённо выкрикнул офицер, ткнув сапогом какой-то объёмистый предмет.

Я скосил глаза и только теперь увидел у ног Лобани небольшой фанерный баул. Крышка его была откинута, внутри баула лежали плотно уложенные пачки револьверных патронов.

— Кому-то он нёс всё это? — повторил офицер и злобно выругался.

Опознавать убитого полицейские приводили на виноградник других людей, и все они один за другим подтверждали мои слова.

— Да, он жил когда-то на нашей улице. И никто его не встречал здесь вот уже около года.

По отрывочным разговорам полицейских я понял, что произошло следующее: полиция устроила очередную облаву по проверке документов. В эту облаву и попал Лобани. Он предъявил документы, но когда полицейский попытался обыскать его, старик сбил того с ног и бросился вверх по нашей улице. Бегущего заметили другие полицейские посты, и началась погоня. Лобани бежал, отстреливаясь. Ему удалось добраться до виноградников, но тут его насмерть сразила полицейская пуля.

Офицер, убедившись, что ничего нового ему не узнать об убитом, приказал нам разойтись по домам.

Полиция продержала наш район оцепленным всю ночь. Шли обыски. То и дело по улице проезжали полицейские автомашины.

Шандора Лобани больше не было в живых, и для меня его смерть была первой горькой утратой в борьбе, на путь которой я теперь сам вступил. «Сколько таких утрат ждёт нас ещё впереди, — думал я, — сколько таких опасностей и тревожных ночей?».

Погасив свет, тесно прижавшись друг к другу, будто перед расставанием, которое вот-вот может наступить, сидели мы с Ружаной в моей комнате, прислушиваясь к шуму, доносившемуся с улицы, и готовые ко всему.

Минула неделя, всё успокоилось, но к нам никто не приходил. Мне нужно было везти деньги лесорубам на лесосеки, а в ящике под землёй лежал свёрток для Верховины, и я не знал, что с ним теперь делать. Это и беспокоило и мучило меня.

Рано утром, перед тем как отправиться в контору, я зашёл в теплицу, решительно отодвинул в сторону боковую доску ящика и вытащил из потайного места свёрток. Осторожно развернул я на стеллаже плотную обёртку. Это были листовки.

«Разгром немецких империалистов и их армий неминуем». Так сказал Сталин в Москве шестого ноября...»

Волнуясь, пробежал я строчку за строчкой до конца и вновь возвращался к началу.

«Не может быть сомнения, что в результате 4-х месяцев войны Германия, людские резервы которой уже иссякают, — оказалась значительно более ослабленной, чем Советский Союз, резервы которого только теперь разворачиваются в полном объёме».

«...Немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой».

И заканчивалась листовка призывом:

«Люди Верховины, не покоряйтесь! Коммунисты зовут вас в бой против фашизма, против оккупантов. Пусть дороги в наших горах станут для них непроходимыми, а земля — могилой!»

Взволнованный, я вернулся в дом и показал листовки Ружане. Она внимательно прочитала одну из них и вопрошающе посмотрела на меня.

— Надо ждать, Иванку, — неуверенно произнесла она, — ведь за ними должны придти...

— А если не придут ещё неделю? Видишь, что это за листовки, разве они могут ждать?

Ружана отрицательно покачала головой.

— Но что же ты хочешь с ними делать?

Я помедлил с ответом.

— Повезу их сам на Верховину.

Ружана глубоко вздохнула:

— Я очень боюсь за тебя, Иванку, очень боюсь...

Но на другой день, когда я собрался уезжать, она сама помогла мне разложить листовки среди ведомостей в портфеле и, поцеловав меня на прощанье, шепнула:

— Да хранит тебя мать божья, дорогой мой!

Я оставлял эти листовки в колыбах у лесорубов, на сельских улицах, на станции в Воловце и на вагонных сиденьях рабочего поезда. Делал я это незаметно, осторожно и не раз наблюдал, как люди, найдя такие, сложенные четвертушкой листки, разворачивали их и быстро прятали в карманы.

Анна Куртинец снова пришла к нам через месяц. Узнав о том, как я распорядился листовками, предназначенными для Шандора Лобани, она в следующий раз, передавая новые свёртки, сказала:

— За четырьмя придут, а два, для Верховины, отвезёте сами. Это — поручение комитета.

С той поры, уезжая к лесорубам или сплавщикам, в саквояже среди пачек денег я вёз с собою из Ужгорода по указанным адресам пачки листовок.

Шёл сорок второй год.

Попрежнему каждое утро владелец писчебумажного магазина появлялся в витрине возле карты с кистью и ведёрком, на котором застыли подтёки коричневой краски, и педантично, аккуратно замазывал всё по-

вые и новые области на карте. Порою хотелось схватить его за руку, остановить, будто от него зависела судьба этой огромной, протянувшейся с востока на запад великой страны.

Я сам был свидетелем того, как он обвёл краской узкую светлую полосу на волжском берегу, и с отчаянием подумал, что завтра этой полоски уже не будет.

Но на следующий день хозяин не появился в обычное время у своей карты, и полоска оставалась незакрашенной... Так прошла неделя, другая, месяц. Узенькая, белая (белизну эту особенно подчёркивало охватившее полосу с трёх сторон сплошное коричневое поле), она вызывала сначала тревогу, потом удивление и едва скрываемое людьми восхищение.

— Всё ещё держится? — шёпотом спрашивали у меня сослуживцы, зная, что я каждый день прохожу мимо карты.

— Держится, — отвечал я.

— Удивительное дело!

В эти дни вернулся из армии сын владелицы нашего дома. Рослый, с бычьей шеей, когда-то воинственно настроенный, парень дошёл со своим кавалерийским взводом до незакрашенной полоски у Волги. Домой он возвратился на костылях, с туго забинтованной, искалеченной ногой и на все расспросы домашних говорил одно:

— Чёрт бы побрал немцев!..

Но на этом история с картой не кончилась. Несколько времени спустя я снова увидел в витрине толстяка-хозяина с кистью и тюбиком краски в руках. У магазина образовалась толпа. Люди со скрытым нетерпением следили, как толстяк принялся выбеливать широкие клинья на коричневом поле. А через неделю он уже появился не с тюбиком, а с целым ведёрком белил и так широко мазнул кистью, что остановившийся усатый прохожий в венгерке с возмущением выкрикнул:

— Господа, что он делает?.. А вы стойте и молчите!

— Чего же нам кричать? — добродушно отозвался из толпы долговязый трубочист в бархатной шапочке. — То ведь не он, а они там делают, кричи не кричи, а закрашивать надо.

Усач исчез, и через несколько минут в магазин вошли два полицейских. Не успевший закончить свою работу толстяк выбрался по их приказанию из витрины, а ещё немного погодя его уже вели под конвоем по улице. Он был бледен и лепетал, растерянно моргая глазами:

— Я не прибавил ни одного лишнего миллиметра, господа. Ни одного лишнего... Всё точно по будапештской сводке. Прошу проверить, господа... Я всегда точен!..

Карту убрали, но никакая сила уже не могла скрыть того, что на земле, которую изображала карта, становилось всё светлее и светлее, а вскоре эхо великой битвы на Волге отозвалось и в нашем крае.

В горах беспокойно.

Сначала говорят об этом глухо, под строжайшим секретом, а затем уже почти открыто. Слухи с удивительной быстротой достигают Ужгорода, радуя одних и устрашая других.

При каждом моём приезде на Верховину лесорубы, старый Фёдор Скрипка, а главным образом Семён Рушак сообщают всё новые и новые радующие меня вести: мне рассказывают о сожжённых лесных складах, о том, что под тоннелями у Воловецкого перевала пущен под откос поезд с едущими на фронт солдатами, что там уничтожен жандармский пост, а там обстреляна на марше рота и что жандармерия две недели искала сброшенных с самолёта парашютистов, но так и не нашла.

С Семёном Рушаком видимся мы всякий раз, когда я приезжаю на лесосеки.

Выплатив лесорубам деньги, я не спешу в тот же день возвратиться в Ужгород, а лошадьми или пешком добираюсь до хаты Фёдора Скрипки. Дорога не близкая, но это не останавливает меня.

Вечером, как только стемнеет, в хате Скрипки появляется Семён и мы идём с ним на ферму. Теперь на первой ферме уже не одна Пчёлка радуется мой глаз — десять карпатских бурых коров стоят в стойлах.

Это всё благодаря стараниям и настойчивости Семёна. Нет, не о Матлахе думает он, а бродит в нём и не даёт ему покоя пытливая кровинка, без которой и жизнь была бы ему не мила. Я и не подозревал прежде, каким неопенимым помощником станет для меня Рушак.

Семён водит меня от стойла к стойлу, делится своими наблюдениями, показывает записи, которые я прошу его вести.

Я прихожу на ферму попржежнему тайком, но Семён не очень опасается ночного появления Матлаха.

— Матлах теперь, — говорит Семён, — как стемнеет, сидит у себя дома и носа никуда не кажет. Днём ещё носится, а к вечеру — ворота на запор. И дом-то у него стал, Иванку, як та крепость. Жандармов у себя держит, таких псов завёл, что сам их боится.

Все эти перемены произошли после того, как однажды утром сторожа увидели на воротах матлаховского дома приклеенный листок бумаги.

«Слухай, Петре, — было написано на листке, — приказываем мы тебе, песиголовцу, поджать хвост и над людьми не лютовать. А як откажешься ты исполнить наш приказ, так знай, что дому твоему не стоять, а тебе не жить. Смерть фашистам!»

Матлах прочитал листок и рассвирепел:

— Ах, сучьи дети! Мне приказывать вздумали! Меня пугать!

Он велел Сабо запрячь коней и понёсся к окружным властям.

— Читай же, что мне пишут! — крикнул Матлах жандармскому майору и бросил на стол измятый листок. — Чья же это власть на Верховине: наша или того красного быдла? Я гроши давал, чтобы и духом красных у нас не пахло!

Майор стал успокаивать Матлаха, обещая принять меры, и сказал, что в ближайшее время в горах будет наведён порядок раз и навсегда.

Успокоенный Матлах возвратился домой, но той же ночью сгорел у него дотла недавно выстроенный во дворе флигель, а сторожа опять нашли на воротах листок, на котором было написано: «Не жалуйся!»

С той поры Матлах превратил свой дом в крепость и выезжал уже в сопровождении не одного Сабо, как раньше, а ещё и вооружённых стражников.

Следовавшие одна за другой карательные экспедиции ничего не достигали, напротив того, борьба на Верховине разгоралась всё сильнее и сильнее.

Как-то, сообщая мне о новых успехах народных мстителей, Семён говорит:

— Ох, и встал фашистам поперёк горла этот Микола с Чёрной горы! Я вскакиваю:

— Как ты сказал?.. Микола с Чёрной горы?

— А ты что, знаешь его? — испытующе смотрит на меня Семён.

— Нет!

— И я пока что не знаю.

— Была такая сказочка про Миколу с Чёрной горы...

— Гм-м, — усмехается Семён, — они бы дуже хотели, чтобы тот Микола был сказочкой. — И перешёл на шёпот: — Сам ходил смотреть на его работу. Под перевалом лежат у дороги машины, богато машин, и всё

спалённые. Меня жинка ругала, что пошёл смотреть: «Попадёшь в беду!», — а меня тянет, х-о-о-рошая работа! Э!.. Да ты меня вовсе и не слушаешь! — обижается Семён.

Я и в самом деле не слушаю. «Микола с Чёрной горы!.. Микола!.. Кто ещё мог взять это имя, кроме Горули? Никто, только он один, придумавший эту сказку о запертой земле. Неужели Горуля?..»

Всю обратную дорогу я думаю только об этом, и мысли мои то радостны, то тревожны.

В Ужгороде я с нетерпением жду Анну. Она появляется с заплечной корзинкой, в которой под кочнами салата уложены тяжёлые небольшие пачки. Точно такие же, как те, что лежали в бауле Шандора Лобани.

Я прячу эти пачки в укромное место и, когда Анна собирается уходить, спрашиваю:

— Микола с Чёрной горы, кто это?

Анна молчит.

— Горуля?

Анна молчит.

И вдруг меня озаряет догадка.

— Олекса, — произношу я шёпотом.

Анна молча кивает головой.

...Однажды утром, когда я пришёл в свою контору, напуганный событиями управляющий вызвал меня к себе и сказал:

— Мы больше не можем рисковать денежными суммами, которые вам приходится развозить, господин Белинец. До сих пор вам везло, но, не дай боже, эти красные подстерегут вас... Я решил изменить систему расчёта с верховинскими лесорубами. Теперь они будут получать деньги раз в месяц и только в Сваляве, в отделении банка. За вами останутся, господин Белинец, сплавщики на Тиссе. В долине всё-таки безопаснее...

Так неожиданно-негаданно прервалась моя постоянная связь с Верховиной. Это очень удручало меня, но изменить тут я ничего не мог.

Край наш перестал быть для оккупантов спасительным тылом. Газеты, долго и упорно хранившие молчание о партизанах, наконец разразились угрозой: «У нас хватит сил навести порядок!».

Однако это легче было обещать на газетных столбцах, чем осуществить на деле.

Попрежнему взрывались по пути к фронту воинские эшелоны, то тут, то там завязывались бои между партизанами и посланными против них войсками, а в сводках Советского Информбюро, передачи которого мы тайно ловили, стали появляться сообщения о действиях партизан в наших горах.

В феврале сорок четвёртого года я снова увиделся с Куртинцом, но на этот раз у меня в доме. Я был счастлив вдвойне: и тем, что опять вижу этого мужественного, дорогого мне человека, и той неожиданной радостной вестью, которую он принёс о Горуле: Горуля был у нас, и не в горах, а на Ужгородщине!

— Здесь, здесь, — говорил мне Куртинец, отряхивая снег со своей венгерской бекешы, — вернулся ещё осенью, а больше ничего не скажу, и не спрашивайте...

Я уже давно привык к железным законам конспирации, которым мы все подчинялись, и не обижался.

— Вы добрый вестник, — говорил я, крепко пожимая руку Куртинца.

— Хотел бы им быть всегда, — улыбался тот, — до конца жизни.

Мог ли я подозревать в ту минуту, что конец этот наступит так скоро?..

Ещё накануне вечером ко мне явился пожилой рабочий, которого я знал под кличкой «Верный». Осведомившись, всё ли в порядке, он предупредил, что завтра утром ко мне придёт гость и пробудет до вечера.

— Калитку с ночи не замыкайте на ключ. Условный сигнал, что в дом можно войти, — загнутая занавеска на левом окне. Гостю передайте, что буду здесь, как условлено, в восемь.

И вот утром, чуть занялся зимний рассвет, пришёл Куртинец. И хотя в каждом его движении чувствовалась осторожность и говорил он тихо, у меня появилось ощущение, что в доме стало многолюдно, веселей и праздничней.

Зайдя в комнату, Куртинец принялся греть руки, похлопывая ладонями по кафелю горячо натопленной печи. От еды он отказался и только попросил чёрного кофе. Я ушёл на кухню и, когда возвратился, застал Куртинца сидящим в кресле, а рядом, на полу, тряся хвостом, подпрыгивала пичужка. Я даже не сразу сообразил, что она заводная.

— Славно сделана! — поднял на меня глаза Куртинец. — Только что не летает.

— Откуда она взялась?

— Издалека, — ответил Куртинец. — Радист один прихватил с собой о т т у д а. Ну, а я взял у него... Это вашему хлопчику, товарищ Белинец, передайте.

— Вы уж лучше сами отдайте ему.

Куртинец было согласился, но, подумав, сказал:

— Нет, лучше вы. Не надо, чтобы он меня видел здесь. Сколько ему?

— Пять лет.

— Пять лет... А мои уже настоящие легины¹...

— Видите с ними? — спросил я осторожно.

— Изредка их вижу, а они меня нет, — грустно ответил Куртинец. — Приходится так... Тяжело, конечно, но Анне ещё тяжелее. Они и не знают, что мы здесь. Живут у дальних родственников Анны, под другой фамилией... Ну, кажется, теперь уж недолго...

Он с удовольствием выпил крепкий кофе, который я ему принёс, и, вытерев платком губы, стал расспрашивать о настроении в городе.

Мой рассказ ему, видимо, понравился.

— Это очень хорошо, что оккупанты и их прислужники всё сильнее нервничают. Надо, чтобы они и совсем голову потеряли.

В восемь часов утра под видом водопроводчика пришёл Верный, а с ним Горуля!

Не помня себя от радости, мы бросились друг к другу в объятия, забыв на какое-то мгновение, кто мы, где мы, что окружает нас. Это был неожиданный праздник, такой, какие редко выпадают в жизни.

— Тише вы, тише! — беспокожно ходил вокруг нас Верный. — Тише, вам говорят! — Но когда из комнаты к нам в переднюю вбежала Ружана, Верный безнадежно махнул рукой и отошёл к стоявшему в стороне Куртинцу.

— Иванку, Иванку, — шептал Горуля и гладил меня, как маленького, по голове, — вот мы и опять вместе!

— Если бы вы знали только, — говорил я, — как я рад, что вижу вас!

— А ведь я в нашем крае давно, — с шутливой таинственностью сказал Горуля, поглядывая на меня и Ружану, — рвался повидать вас, да всё нельзя было... А раз вот жинку твою на улице повстречал, да она, слава богу, не признала меня... А внучок мой где? Куда вы его сховали?

— Спит уже, — шепнула Ружана.

— Мне бы поглядеть на него, — попросил Горуля, — я не разбужу.

И на цыпочках пошёл следом за Ружаной в комнату, где спал Илько.

Куртинец и Верный ждали Горулю в моей комнате.

— Ну, теперь давай с тобой, Олексе, — сказал Горуля Куртинцу.

¹ Легины — хлопцы, жених.

— Э-э... — разглядывая Куртинца, проговорил Горуля, — постарел ты, друже, с осени!

— Да и ты что-то не молодеешь, Ильку! — усмехнулся Куртинец.

— Жизнь такая...

— Трудная?

— Трудная, но я не жалуясь, делаем то, что в наших силах. В горах легче, а у нас Ужгородщина — долина, всё на виду!..

— Это я знаю, — сказал Куртинец. — За то, что делаете, спасибо. Но разговор будет о том, чего вы не делаете.

Горуля нахмурился.

— Говори, чем недоволен!

— Я... о Народных комитетах, — сказал Куртинец, — есть они в сёлах на Ужгородщине?

— Есть, — ответил Горуля, всё ещё не понимая, чего хочет Куртинец. — Не так много, но они есть. Знаешь, как трудно было их здесь создавать? Но мы создали, привлекли к работе людей честных и полезных для нашего дела. Продовольствие, а главное, нужные сведения — всё это мы доставали для вас через комитеты...

— Это-то хорошо, — прервал его Куртинец, — мы помощь ценим, а вот знает ли народ на Ужгородщине, что существуют Народные комитеты?.. Нет, не знает. Больше того: даже не подозревает о них. А народ должен о них знать. Народные комитеты не только в будущем, но уже сейчас должны стать местными подпольными органами народной власти и противопоставить себя оккупантским властям. У нас уже есть в этом отношении опыт, и не только на Верховине, как ты, вероятно, думаешь, Илько. Вот, пожалуйста, маленький пример.

Куртинец извлёк из кармана листок бумаги, развернул его и положил на столик перед Верным.

Я подошёл к столику и взглянул на исписанный крупным, чётким почерком листок. Он был измят, и оборванные края его хранили следы клея.

— Целый день провисел, — пояснил Куртинец, — в центре села, на самом виду у жандарма, а тот и пальцем дотронуться до него не посмел. Читайте!

Но читать он нам не дал, а, взяв листок, начал читать сам:

— «Постановление Народного комитета села Вилки, восемнадцатого февраля тысяча девятьсот сорок четвёртого года, номер одиннадцатый... Первое. Товарищи! Двадцать третьего февраля — праздник Красной Армии, той армии, которая бьёт сейчас на фронтах наших лютых врагов и несёт нам свободу. Народный комитет объявляет день двадцать третьего февраля праздничным в нашем селе и призывает вас отпраздновать его в каждой хате. Да здравствует Красная Армия!»

Куртинец остановился и обвёл нас лукавым взглядом.

— «Второе. Народному комитету стало известно, что в ближайшее время будет проводиться набор на работы в мадьярщину. Вам будут говорить, что это на полевые весенние работы, но вы не верьте. Ваши руки нужны, чтобы строить укрепления. Народный комитет призывает вас отказываться ехать, гнать гэтъ из села вербовщиков. Третье. В Народный комитет поступила жалоба на Фёдора Гриньчака, что Фёдор Гриньчак погано рассчитался с наймаками, обдурил их и обвешал. Народный комитет приказывает: кровопивцу трудового народа Фёдору Гриньчаку немедленно отдать наймакам то, что он им недодал. Если он это не сделает к двадцать третьему числу, мы его будем судить по всей строгости. Постановление это должно висеть в центре села от ночи до ночи. Срывать строго воспрещается, и за это отвечают староста Любка Петро и начальник жандармского поста Надь Ласло. Да здравствует наша борьба! Смерть фашистским оккупантам!..» — Куртинец тряхнул листком. — Понимаете, что это такое?

— Власть,— сияя, проговорил Горуля.— И долго оно висело?

— От ночи до ночи. Староста и жандарм сделали вид, будто они ничего не замечают. Можете себе представить, как им хотелось сорвать объявление! Не посмели. А вы тут, на Ужгородщине, законспирировались до такой степени, что сами своего голоса не слышите. Бойтесь жертв? Так действуйте разумно, но действуйте! Законспирироваться — это значит действовать, а не отсиживаться.

Верный молчал, потупясь. Горуля смущённо вертел в пальцах листок объявления.

— Где собираете людей? — спросил Куртинец.

Верный встрепенулся.

— Место надёжное, тут, неподалёку, в подлесной стороне. Дом в саду, и до леса близко.

— Кто будет?

— Как домолвились, — сказал Горуля, — представители комитетов из сёл.

— Ну, а на мне — городские товарищи, — добавил Верный.

— Собираются сразу по адресу? — поинтересовался Куртинец.

— Нет, — сказал Горуля, — адреса никому не давал. Сам буду встречать каждого в отдельности в кофейне на Корзо.

Куртинец улыбнулся.

— Я погляжу, Ильку, ты уже город знаешь, может быть, лучше меня.

— Верный познакомил, — смутился Горуля.

— Значит, дружно работаете?

— Пока не жалуюсь, — проговорил Горуля. — Он по городу, а я по сёлам... Эх, Олексе, пустил бы ты меня на Верховину!..

Куртинец покачал головой:

— Не проси, друже, нельзя! Люди здесь нужны, а их мало. Да и потом на Ужгородщине тебя никто не знает, а там ты каждому пеньку знакомый.

— То я разумею, — вздохнул Горуля.

Куртинец поднялся. За ним поднялись Верный и Горуля.

— Значит, до вечера, товарищи!

— Будь здоровым, Олексе!

К вечеру вьюга улеглась, но мороз стал сильнее. Над Ужгородом было звёздно и удивительно тихо. Город казался погребённым под снегом.

Куртинец собрался уходить. Я проводил его до калитки и, пока он не скрылся за углом, стоял, прислушиваясь, как скрипел под его ногами снег.

Каждый вечер по несколько часов я работал в теплице, засиживаясь там допоздна. Работы было много. Последнее время меня особенно занимал бич наших полонин — альпийский щавель. Стелющийся, живучий, цепкий, он рос у меня в широких ящиках, заглушая высеянные вместе с ним травы, и я, пользуясь наблюдениями Фёдора Скрипки, бился над тем, чтобы выведать, чего же не любит и чего боится это зловредное растение.

Вот и в этот февральский вечер после ухода Куртинца я отправился в теплицу и, увлечшись работой, не заметил, как время перевалило за полночь.

Оторвал меня от занятий неясный шум, похожий на шуршание осевшего снега. Затем что-то стукнуло за стёклами теплицы, и всё смолкло, но через минуту — две опять послышался глухой стук, и на этот раз возле самого порога.

Я потушил свет, вышел в тамбур, осторожно приоткрыл дверь. У входа в теплицу лежал человек. Я бросился к нему, нагнулся. Это был Горуля!

Он дышал прерывисто, что-то клокотало у него в горле, и казалось, вот-вот оборвётся. Я дотронулся до его плеча. Он открыл глаза и вдруг судорожно схватил меня за руку, заговорил торопливо, хрипло: — Иванку, слухай, Олексу взяли... Сообщи. Доманинская, девяносто... Условный: «Где живёт мастер...» «Во дворе направо, проходите». Олексу взяли.

Я похолодел от отчаяния.

— Где взяли? — только и сумел выговорить я.

— Там... На подлесной стороне.

Всё, что я делал дальше, я делал, скорее повинуюсь инстинкту, чем сознанию. Я подхватил Горулю под руки и поволок его к дому. Открыв дверь своим ключом, я разбудил Ружану. Она побледнела, увидев окровавленного человека, лежащего на полу в прихожей.

— Иванку, кто это?

— Молчи! — приказал я. — Помоги мне...

Мы уложили Горулю на диван, сняли с него пальто, башмаки, пиджак. Я разорвал сорочку и заметил над левой грудью две кровоточащие ранки.

Не прошло и часа, как над впавшим в беспамятство Горулей хлопотал врач. Ружана помогала ему, а на стуле сидела Анна Куртинец, бледная, осунувшаяся. Это она мне открыла дверь в доме на Доманинской, куда я постучался по указанию Горули.

Доктор работал молча, но по выражению его лица можно было понять, что состояние Горули серьёзное.

Дождавшись конца перевязки, я пригласил врача в соседнюю комнату и, прикрыв за собою дверь, сказал:

— У нас в доме корь. Надеюсь, вы поняли меня, доктор?

Доктор пожевал губами и кивнул:

— Да, понял!

Он нервничал и глядел на меня исподлобья с каким-то удивлением и опаской, будто я не был старым его знакомым.

— Мы вам доверились, доктор, и вы...

— Можете не беспокоиться! — вспыхнув, прервал он меня и стал сердито отворачивать закатанные рукава сорочки.

Он дал несколько наставлений Ружане и, уходя, очень сокрушался, что нельзя поместить раненого в больницу.

Сознание возвратилось к Горуле только на третий день, и лишь тогда мы узнали всё, что произошло в подлесной стороне города.

Горуля сидел в кофейне на Корзо — третьеразрядном бойком заведении, где всегда было полно посетителей. Он устроился за столиком у стены, недалеко от входа. Вызванный им человек подсаживался к столу незаметно для других. Горуля говорил несколько коротких фраз, и тот, выпив чашку кофе или делая вид, что ему некогда ждать кельнера, поднимался и уходил.

Встретив таким образом и отпустив одного за другим всех вызванных представителей комитетов, Горуля посидел ещё минут двадцать, расплатился с кельнером и собрался уходить.

Но раньше чем подняться с места, он внимательно оглядел кофейню. И вдруг взгляд его остановился на одном из посетителей. Тот сидел в другом конце зала спиной к Горуле. Что-то знакомое померещилось Горуле в этой сутулой спине, в гриве седых волос и в движении руки, которое сделал посетитель, придвигая к себе поданный кельнером стакан воды.

«Кто ж это такой?» — подумал Горуля, но припомнить ничего не мог.

Он поднялся из-за стола и спокойной, неторопливой походкой вышел из кофейни.

На улице было мало народу и, несмотря на безлунье, сравнительно светло от навалившего за день снега.

Горуля оглянулся, прошёл несколько шагов, но кольнувшее смутное беспокойство заставило его остановиться. Он вернулся к двери и заглянул через стекло в зал кофейни. На месте человека с гривой седых волос сидел кто-то другой. Поразмыслив, Горуля решил не придавать этому обстоятельству значения. Однако раньше чем отправиться в подлесную часть города, он сделал круг по центральным кварталам, выбирая тихие и пустынные переулки. В одном из таких переулков, выходящем к площади Корятовича, Горуле показалось, что кто-то идёт следом за ним. Он неприметно оглянулся и действительно увидел поодаль человека. Чтобы определить, не за ним ли это следят, Горуля обронил перчатку и резко, с ходу нагнулся за ней. Шедший позади тоже остановился. Всё это продолжалось мгновение, но для Горули и этого было достаточно. Идущий своей дорогой человек никогда не остановится только потому, что где-то впереди задержался другой прохожий.

«Хвост», — мелькнула мысль, и сердце у него упало.

Жизнь подпольщика заставила Горулю изучить Ужгород во всех его подробностях и особенностях. В этом помог ему ведущий работу в самом городе Верный. Он знал проходные дворы, удобные лазы, лабиринты бесчисленных двориков, о существовании которых даже не подозревали другие. Один из таких дворов был неподалёку. Стоило только там перебраться через невысокую ограду, чтобы очутиться в соседнем дворе, выходящем уже на другую улицу.

Горуля ускорил шаг, чуть не сбил с ног какого-то прохожего, извинился и нырнул в подъезд знакомого ему многоэтажного дома.

Дверь под лестницей вывела Горулю во двор, к ограде. Он перемахнул через ограду и притаился за дворовыми строениями.

Минуты две — три было тихо, но вот скрипнула подлестничная дверь, прохрустел снег, и у ограды остановились двое.

— Так и есть! — произнёс один. — Прошёл. Видите след? Давайте назад, может быть, успеем.

— Я не могу быстро, — сказал другой, — у меня одышка.

— Но вы уверены, что это он?

— Ну конечно, он!

«Матьер божья, да то же Луканич!.. — осенило Горулю. — И в кофейне был Луканич... Как это я его не признал?..»

Выходить на другую улицу было теперь небезопасно: Горуля какое-то время подождал, перелез обратно через ограду, пересёк двор и, очутившись снова в подъезде, выглянул на площадь: ни души! Он обогнул площадь, вышел через Корзо на набережную Ужа и дальним, кружным путём, поминутно оглядываясь и наконец убедившись, что никого не ведёт за собой, выбрался на подлесную сторону к деревянному дому. Дом стоял на отшибе, поодаль от других строений, посередине большого фруктового сада. Сад был обнесён низкой плетёной загородкой, местами почти заваленной снегом. Справа, метрах в трёхстах, пролегла ведущая к лесу дорога; слева же, за узкой полосой виноградника, лежала большая пустошь, обрывающаяся скатом к задворкам ужгородской окраины.

Выйдя из-за дерева, дозорный тихо окликнул Горулю и, получив ответ, снова скрылся на своё место.

Дверь открыла молодая мадьярка — хозяйка дома. Горуля пошёл за ней по длинному полутёмному коридору, но вдруг остановился, недоуменно поглядев на женщину. Откуда-то из глубины дома донеслась песня. Пели её негромко, но слаженно несколько мужских голосов.

Поймав взгляд пришедшего, женщина улыбнулась.

— Поют, — сказала она по-венгерски, — но вы не беспокойтесь, с улицы ничего не слышно.

Горуля подошёл к одностворчатой двери, из-за которой доносилось пение, осторожно приоткрыл её и заглянул в комнату.

Комната была большая и скудно обставленная. Свет низко опущенной лампы с трудом пробивался сквозь клубы табачного дыма.

Расположившись на диване у жарко натопленной печи, несколько человек вполголоса, полузакрыв глаза, тянули припев старинной шутливой жалобы чабана, который никак не может выбрать себе невесту.

А запевал жалобу Куртинец. Он сидел посреди комнаты, облокотившись на спинку стула, и, подперев щеку, время от времени взмахивал рукой, и этот взмах служил сигналом к вступлению хора.

Своим пением эти люди как бы бросали вызов тем тревогам и опасностям, которые их подстерегали в жизни на каждом шагу, а выражение их лиц словно говорило: «Не сама песня радует нас, а радостно нам потому, что мы собрались и поём вместе и когда разойдёмся, мы всё равно будем вместе».

Настроение людей передалось Горуле. С радостным чувством он переступил порог комнаты, и недавние его страхи рассеялись.

— Что так поздно? — спросил Куртинец, поднимаясь со стула.

— Был «хвост», — весело сказал Горуля и коротко рассказал о встрече с Луканичем, — пришлось поплутать, пока отвязался.

Тень беспокойства мелькнула в глазах Куртинца.

— Ты уверен, что отвязался?

Горуля успокоил его:

— Не сомневайся, друже!

Подошёл Верный.

— Не все в сборе, Ильку, — сказал он тихо.

— Как не все? — удивился Горуля и обвёл внимательным взглядом присутствующих. Не было среди них Стегуры из Перечина.

— А приходил он к тебе на Корзо? — спросил Куртинец.

— Приходил, жаловался только, что хворый... Может, заплутался...

— Дай боже, чтобы так, — произнёс Верный.

Наступило тревожное молчание.

— Вот что, — сказал Куртинец, — надо расставить дозорных подальше от дома, и не будем терять времени.

Когда Верный вышел, Куртинец спросил Горулю:

— Кто такой Стегура?

— Кассиром служит на железной дороге в Перечине. Помогал нам хорошо. Мы его проверяли, ничего дурного не заметили.

Через несколько минут возвратился Верный.

— Что ж, — произнёс, взглянув на часы, Куртинец, — пора начинать.

Сидевшие за столом потеснились, но Куртинец за стол не сел, а, прислонившись спиной к печке и заложив назад руки, просто и негромко, словно делаясь своими думами, заговорил о последних сводках с фронтов, об усилившейся партизанской борьбе и о том новом, что должны выполнить в сложившейся обстановке подпольные группы и народные комитеты.

Внезапно его оборвал на полуслове тревожный условный сигнал дозорного. Тотчас же распахнулась дверь, вбсжала взволнованная хозяйка и сказала:

— Солдаты!

— Где они? — быстро спросил Куртинец.

— Везде: на дороге, около сада, на виноградниках...

Люди вскочили с мест.

— Снять нижние рубашки и надеть их поверх. Быстро! — приказал Куртинец. — Оружие у всех?

— У всех, — ответили люди, принявшиеся торопливо выполнять приказание Куртинца.

Вбежал в комнату дозорный и, задыхаясь, сбивчиво рассказал, что солдаты подъехали на семи машинах, рассыпались цепью и стали охватывать кольцом местность вокруг дома.

— Густо идут? — спросил Куртинец.

— Пока метрах в пятнадцати друг от друга.

— Выходить из дому по двое,— приказал Куртинец товарищам,— у дверей не толпиться, и бегом до плетняка. Залечь в разных концах и ждать, когда солдаты подойдут вплотную, а уж тогда по условному выстрелу прорываться; патронов на себя не оставлять, все по врагу, а если что произойдёт... держаться, как должно, чтобы не была стыдной память о нас у наших детей.

Первыми должны были выбежать из дому Верный и дозорный. Раньше, чем выпустить их, Горуля шепнул Верному:

— Запомни, друже, Фёдора Луканича. Был раньше профессором в мукачевской гимназии, где сейчас он, не знаю. Может, это — его рук дело... Ну, смелее! — и распахнул дверь.

Верный с дозорным скатились с крылечка, упали в снег и словно поплыли по нему. Белые, надетые поверх одежды рубашки делали ползущих почти невидимыми.

За первой парой последовали Куртинец и Горуля, за ними и все остальные.

Снег был глубокий. Солдаты приближались к саду медленно, а Куртинец с Горулей сидели, притаившись, за плетняком. Было так тихо, что Горуля слышал, как под пальто тикают у него часы в жилетном кармане.

Наконец цепь подошла к саду. Солдаты шатнули плетняк, и один из них, тот, что оказался ближе к Куртинцу, уже занёс длинную ногу, чтобы перебраться в сад, но Куртинец поднялся из-за плетняка и выстрелом в упор свалил солдата. И почти одновременно захлопали выстрелы в разных концах сада.

Увязая в снегу и отстреливаясь, Куртинец с Горулей уходили по пустоши к городской окраине. Преследовавшим их солдатам приходилось часто стрелять наугад, потому что импровизированные маскировочные халаты Горули и Куртинца сливались с белизной снега и преследователи теряли бегущих из виду. Но зато тёмные фигуры солдат были отчётливо видны на фоне белой пелены, и время от времени кто-нибудь из них, вскрикнув, так и оставался лежать на снегу.

— А ведь наши, пожалуй, уйдут, Илько! — прислушиваясь к отдалённым выстрелам, с надеждой говорил Куртинец.

— Могут уйти, друже,— ответил Горуля.

Когда до ската оставалось не больше пятидесяти шагов, Горуля вдруг пошатнулся и, хватая руками воздух, осел в снег. Куртинец бросился к товарищу, попытался поднять его, но Горуля не мог подняться. Сильный озноб как-то сразу охватил его тело, в груди будто пекло.

— Что с тобой, друже? — зашептал, становясь на колени, Куртинец.

— Уходи, Олекса,— прохрипел Горуля,— уходи, ради бога, скорее...

Какую-то долю секунды Куртинец поколебался, затем поднялся и бросился бежать. Солдаты, галдя, переваливаясь в глубоком снегу, устремились за Куртинцом.

Горуля видел, как, отбежав большое расстояние, Куртинец бросился прыжком к откосу и покатился вниз, как он поднялся почти у самых дворигов, но в это время от дворигов отделилось несколько чёрных фигурок, и вдруг все они сгрудились и забарахтались в снегу.

Горуля рванулся, словно это на него навалились солдаты, и застонал. Потом он видел, как группа солдат двинулась в обратный путь по склону, подталкивая автоматами Куртинца. Тот взбирался молча, но, очутившись на пустоши, остановился ненадолго, выпрямился, как это показалось Горуле, и запел:

Верховино, свитку ты наш,
Гей, як у тебэ тут мило!..

Он шёл, окружённый солдатами, и пел. Голос его постепенно удалялся, но слышен был ещё очень долго.

Горуля пролежал в нашем доме около недели. Для нас с Ружаной это было самое трудное и тревожное время. Мы не спали ночей, прислушиваясь к каждому шороху за стенами дома. Бывало, стукнет где-нибудь калитка, и мне уже казалось, что это идут к нам.

Горуле то становилось лучше, то хуже, но мысль о Куртинце не покидала его ни на минуту. Он страдал невыносимо.

— Олексе, Олексе, — шептал он в отчаянии, стискивая зубы, — Олексе...

В часы, когда наступало улучшение, чтобы отвлечь Горулю от терзавшей его мысли, я начинал расспрашивать его о Советской стране. Долго Горуля говорить не мог, быстро уставал, но он заметно оживлялся, рассказывая, и на лице его появлялась улыбка.

Годы, проведённые в Советском Союзе, Горуля прожил в Харькове. Работал он плотником на строительстве большого завода и учился вечерами.

— Как сказал, что учиться хочу, думал, Иванку, люди меня засмеют: «Куда тебе, старому, в молодые лезть!..», — а не засмеяли. Там не в диковину то, что старые учатся. Вся держава учится! Строит и учится... Ох, Иване, всем бы людям на свете такую добрую жизнь, как там до войны была, всем бы людям!..

К концу недели Горуля немного окреп, и его увезли от нас в горы.

Средь бела дня во двор въехали две селянские подводы с дровами. Дрова сбросили, дно одних саней устелили сеном и овчинами, а в сумерки двое дюжих подводчиков незаметно снесли закутанного в гуню Горулю, уложили его в сани, закидали сверху охапками сена и спокойно съехали со двора.

Слухи о ночной перестрелке в подлесной стороне ползли по городу. Толком никто ничего не знал, а падкие до всякой сенсации издаваемые в Ужгороде фашистские листки на этот раз молчали. Но вот однажды к крикливым газетным заголовкам о неприступности «линии Арпада»¹, о новом секретном оружии, которое вот-вот совершит перелом в войне и обеспечит победу Гитлеру, прибавились новые: «Решительные действия увенчались успехом: Микола с Чёрной горы пойман!»

Городские заправилы явились в полицию и попросили вручить от имени благодарного рутенского² народа, который нашёл счастье под сенью короны святого Стефана, подарки отличившимся чинам.

— Рано, рано празднуют, — говорила Анна, и глаза её блестели лихорадочным блеском.

Иногда мне казалось, что Анна, как и мы с Ружаной, не до конца верит, что Олекса в руках врагов. Но нет, так только казалось.

— Я знаю, — говорила она, — его пытаются, мучают, могут убить; не надо обманывать себя...

Голос её срывался и дрожал от горя, и мы с Ружаной понимали, что эта маленькая, хрупкая, самоотверженная женщина всем существом своим каждую минуту там, с Олексой.

Сады у нас цветут в апреле.

Если взглянуть в эту пору на Ужгород издали, то покажется, что опустилось над городом белопенное облако, опустилось, расплзлось, запуталось среди домов и никак теперь не может отцепиться и улететь.

Случается, что подует ветер посильнее, глянешь в окно и вскрикнешь: «Снег идёт!» А это не снег, это кружатся в воздухе, как снежинки, лепест-

¹ Линия Арпада — оборонительная линия по Карпатскому хребту.

² Рутенский народ — так называли венгерские буржуазные историки народ Закарпатской Украины.

ки черешен, устилают собою землю, и на дворах, на улочках становится белым-бело.

А дни стоят знойные, того и жди, что грянет первая гроза.

В один из таких апрельских дней в свой час, как обычно, пришла к нам Анна.

Я открыл ей. Она поглядела на меня невидящим взглядом, зашла в комнату и медленно, как слепая, опустившись на стул, проговорила:

— Олексы нет... Убили Олексу... Убили Олексу...

Ружана заплакала. Анна взглянула на неё и вдруг, закрыв лицо руками, заплакала сама, тихо, почти беззвучно, как плачут в Верховине старые, сдержанные в своём горе женщины.

Олексы нет. Убили Олексу. Горе оказалось слишком большим, чтобы сразу принять его, чтобы найти те единственные слова, которые могли бы утешить. Да и слов таких не существовало.

Я подошёл к Анне и обнял её за плечи. Она стихла, отняла руки от лица и так сидела некоторое время, уставив в одну точку сухо горящие глаза. Затем Анна подняла с пола плетённую из кукурузных листьев корзиночку, с которой пришла, извлекла из неё три небольших свёртка и положила их на стол.

— За двумя придут,— сказала она,— а третий для вас...

Я развернул один из свёртков, снял верхнюю листовку и, пробежав глазами первые строки, вздрогнул, будто услышал голос живого Куртинца,— это было его письмо перед казнью. Служитель будапештской тюрьмы, связанный, как узнали потом, с подпольной группой патриотов венгерской столицы, вынес эти листки на волю, и они дошли до нас.

«Это письмо ко всем,— писал Куртинец,— кто боролся вместе со мной, к тебе, Анночка, к вам, мои хлопчики...

Сегодня последний день моей жизни. Человеку, влюблённому в неё, как я, трудно и невозможно свыкнуться с такой мыслью, но это так: последний день...

Меня должны были повесить две недели назад, сразу после приговора, но открылась на руке старая рана, и меня уложили в лазарет, чтобы накинуть петлю на совершенно здорового,— это было продолжением пыток.

Но последняя неделя в лазарете оказалась неделей надежды. Люди, имена которых ещё не время назвать, передали мне, что боевая группа венгерских товарищей, действующая в Будапеште, совершит попытку освободить меня при всём переводе из лазарета обратно в тюрьму. И действительно, вчера ночью, когда тюремная карета мчалась по городу, одна за другой лопнули две шины. Карета остановилась. Я слышал выстрелы, крики конвоиров. Трое конвойных, сидевших со мною в фургоне, разбив зарешёченные окошки, открыли огонь, но нападавшие не решились стрелять прямо по фургону. Напрасно! Минутное промедление решило дело, и я был спасён для палачей. Но как бы там ни было, я благодарен венгерским друзьям уже за одно то, что слышал их голоса так близко.

Сейчас ранний час утра. Тюрьма ещё спит. А на воле апрель, и сквозь толстые серые тюремные стены я вижу его там, на милой моей зелёной карпатской земле, ради светлой доли которой я жил и отдаю жизнь сегодня. Можете не сомневаться, товарищи, я встречу смерть, не зажмуривая глаз, верный до последнего своего вздоха партии, солдатом которой имел счастье быть. Ей одной обязан я тем, что могу себе сказать: да, жизнь прожита не даром. А если защежит в последнюю минуту сердце, так это только потому, что оно — сердце.

Анночка! Благодарю тебя за твою любовь, светившую мне в самые тяжёлые часы в жизни, а их ведь было у нас с тобой немало. Благодарю за преданную твою дружбу и за наших дорогих хлопчиков. Я верю, что ты вырастишь их людьми честными, мужественными, искренними, а за озорство их не брани: всё-таки это дети.

Не оплакивайте меня, товарищи! Плачут по мёртвым, а я хочу быть среди вас живым. Усильте нашу борьбу за достойную, радостную жизнь для людей на земле!

Обнимаю вас, прощайте!

Микола с Чёрной горы — Олекса Куртинец.

52

Словно ветром дунуло от Ужгорода до Рахова. Сотни людей уходили из сёл, городов, посёлков в горы и, добравшись до партизанских постов, объявляли: «За Миколу!»

А в Перечине подпольный Народный комитет судил Луканича и Стегуру.

Луканич не жил больше в Мукачеве. Уволенный из гимназии за неблагонадёжность и снискав славу пострадавшего от оккупантов человека, он вдруг объявился на перечинском химическом заводе в качестве служащего дирекции.

Подняли Стегуру и Луканича ночью и привели в один из домиков рабочего посёлка.

За столом, в комнате, освещённой керосиновой лампой, сидело несколько человек, и среди них был Верный, уцелевший в числе пятерых подпольщиков после стычки с солдатами и полицией на подлесной стороне Ужгорода.

Узнав, что их привели на суд, Луканич яростно прохрипел:

— Вы не смеете меня убивать!

— Мы не убийцы, — ответил Верный, — а судьи.

Первым допрашивали Стегуру. Приземистый, плотный, с трясущимся подбородком, он заискивающе заглядывал в глаза судьям, словно искал сочувствия.

— Вы же не первый день знаете меня. Никого я не предавал, а что не пришёл по адресу, так потому, что найти не мог, а у людей опасался спрашивать.

— А «Цезарь второй», — спросил Верный, — разве это не ваша полицейская кличка?

Стегура вздрогнул, вобрал голову в плечи и вдруг взмолил:

— Оставьте мне жизнь, я ничего не утаю... Оставьте мне жизнь.

И не дожидаясь ответа, торопливо, время от времени бросая опасливые взгляды на угрюмо молчавшего Луканича, который стоял, прижавшись к стене, начал рассказывать о том, как он познакомился с Луканичем, как тот советовал ему найти связи с работающими в Перечине подпольщиками.

— Для чего? — спросил Верный.

— Чтобы бороться против мадьяр, — ответил Стегура. — А потом, когда я связался с подпольным Народным комитетом и стал помогать партизанам, Луканич потребовал, чтобы я давал ему сведения о подпольщиках и партизанах. Он сказал: «Я ненавижу мадьяр, и сведения эти нужны мне для тех, кто сюда придёт, — для американцев».

— И вы стали давать эти сведения Луканичу?

Стегура кивнул головой.

— Но совещание представителей Народных комитетов вы, однако, выдали хортиевцам?

— Да... Луканич мне объяснил, что американцы заинтересованы в том, чтобы партизанское движение было ослаблено, а поэтому надо помочь полиции.

— Вам платили?

— Да.

— Кто и какими деньгами?

Стегура опустил голову.

— Полиция — пенгами, а Луканич — долларами...

Потом Стегура рассказал, как Луканич и агент полиции, выследив Горулю в кофейной на Корзо, потеряли его след и как он, Стегура, узнав адрес дома, где должно было происходить совещание, сообщил его Луканичу.

При допросе Стегуры Луканич молчал. Скрыв глаза под насупленными бровями, он злобно хранил молчание и в течение всего суда не отвечал на вопросы судей. И только выслушав приговор, закричал, бросился к столу, полный бешеной, испуганной ненависти...

Именем народа комитет приговорил Луканича и Стегуру к смерти. В ту же ночь приговор, перепечатанный в нескольких экземплярах на машинке, был расклеен по Перечину, а тела Луканича и Стегуры полиция нашла поутру у жандармских конюшен.

Как-то в конце месяца управляющий послал меня на Верховину, в Воловец, проверить счета по отгрузке леса. Я поехал охотно, рассчитывая побывать заодно у Рушака. Но дорога на Студеницу оказалась перекрытой жандармскими постами, которые никого не пропускали. Жандармов и солдат было полно и на вокзале. Даже здесь, в Воловце, у железной дороги днём они ходили только по трое.

Огорчённый неудачей, я решил быстро проверить счета, чтобы успеть вернуться в Ужгород поездом, который привёз меня в Воловец.

Покончив с делами, я сел в вагон и стал ждать отправления. Прошло десять, двадцать, тридцать минут, а поезд всё не отходил. Я вышел из вагона, чтобы выяснить, в чём причина задержки. Никто ничего не знал, только знакомый поездной кондуктор, выбрав минуту, когда мы остались у вагона наедине, шепнул:

— Мы ещё здесь простоим, пане инженер. Впереди не всё в порядке, — и многозначительно подмигнул: — Микола с Чёрной горы путает все расписания.

— Кто, кто? — переспросил я, насторожившись.

— Я сказал: Микола с Чёрной горы. Разве вы не слышали о нём?

— Слышал, конечно, но ведь его... нет!..

— Как бы не так! — вытянул губы проводник и приблизился к моему уху. — Они бы хотели, чтобы его не было, а он есть. Укажите только, где он находится, и вы получите тридцать угров земли. Вон советую почитать объявление.

Кондуктор кивнул в сторону вокзала, и я увидел возле щита для реклам, которого раньше не замечал, небольшую толпу.

Человек пятнадцать лесорубов, селян и железнодорожных рабочих стояли перед щитом, слушая, как какой-то грамотей читал вслух объявление. Жёлтое, с зелёными полосами, привлекающее к себе внимание восклицательными знаками, оно было наклеено поверх старой рекламы Бати.

«Тридцать угров земли тому, кто укажет властям местопребывание Миколы с Чёрной горы!

Пять угров тому, кто раскроет настоящее имя этого бандита.

Выполните свой долг перед Венгрией!»

Люди слушали и молча разбредались в разные стороны; на смену им подходили другие и так же молча слушали. Только один молодой, краснощёкий малый в нескладно топорщившемся городского покроя костюме произнёс не то с восхищением, не то с завистью:

— Богато земли! Можно жить!

На него покосились.

— Смотри, — сказал ему угрюмо один из железнодорожных рабочих, — смотри, как бы тебя не наградили всего тремя шагами!

— И тех будет жалко, — добавил другой.

Я вернулся в вагон и сел на своё место у окна.

— Как же так,— недоумевая, вполголоса рассуждал сидевший позади меня селянин с замотанной в холстину пилой,— казнили человека в Будапеште, а теперь опять ищут его!

— Не казнили,— ответил сосед.— Не удалось. Пришли, кажут, за ним, чтобы на казнь вести, а его и нема!

Поезд задержали надолго и отправили только в сумерки.

Когда мы отъехали несколько километров от Воловца, состав замедлил ход. В вагон вошли два жандарма и, встав у дверей, приказали:

— В окна не смотреть! Отвернуться! Живо!

И в этот момент я заметил, что в вагоне стало светлее, а ещё немного — и на стенах, на лицах людей появились малиновые отблески огня: что-то горело по обеим сторонам дороги.

— Ох, и светло! — сказал кто-то позади меня.

— Ничего! — шепнул другой.— Будет светлее! Самый свет, он ещё впереди!..

И осенью сорок четвёртого года мы увидели зарницы этого приближающегося к нам света.

Это было в начале сентября. Пришла Анна Куртинец радостная, возбуждённая и, едва переступив порог, взволнованно заговорила:

— В Словакии восстание, Иване... Баннская Быстрица в руках восставших, а воинские части Тисо переходят на сторону народа...

Я с силой сжал руки Анны и, усадив её на стул, засыпал нетерпеливыми вопросами.

— Подробностей я не знаю, — отвечала она, — но восстал народ! Понимаете, что это такое?

И действительно, восстание, вспыхнувшее в соседней поруганной и истерзанной глинковскими¹ фашистскими молодчиками Словакии, разразилось день ото дня, охватив центральные районы страны. Это был взрыв народного гнева такой силы, что в нашем крае оккупанты стали поспешно эвакуировать свои семьи вглубь Венгрии, а Анна Куртинец поручила мне передать по моим притиснянским адресам распоряжение подпольного комитета: быть в боевой готовности.

Забеспокоились не только сами оккупанты, но и их прихвостни, те, кто, предчувствуя неминуемое крушение Гитлера, стали менять свою ориентацию. Наш старый знакомец Матлах был из числа таких.

Теперь, когда прошло время, собранные воедино рассказы и свидетельства многих людей, которые тем или иным образом были связаны с Матлахом, открыли передо мной многое, что делал и о чём думал этот матерый волк Верховины.

Задолго до того, как Советская Армия вышла в предгорье Карпат, к Матлаху зачастили с визитами богатые хозяева, скотопромышленники и даже выслужившиеся перед оккупантами окружные чиновники. Вид делали они такой, будто очутились в Студенице проездом, и почему бы по такому случаю не навестить доброго знакомого? Но на самом деле всех их гнала сюда общая тревога. Как собаки чуют в доме покойника, так и они чувствовали, что конец Гитлера и его союзников не за горами, и не спали теперь ночей, думая о собственном будущем.

Матлаха они ненавидели, завидуя его успехам, и втайне всегда желали, чтобы он сломал себе шею, но в эти тяжкие для них всех дни, признавая его ум, хватку, дальновидность, ездили к нему в надежде узнать что-либо важное или угадать, что же собирается делать сам Матлах, когда идёт такая беда. Однако выведать им ничего не удавалось.

— Эх, куме, — вздыхал Матлах, — может, и я бы что-нибудь задумал, если б не был таким хворым. Совсем хворость меня замучила, а другое всё — суета... Як бог захочет, так пусть оно и делается.

¹ Г л и н к а — главарь словацких фашистов.

А сам тайком, соблюдая все предосторожности, через доверенных людей скупал на чёрных валютных рынках Ужгорода, Мукачева и даже самого Будапешта доллары.

Занялся он этим после того, как, обеспокоенный отступлением гитлеровцев, приехал однажды в Ужгород, к старому своему советчику, пану превелебному Новаку.

С тех пор, как окончила своё бесславное существование «держава» Августина Волошина, Новак, казалось, совсем отошёл от политики и отдал себя всецело служению богу, но на самом деле этот духовный отец был рекомендован святой римской церковью американцам и стал их резидентом в Ужгороде. Приезжавшие в епископство панские курьеры привозили Новаку из Ватикана инструкции, а обратно в Ватикан для передачи американской разведке увозились сведения, собранные паном превелебным. Однако эта служба Америке несколько не мешала Новаку искренне боготворить Гитлера и Хорти. «В конце концов, — говорил Новак, — все мы служим одному делу».

Несмотря на доверие, каким пользовался у пана превелебного Матлах, последний не был посвящён в подлинную жизнь Новака, а только догадывался о ней и хранил свою догадку втайне даже от самого пана превелебного. Но на этот раз, приехав к Новаку и оказавшись с ним наедине в большой, увешанной потемневшими картинами комнате, спросил:

— На кого надеяться теперь, отче?

— На бога нашего всевышнего, — ответил Новак.

— А поближе? — и Матлах уставился пристальным взглядом на пана превелебного.

— Не понимаю, о ком вы спрашиваете? — произнёс Новак, спокойно выдержав взгляд гостя.

— Что же тут непонятного, — как всегда, напрямик сказал Матлах. — Вы же не зря, отче, меня про ровные полонины расспрашивали и про те воинские казармы, что...

— Пане Матлах, — строго прервал Новак, — чего вы хотите?

— Хочу знать, отче духовный: на какого коня мне теперь ставить?

Беседа между Матлахом и паном превелебным длилась недолго, но после неё Матлах будто ожил и со свойственной ему решительностью, но в то же время осторожностью принялся скупать доллары.

— С этими грошами мы не пропадём, — говорил он жене и сыну. — Их сам господь бог над всеми другими поставил.

— А як русские придут? — с тревогой спрашивала жена.

— Не придут. Вся Европа под Америкой будет, а русским только до Карпат дадут дойти.

— Дай мать божья, — вздыхала и крестилась Матлациха. — Только бы, Петре, тебя американцы не тронули.

— Вот дурасть говоришь! — злился Матлах. — Помощь от них идёт. На одном возу сидим, одни песни поём.

Вряд ли когда интересовавшийся географией Матлах купил в Мукачева огромную карту Европы, повесил её у себя в спальне и, разобравшись в масштабе, стал каждый день измерять расстояние от Карпат до Советского фронта и до линии фронта американских войск на западе.

— Матерь божья, — шептал он, — подстегни ты моего коня...

Когда пришла весть о словацком восстании, Матлах всполошился не на шутку и помчался в Ужгород к пану превелебному Новаку.

Сообщения о новых успехах восставших передавались из уст в уста. Я видел, как трудно было людям в Ужгороде, сёлах, поездах скрывать свои надежду и радость. Плотогоны на Тиссе не расставались с топорами и цапинами, казалось, что они ждали только сигнала.

А между тем гитлеровское командование, сознавая, какая опасность грозит их армиям с тыла, бросило на освобождённые районы Словакии свои отборные дивизии. Завязались ожесточённые бои. На помощь вос-

ставшим через линию фронта прорвались отряды советских партизан, и были переброшены на самолётах части сформированного в Советском Союзе чехословацкого корпуса. Мы не сомневались, что победят в этой борьбе повстанцы, но произошло другое: восставшие начали терпеть одно поражение за другим. Ходили смутные слухи о каком-то предательстве, а Матлах возвратился к себе в Студеницу повеселевший:

— Ну, стара, пронесло беду! — сказал он жене. — Сдаётся мне, немцам ни за что бы не взять верх над словаками, як бы того Америке не понадобилось... Ну, и нашлись, нашлись люди, что со двора ворота отперли.

И только сейчас, в наши дни, на процессе Рудольфа Сланского в демократической Праге выяснилось, кто предал восстание в Словакии, и были сорваны личины с тех, кто открыл «со двора» ворота перед народным врагом.

И всё же долго ещё шли бои в Словакии. Восставший народ сражался с яростью и героизмом, и в одном из таких боёв смертью храбрых пал Франтишек Ступа — писатель, адвокат, боец.

Восстание было разгромлено. Но октябрьской ночью я увидел новые зарницы, приближающиеся к нам с востока.

Огонь в доме был погашен. Илько спал. Мы с Ружаной стояли у окна, следя за вспышками зарниц отдалённого боя, и прислушивались к лёгкому дребезжанию оконных стёкол.

— У перевалов? — спросила Ружана, кутаясь в платок.

— Нет ещё, не у перевалов... Почему ты дрожишь?

— Я всё ещё не верю, что теперь уже скоро...

А зарницы продолжали полыхать на горизонте, освещая вершины гор, и было такое ощущение, что в засушливую пору идёт долгожданная гроза.

53

Не помню, когда ещё стоял такой чудесный октябрь, как в том памятном сорок четвёртом году. Было тепло, ясно, сухо. Нестерпимо для глаз голубело небо. Солнце светило и грело, как в летнюю пору, только отливающие медью леса на горах да какая-то особенная прозрачность воздуха напоминали об осенней поре.

Но никто, казалось, не замечал сейчас прелести редкой по красоте осени. Все были взбудоражены и взволнованы неудержимо надвигающимися событиями. Одни ждали их с радостным, едва скрываемым нетерпением, отсчитывая дни, другие — со страхом, третьи — с тревожным любопытством.

Город кишел обтрёпанными солдатами, суетливыми, неизвестно откуда появившимися людьми с чемоданами и рюкзаками. По приказу властей в канцеляриях поспешно жгли архивы, и куски чёрного пепла кружились над городом, как гигантский рой мух.

Сыновья моей хозяйки, яркие мадьяроны, изменившие с приходом венгров свою славянскую фамилию Черничка на Чернеки, многозначительно намекали на какие-то предстоящие бои, на какой-то поворот в ходе событий, уверяли, что Ужгород не будет сдан ни в коем случае. Однако мы знали, что они тайком паковали вещи.

Подпольный комитет поручил мне узнавать, откуда и какое народное имущество собираются оккупанты увозить на запад. Осторожно, чтобы не навлечь подозрений, я узнавал об этом через знакомых и главным образом через многосведущего Чонку.

Как-то встретив меня на улице, Чонка спросил загадочно:

— Знаешь, кто был у нас вчера в банке?

Но у Чонки никогда не хватало терпения по-настоящему заинтриговать собеседника, не хватило его и сейчас.

— Матлах! — не дожидаясь моего вопроса, выпалил он. — Представь себе, я вышел в коридор, а он катит на своей коляске прямо к дверям ка-

бинета управляющего. Мне сказали потом по секрету, что он собирается угонять скот со своих ферм, а потом и сам смотает удочки.

— Куда же он хочет его угнать?

— Конечно, не на восток, а куда-нибудь подальше! — И Чонка махнул рукой в неопределённом направлении.

«Вот как! — подумал я. — Матлах хочет угнать скот, который выстили ему Семён и Калинка, скот, вскормленный моими травами и пасшийся на отнятой у таких бедняков, как Фёдор Скрипка, земле...»

— Когда он собирается его угонять? Ты понимаешь, что этого нельзя допустить?

— Но кто же может ему помешать? — пожал плечами Чонка.

— Необходимо поехать в Студеницу и предупредить селян.

Чонка помотал головой.

— Ты не проберёшься в Студеницу, Иване. Теперь по дорогам всё движется в одном направлении: сюда, а не отсюда.

— Как-нибудь проберусь!

Чонка промолчал, глядя себе под ноги, и вдруг вскинул на меня свои большие, как обычно, мутноватые глаза, в которых, однако, сейчас мелькнуло что-то давнее, озорное, мальчишеское.

— Возьми меня с собой, Иванку, — взмолился он, — одному трудно, а вдвоём — хоть на край света!..

— Зачем это тебе? — удивился я.

— А тебе зачем? — прошептал Чонка. — Ты разве не доверяешь? Я могу достать автомашину. Хочешь, военную автомашину?.. У меня есть знакомый интендантский офицер. Мы доберёмся без препятствий.

— Подожди, — перебил я Чонку. — У тебя ведь банк.

— Там сейчас не до меня, — махнул рукой Василь. — Там все головы потеряли...

Что говорило сейчас в Чонке? Жившая ли в нём ещё с отроческих лет любовь к приключениям или потребность совершить наконец что-то полезное, нужное людям?

— Когда ты можешь раздобыть машину? — спросил я.

— Хоть сейчас, — ответил Чонка, не задумываясь, и глаза его радостно блеснули.

— Но что ты скажешь дома?

Чонка поморщился:

— Что обычно говорят жёнам: «Дорогая, еду по делам службы».

Не медля ни минуты, мы пошли вместе к казармам, где Василь рассчитывал выпросить у интендантского офицера автомашину.

Ходить с Чонкой по городу даже в такое суматошное время было чистым мучением. Его все знали, и он знал всех. С одним он учился вместе, с другим служил, с третьим играл на бильярде, четвёртый был соседом по винограднику, а пятого он вовсе и не знал, но считал своим долгом приветливо раскланяться и даже остановиться.

— Надо сочинить причину нашей поездки, — сказал я, когда мы наконец стали подходить к казармам...

— Служебное или личное?

— Для дороги обязательно служебное: например, мы едем ревизовать имущества лесничеств...

— Не годится, — запротестовал Чонка, — какая ревизия в такое время!

— Очень годится! — настаивал я. — Ты понимаешь, как это подействует на вояк?! Тут всё рушится, а у власти такое хладнокровие. Ну, а для интенданта — мы едем в Студеницу, чтобы вывезти застрявших там родственников.

— Неплохо, — согласился Чонка, — родственники — неплохо!

Мы подошли к казарме и условились, что я буду ждать в мелочной лавочке напротив. Чонка нырнул в ворота, но дорогу ему преградил ча-

сой. С порога лавочки я видел, как Чонка долго объяснял что-то часовому, потом вызванному дежурному офицеру. Наконец его пропустили, и он зашагал к длинному серому зданию, расположенному в глубине двора.

В лавочке было полутемно и пахло лежалым товаром. Я заказал бутылку содовой воды и с нетерпением стал ждать Чонку.

Чонка долго не появлялся. Должно быть, нелегко было получить в такое время интендантскую машину.

Лавочник, кругленький человечек с глуповато-красивыми глазами, стоял, прислонившись к полке, и время от времени вздыхал. Мне его лицо показалось знакомым, но я никак не мог припомнить, где я его видел. И вдруг меня осенило.

— Вы давно здесь торгуете? — спросил я.

— Немного больше года, — ответил он не то смущённо, не то напуганно.

— Я видел вас в другом месте.

— Да, — вздохнул он, — у меня был магазин игрушек и канцелярских принадлежностей в центре города, но случилось несчастье, большое несчастье...

— Знаю, — сказал я, — вы пострадали из-за карты фронтов.

Он вздрогнул и побледнел.

— Откуда вы знаете?

— Я видел, как вас вели полицейские.

— Да, да, да, — растерянно пролепетал он. — Я ведь... я всё делал пунктуально по военным сводкам, а меня за это продержали в тюрьме полгода... Но что будет теперь? Всё рухнет!

В этот момент я увидел, как из ворот казармы выехала закамуфлированная легковая автомашинка. Рядом с одетым в венгерскую военную форму шофёром сидел Чонка и махал мне рукой.

Я расплатился за содовую воду и поспешил на улицу.

54

Предупредив Ружану и Юлию, мы выехали из Ужгорода на перечинскую дорогу.

Толпы немецких и венгерских солдат, военные автомашины вперемежку с цивильными бричками двигались нам навстречу, к Ужгороду. Вон пан превелебный в шарабане катит рядом с самоходной пушкой. Там две женщины, обхватив баулы и картонки, сидят на военном грузовике. Вон плетётся дородный усатый мужчина, езвалив на плечи чемодан. Я представил себе, как все они: и немецкий офицер с бурым от пыли лицом, и усатый мужчина, и эта женщина — в сорок первом году рвались на восток, в просторы России. Одни — в погоне за военной славой, мечтая о генеральских чинах, другие — за поместьями, третьи — просто за жизнью, не брезгуя ничем, что попадёт под руку. Куда, к какому берегу прийдёт всю эту нечисть?

Наша машина пробиралась с трудом, гудела, останавливалась и снова двигалась. Встречные расступались неохотно, ругались, грозили спихнуть нас в кювет. На одном из перекрёстков какой-то офицер подскочил к машине и, сквернослова на двух языках сразу, требовал, чтобы мы немедленно убралась с дороги.

— Назад! — орал он, вытаскивая из кобуры пистолет. — Сейчас же поворачивайте назад свою шкатулку!

Но Чонка!.. Я был поражён его спокойствием и властным тоном!

— Молчать! — крикнул он офицеру по-немецки.

Офицер, привыкший к тому, что штатские всегда трепетали перед ним, вздрогнул, вытянулся и застыл с полуоткрытым ртом.

— Ваше счастье, что мне некогда с вами возиться, — сквозь зубы процедил ему в лицо Чонка и крикнул преградившим нам путь солдатам: — Дорогу!

Солдаты расступились, и машина тронулась вперёд. Чонка сидел рядом с шофёром и ни разу не обернулся ко мне.

Не знаю, какой получился бы из него капитан дальнего плавания, о чём он мечтал когда-то, но актёром, во всяком случае, он мог бы стать недюжинным.

До самой Студеницы на нашей машине нам всё-таки не удалось добраться. Уже под вечер километрах в пятнадцати от матлаховской фермы партизаны взорвали мост. Мост охранялся солдатской командой, и никто ума не мог приложить, когда и как партизанам удалось его минировать. Он взлетел на воздух в ту самую минуту, когда по нему проходили танки. Две перевёрнутые кверху гусеницами машины, обломки свай и настила перегородили речку, и запруженная вода перекатывалась через образовавшуюся преграду.

Ехать дальше нечего было и думать.

— Пойдём пешком, — сказал я Чонке, — а машину отправим обратно.

— Ничего другого не остаётся, — вздохнул Чонка. — Но идти пешком по дороге рискованно, Иване. Цивильная городская одежда в такое время!.. Машина нас спасала...

— Будем пробираться тропой по берегу речки. Не бойся, я хорошо знаю эти места.

— А если там партизаны? — шёпотом спросил Чонка. — Представь себе...

— Тем лучше для нас!

— Да, ты прав, — присосанился Чонка. — Я бы даже хотел, чтобы мы их встретили...

Шофёр обрадовался, когда узнал, что ему можно возвращаться в Ужгород.

Мы подождали, пока машина отъехала, а затем стали спускаться по крутому берегу к речке.

С полчаса мы посидели на берегу невдалеке от группы солдат, видевших, как мы подъезжали к разрушенному мосту на военной машине. Это была сапёрная команда, пригнанная сюда наводить переправу. Они валили деревья, росшие на самой лесной опушке, скрепляли их железными скобами и мастерили настил.

Надвигавшаяся темнота приостановила работу. Жечь костры было настрого запрещено, и никто не знал, что делать. Офицеры громко ругали солдат, солдаты шёпотом ругали офицеров, и те и другие втихомолку проклинали высшее начальство.

Но как только по-настоящему стемнело, я потянул Чонку за рукав. Мы поднялись и, свернув к кустарнику, осторожно стали пробираться к лесу и оглянулись только тогда, когда ощутили под ногами тропу.

К матлаховой ферме подошли мы около полуночи. Сторожевые псы встретили нас басистым лаем. Где-то скрипнула дверь, мелькнул робкий лучик света — и послышались голоса.

— Кого носит?

— Где Рушак Семён? — отозвался я.

— А это кто? — спросил знакомый мне голос возле закрытых ворот.

— Семён, ты? Открой, друже, это я, Иван.

— Иванов много, — проговорил Семён. — Который?

— Белинец, — сказал я.

— Да что ты! — удивился Семён и поспешно стал отпирать калитку.

На дворе фермы внимание моё привлекли голоса людей, пофыркивание животных, хруст сена, но из-за темноты нельзя было ничего разглядеть.

— Что тут у вас? — обратился я к Семёну.

— Да вот, — ответил Семён, — племенных сегодня пригнали с других ферм. Для сохранности Матлах приказал. Бойтся, чтобы вояки отступающие не растащили.

— А где сам Матлах? — спросил я, когда Рушак ввёл нас в сторожку.

— Ждали сегодня, да не приехал. А что?..

— Матлах весь скот собирает угонять за Тиссу, — сказал я.

— Як за Тиссу? — встрепенулся Семён. — От пёс! Так вот он для чего стадо собрал! А вы предупредить пришли, Иване?

— Да, предупредить.

— Спасибо... Скот не дадим за Тиссу гнать. Сами его угоним в надёжное место, пока наши не подойдут... Теперь уже вот-вот...

Мы помолчали, прислушиваясь к глухим раскатам.

— Это уже на Арпаде, — шёпотом пояснил Семён и, сняв с гвоздя вееряк, стал поспешно одеваться. — С людьми пойду поговорю. А вы, Иванку, подождите меня, только не тут, а вон в той каморе.

И, толкнув маленькую дверцу, он пропустил нас в пристроенную к сторожке кладовушку.

Вернулся Семён только через час. озабоченный, но довольный.

— Нынче и погоним, — заявил он, — люди согласны. И вам, Иване, придётся с нами идти, завтра уже придумаем, как вас до Ужгорода отправить.

Выгон скота начался в третьем часу ночи. Раскрылись настежь двери хлевов, спустили с привязей собак, навьючили лошадей. Люди негромко перекликались в темноте.

Первыми из ворот фермы вышли выделенные Семёном проводники. За ними вывели на цепях четырёх тяжёлых племенных быков, а за быками тронулось уже всё стадо и телята, которых гнала дочка Семёна Калинка...

Я и Чонка шли рядом с Семёном, впереди замыкающих гурт вооружённых охотничьими ружьями пастухов.

Приученные кудлатые псы охраняли стадо с боков.

Только к утру, когда рассвело, мы достигли скрытого урочища под полониной.

Уехать в тот день в Ужгород нам с Чонкой не удалось. Затихшая было ночью артиллерийская канонада возобновилась, но теперь уже с такой силой, что казалось, будто всё рушится вокруг нас.

Рушак выслал двух пастухов на разведку к дорогам. Пастухи вернулись только к вечеру и сообщили, что немцы перекрыли дороги пулемётами и гонят отступающих мадьяр обратно к перевалам.

— Теперь и мыши на низ не проскользнуть.

Чонка нервничал, а я с тревогой думал об оставшейся в Ужгороде Ружане.

Прошёл ещё день, другой, а тут, как назло, стало сильно морозить по ночам. Костров не разводили, опасаясь привлечь внимание. Люди зябли сами, но скот укрывали своими серяками и гунями. От холода начался падёж телят, и кто знает, чем бы это всё кончилось, если бы на утро четвёртого дня к нам в урочище не пробралась из Студеницы Штефакова Олёна.

— Йой, Иванку, Семён, — говорила она, плача от радости. — Студеницу уже советские разведники прошли. Вчера прошли, жандармов больше нема и старосты нема — сбежали.

— А Матлах где? — спросил Семён.

— Нема Матлаха в селе, — ответила Олёна. — Матлачиха одна по

двору мечется и не знает, что ей робить. Червоноармейцы, кажут, быются уже на самом перевале.

Послышались возгласы радости, изумления.

— Дождались, дождались наконец! — говорили люди со слезами на глазах.

— Вот что, — сказал Семён, когда волнение несколько улеглось, — стадо надо гнать обратно в Студеницу. За старшого быть тебе, Олёна. Разумеешь?

— Разумею, — кивнула Олёна.

— А ты сам куда? — спросил я Семёна.

Семён помедлил с ответом.

— К перевалу... Пойдёшь, Иванку?

— Пойду.

Как я ни уговаривал Чонку вернуться вместе с пастухами в Студеницу и ждать меня там, он отказывался.

— Вот ещё! — хмурился Чонка. — Вместе так вместе, чёрт побери!

Приходилось ли вам когда-нибудь бывать рано утром на горной реке в дни сплава леса? Река мелководна и камениста. Тут и там торчат обомшелые валуны. Но наступает час, и высоко в горах, у водохранилища, ставник открывает шлюз плотины, пуская в реку первую воду. Упругий водяной вал катится по реке, гоня перед собой щепу, мусор, гнилые листья, хлопья грязной пузырчатой пены.

Вот и теперь, когда мы с Семёном и Чонкой подобрались, наконец, к дороге километрах в пяти от перевала, мне показалось, что где-то высоко распахнулись шлюзовые ворота и хлынувшая в них прозрачная вода покатила перед собою по дороге мутную волну накипи.

Толпы гитлеровских и хортиевских солдат, грузовые автомашины, вьючные кони, орудия, повозки, наседая друг на друга, потоком скатывались вниз, и казалось, что этому потоку не будет конца.

Мы залегли довольно высоко над дорогой, под укрытием могучих деревьев. Со стороны перевала доносился до нас слитный гул, от которого дрожал холодный осенний воздух.

А день был ясный, безветренный. Небо чистое. Видно было далеко вокруг, и скинувшие свой покров, озарённые солнцем леса, густо фиолетовые внизу и дымчатые по вершинам, стояли, будто прислушиваясь.

«Придёт тот день, Иванку, наш день!» — вспомнились мне слова Горули. Деда мои и прадеды мечтали о нём в своих горных хижках; бистровский учитель, Юрко, Олекса Куртинец, Лобани отдали за него жизнь; и, может быть, сегодня, через час или два, мы будем радоваться ему, как уже наступившему.

Гул, доносившийся с перевала, становился всё ближе и ближе.

Мутный поток внизу будто схлынул куда-то в пропасть, обнажив перед нашими глазами белое полотно шоссе.

Семён, сделав нам с Чонкой знак рукой, ловко цепляясь за стволы деревьев, заскользил вниз, к дороге. Мы последовали за ним, упираясь каблуками в землю.

Всего несколько шагов отделяло нас от дороги.

На шоссе никого не было, оно казалось совершенно пустынным. Но это продолжалось недолго. Семён уже собирался перепрыгнуть выложенный замшелым камнем кювет, но отпрянул назад и точно слился со стволем старой ели.

Послышался топот ног, выстрелы, и мимо нас пробежала группа гитлеровцев в мышиноного цвета шинелях. Одни бежали, не оглядываясь, другие оборачивались и стреляли. Ответных выстрелов не было слышно. Но вслед за немцами появились хортиевские солдаты, их было человек пятнадцать. Вдруг один из них, рослый, плечистый малый, остановился, бросил себе под ноги автомат и поднял руки. Другой, подстать первому ростом, тоже отшвырнул автомат в сторону и вытянул руки над голо-

вой. А между тем со стороны перевала нарастал железный лязг, земля начала гудеть, а дерево, к которому я прислонился, сотрясало и дрожало.

Мчались танки. Первая машина пронеслась с ураганной быстротой, но я успел увидеть на её зелёной броне алую пятиконечную звезду.

Не помня себя от радости, прыгнул я на дорогу и, сорвав шляпу, закричал, сам не понимая смысла того, что кричу. И тут я увидел, что на дороге мы с Семёном и Чонкой не одни. Справа по обочине белели серяки мужчин, мелькали цветные хустки женщин. Я глянул налево, и там, где только что промчался первый советский танк, из-за деревьев и валунов выбегали на дорогу люди. Они тоже кричали и махали шляпами. А танки, огромные, запylённые, пронеслись мимо. Люк одной из машин был открыт, и в нём, высунувшись по пояс, стоял офицер-танкист. Он приветливо помахал нам флажком и спокойным, уже, видимо, привычным к таким картинам взглядом скользнул по сдававшимся в плен солдатам.

...Потом мы очутились в расположенном неподалёку только что освобождённом селе.

Сельская площадь никогда ещё не видела столько народу, сколько собралось на ней сегодня. Нас подхватил и завертел людской водоворот.

— Василию, Семён, сюда! — крикнул я моим друзьям, показывая на запylённый, остановившийся посреди площади танк, на котором стоял танкист с забинтованной головой.

Мы с трудом пробились к машине.

— Здравствуйте, товарищ!

— Доброго здоровья! — говорил, нагнувшись с брони машины, танкист, поблёскивая затаманувшимися от влаги глазами.

Я глядел в эти глаза, но сказать ничего не мог, потому что все слова вдруг показались мне маленькими, неспособными выразить и тысячной доли того, чем было переполнено сердце. В этот момент два хлопца подвели к машине древнего, высушенного годами и недолей старика. Старик остановился перед танкистом, снял шляпу и прошептал:

— Я дожил!.. Як ждали мы вас... гей як ждали!..

Да будет благословен тот день!

К Студенице подошли мы перед самым вечером, и ещё издали бросилось нам в глаза, что на майданчике перед попиной корчмой царит необычайное оживление.

— Эгей,— проговорил Семён, стараясь разглядеть, что там происходит,— никак, скот наш стоит!

— И солдаты, — сказал приостановившийся на миг Чонка, — да, кажется, чехословацкие...

— Слухай, Иване,— тронул меня за руку Семён,— а то, часом, не матлаховский возок?.. Ей боже, он!..

Мы ускорили шаг.

А произошло тем временем в Студенице следующее.

После нашего ухода из урочища Олёна с пастухами подняла стадо и погнала его вниз, как приказал Семён, не тропой, а полонинской дорогой. Была эта дорога кружная, но зато удобная для скота.

Люди торопились, были веселы, и даже Калинка, огорчённая тем, что Семён её не взял с нами, повеселела.

Встречать стадо высыпало всё село. По обочинам улицы в клубах поднятой гуртом пыли шли женщины, воинственно кричали хлопчики, размахивая хворостинами, мужчины окружили Олёну и пастухов, рассказывая о последних событиях, о том, как через Студеницу уже прошли со стороны Воловца части Советской Армии, как их встречали в селе.

Остановилось стадо на майданчике перед корчмой. Корчма была закрыта, и Попша следил за происходившим на площади, притаившись за оконной занавеской.

— А Матлаха-то нема,— говорили люди Олёне, узнав, что Рушак поставил её за старшого.

— Куда он девался?

— Должно, сбежал.

— Люди с Потоков приходили, сказывают, видели его в Голубином.

— И в Сваляве его видели.

— Мечется из села в село. Он же там, на низине, скот свой поджидал, чтобы его за Тиссу угнать.

— Олёна, — спросил Фёдор Скрипка, — а что со скотом делать?

— Передохнуть мало и на ферму гнать,— отвечала Олёна.— А гам будем Семёна дожидаться.

Вдруг в толпе началось какое-то движение. Послышались восклицания, дробный перестук колёс, и на площадь выкатила запряжённая парой бричка, в которой сидели Матлах и Сабо.

Несколько дней Матлах метался по низине из села в село, ночуя у знакомых богатых хозяев, и не решался уехать домой в Студеницу. Неудачи преследовали его одна за другой. Рухнула надежда встретить в Студенице хлебом-солью американских солдат, как встречал он в своё время хортиевцев. Матлах негодовал, клял на чём свет стоит американцев.

— Зажирели, сучьи дети! У каждой корчмы останавливаются! Я безногий, и то бы быстрее дошёл, а они время упустили, время упустили...— И вдруг, успокоившись, сказал себе: — Они не пришли, так мы до них пойдём и скот погоним. Погоним хоть через всю Европу, до того места, где они будут!

— Пане, — пытался возразить Сабо, — но война кончится, и они домой уйдут, что тогда? Может, в тех местах для нас хуже придётся?

— Мне везде будет хорошо, — мотнул головой Матлах. — С моими грошами я и там не пропаду. Там гроши — всё.

И он стал спешно готовиться к угону скота. Но скот на верецковской ферме захватили батраки. Оставалась надежда, что удастся угнать стадо из Студеницы, но Сабо вернулся с вестью, что ферма пуста, а стадо пастухи укрывают где-то в горах.

Матлахом овладел приступ бессильной ярости. Он рвался из рук Сабо, пытался встать на парализованные ноги, упал и начал кататься по полу в доме знакомого маклера, проклиная и грозя, одновременно взывая и к богу и к дьяволу. С большим трудом маклер и Сабо погрузили его на бричку.

Матлах приказал вести себя в военную комендатуру, требуя жандармов, солдат, чтобы отнять у батраков свой скот. Но коменданту было не до Матлаха, он и слушать его не стал. Тогда Матлах начал приставать к офицерам отступающих немецких частей, суля им за помощь большие деньги. Те посылали его к чёрту, срывая свою злобу на взбесившемся парализованном старике.

Сабо, дрожа от страха, уговаривал хозяина уехать куда-нибудь и переждать трудное время. Но Матлах не соглашался. Он прирос к своему богатству и не мог примириться с мыслью, что навсегда лишается его. Это не укладывалось в его сознании. Он решил возвратиться домой.

И вот по дороге в Студеницу от встречных людей он узнал, что стадо прогнали с гор и оно сейчас в селе, на майданчике перед корчмой.

Не останавливаясь возле дома, он погнал лошадей прямо на площадь.

Толпа, завидев Матлаха, сгрудилась и смолкла. Его ненавидели, но всё ещё боялись. Однако Матлах, вглядываясь в лица односельчан, понял, что ненависть их к нему уже сильнее страха, что в пору теперь подумать не о спасении скота, а о спасении собственной шкуры. Он глу-

боко вздохнул и, стянув с головы высокую барашковую шапку, поклонился толпе.

— Добрые люди, прошу послушать меня.

— Послушаем, отчего жё не послухать,— прозвучал чей-то старческий рассудительный голос.

Матлах подождал, пока не стихнет шум.

— Я старый человек,— сказал он, когда всё смолкло,— старый и хворый, это все знают. И грешен я во многом перед вами, добрые люди. Ну, что же, бог прощал, и вы меня простите.

Люди, не ожидавшие такого смиренного тона, насторожились, кто-то из женщин вздохнул и всхлипнул, и только Фёдор Скрипка громко спросил:

— А в каком монастыре ты, Петре, каяться выучился?

Пронёсся шум и смехок, но он сразу оборвался, когда Матлах поднял руку.

— Я скот отдаю, добрые люди,— сказал он.— Вам отдаю скот.— И, отыскав в толпе кого-то, позвал:— Марие!

Толпа зашевелилась, пропуская вдовую Марию Половко, которую Матлах согнал когда-то с земли. Она робко вышла вперёд, не сводя глаз со своего бывшего хозяина.

— Марие,— сказал Матлах,— выбирай себе корову и веди её. Я перед людьми тебе отдаю... Все чуют?

И хотя Мария хорошо поняла, что ей сказал при людях Матлах, она не могла поверить, что вдруг ни с того, ни с сего человеку может привалить счастье. Матлах боится, она никогда и мечтать не смела о своей корове!..

А Матлах настойчиво и громко говорил:

— Бери! Я своё отдаю, Марие!

Мария обернулась к людям, ища в их взглядах поддержку, но глаза её затуманились, и она ничего не могла разглядеть, а голос Матлаха звучал все настойчивей: «Бери!.. Бери!..» Тогда, набравшись храбрости, Мария побежала к стаду.

А Матлах уже выкрикивал из толпы Фёдора Скрипку, и жену Семёна Руцака, и старого, совсем оглохшего деда Грицана.

— Я своё отдаю,— слышала площадь голос Матлаха.— От чистого сердца.

Уже поплёлся к стаду дед Грицан, уже жена Семёна Руцака осматривала со всех сторон приглянувшуюся ей бурую корову, когда Олёна, всё время с ненавистью глядевшая на Матлаха, сделала несколько шагов вперёд.

— Не слушайте его! — крикнула Олёна.— Скот и без того наш будет. Не треба нам матлаховской доброты!..

— А верно! — выскочил вперёд Фёдор Скрипка.— Эй, Петре, не лезь лучше в святые, чуешь? Не лезь, не пустим!

— Сами разделим! — понеслось из толпы.

— Гэтъ отсюда!

— Видит бог, что я к вам с открытой душой,— смиренно бормотал Матлах, косясь на окружающие его разъярённые лица селян и, видимо, опасаясь, как бы дело не обернулось для него худо, поспешно приказал Сабо развернуть коней.

Но не успел Сабо натянуть вожжи, как невдалеке послышалось гудение моторов. Ребятишки подняли радостный крик, и вскоре на студеницкой площади появилась голова автоколонны. Впереди ехала открытая легковая машина, а за ней следовали грузовики с солдатами. Это была чехословацкая часть, дравшаяся плечом к плечу с Советской Армией.

Разглядев на едущем в первой машине офицере знакомую по былым годам форму, Матлах приободрился.

— Пане надпоручик, — неистово закричал он, едва не вываливаясь из брички, — остановитесь! Прошу вас, остановитесь!

Машина стала, и выбравшийся из неё немолодой офицер в пенсне подошёл к толпе.

А Матлах уже рассыпался в любезностях. Цепляясь то за края брички, то за сидевшего на козлах Сабо, он говорил о добром старом времени, которое наконец-то вернулось опять; о том, что бог сжалился над измученными неволей людьми, что он, Матлах, счастлив приветствовать в родном краю доблестных чехословацких солдат...

— Помогите, пане надпоручик, — просил он, — вот глупые люди совсем одурели: захватили мою худобу и не отдают. Что же это такое, пане надпоручик? Як люди хозяйское начнут отнимать, добра ждать нечего. Порядок должен быть!

— Подождите! — прервал Матлаха надпоручик. — Что здесь происходит?

Матлах стал рассказывать сбивчиво, торопливо, с вызовом поглядывая теперь на притихших селян.

— Як власть наша повернулася, пусть она и слово твёрдое скажет. Все в нашем крае знают мой скот. У меня и бумаги есть. — Он стал расстёгивать на груди сорочку. — Бумаги у меня, вот, вот они!..

Он вытащил кожаный мешочек, который носил теперь вместо бычьего пузыря, и, расшнуровав трясущимися, непослушными пальцами завязку, извлёк пачку бумажек. — Вот они, пане надпоручик! — И обернулся к селянам: — А у вас что есть?

Наступила пауза.

— Калинка! — вдруг позвала Олёна. — Куме Фёдор! Марие! Люди! Покажите наши бумаги. Смотрите, пане офицер, чьи вернее: его или наши? — И она первой протянула вперёд ладонями кверху свои большие, в мозолях, натруженные руки.

— И на мои, на мои бумаги посмотри! — подступал к Матлаху нахвалившийся Скрипка, тыча ему в лицо свои заскорузлые ладони.

— Пане, — переждав, пока люди немного успокоились, — обратился к Матлаху офицер, — в их бумагах нельзя сомневаться, они самые верные, вернее их не бывает, — и улыбнулся Олёне.

Почувствовав в чехословацком офицере друга, крестьяне одобрительно зашумели.

— Что ж это такое? — побледнел Матлах. — Пришла власть...

— Здесь их власть, — произнёс надпоручик. — Это их земля, их богатство. Лучше не мешайте им, пане.

Как раз в это время мы с Семёном и Чонкой подбежали к толпе.

Матлах исподлобья покосился на людей и, видимо, поняв, что добра ему тут ждать нечего, шепнул что-то Сабо. Тот гикнул, и кони с силой рванули бричку. Никто не успел опомниться, как Матлаха и след простыл.

Я пробился сквозь гущу народа и, подойдя к чехословацкому офицеру вплотную, в первый момент не поверил глазам. Мой старый учитель Ярослав Марек из Брно стоял на сельской площади в Студенице.

— Надо же так счастливо встретиться! — растроганно твердил он несколько мгновений спустя, горячо пожимая мне руки.

Семён и Калинка приглашали нас в хату, но Марек, взглянув на часы и на ожидавших его распоряжений солдат, отказался.

Мы отошли с ним в сторонку от шумевшей толпы и, примостившись на перилах перекинутого через поток моста, засыпали друг друга вопросами.

— Удалось бежать с женой, — говорил Марек, — сначала в Лондон. Но я думал, что подохну там от ярости. Отъявленные подлецы и предатели из прихвостней Бенеша прикидывались патриотами в надежде полотить рыбу в мутной воде... С большим трудом мы перебрались в Россию.

Ну, а дальше вы и сами догадываетесь. Война! Началось формирование чехословацкого корпуса, и вот видите: я солдат!

— А пани Марекова?

— Осталась пока на Волге... Мы не раз вспоминали вас и вашу любимую Студеницу, о которой вы так много рассказывали нам в Брно.— Он обвёл взглядом горы, тесно окружившие селение.— Так вот она какая!..— И вдруг обратился ко мне: — А этот, что укатил на своей бричке, не знаменитый ли Матлах?

— Матлах, — кивнул я головой.

— Я так и подумал, что это он... «Доброе старое время опять до нас вернулось»... Ну, нет, — и глаза Марека блеснули под пенсне.— Не для того я стал солдатом, чтобы возвращать это «доброе старое время». Даю вам слово, что и у нас в Чехии всё пойдёт по-новому. Пусть никто не надеется ещё раз обмануть народ.

Казалось, не будет конца нашим воспоминаниям и взаимным вопросам. Уже вечером я проводил Марека за околицу Студеницы. Позади двигались окружённые неугомонными ребятишками грузовики с солдатами.

— Прощайте, пане Маре!

— Не люблю этого слова, — поморщился Маре.— До свидания, пане Белинец... У меня нет сомнения, что мы будем теперь гражданами разных стран: вы, наконец, своей, а я своей, но нас ничто уже не разъединит. И обещаю вам, моя небольшая страна будет не просто добрым соседом вашей великой, а другом и братом. Желаю вам всем счастья!

И мы расстались.

27 октября Советская Армия изгнала врага из Ужгорода, и мы с Чонкой в этот же день вернулись домой.

55

Ожесточённые бои шли неподалёку, но город уже с первых часов своего освобождения рвался в новую, открывшуюся перед ним жизнь.

Избранный Народный комитет взял власть в свои руки. Он объявил запрещёнными все фашистские и реакционные организации. Члены Народного комитета трудились на промышленных предприятиях, помогая рабочим скорее наладить и пустить их в ход. Менялись названия улиц, горожане срывали старые вывески и плакаты. Русская и украинская речь зазвучала на всех перекрёстках. Люди разговаривали на родных языках громко, не таясь, как прежде, с радостным чувством свободы.

У меня появилось немало друзей среди советских солдат и офицеров. Но особенно сдружились мы с ефрейтором Шумкиным, стеклодувом, ставшим во время войны сапёром. Штаб его части размещался в доме нашей хозяйки, бежавшей вместе со своими сыновьями из Ужгорода, и Шумкин частенько захаживал ко мне.

Рослый, медлительный, немногословный, он в то же время оказался человеком пытливым, близко принимавшим к сердцу интересы окружающих его людей.

Побывав у меня в теплице и осмотрев склон, он долго расспрашивал о травах и с интересом слушал мои объяснения.

— Вам бы, Иван Осипович, — произнёс он наконец, — хорошо было бы с нашим каким-нибудь агрономом встретиться.

— Мне бы очень хотелось, — сказал я, — да, к сожалению, сколько не ишу, а не набрёл ни на одного.

Шумкин промолчал.

А через несколько дней, вечером, я открыл дверь майору Советской Армии.

— Извините, если не во-время,— улыбаясь, произнёс он.— Гончаров, Александр Игнатьевич. Меня к вам товарищ Шумкин направил, общий наш приятель.

Он стоит рядом со мной, склонившись над старым географическим атласом, агроном, председатель колхоза с далёкой Кубани, смуглый немолодой человек с седыми висками.

Неловкость и скованность первых минут уже давно прошли, и даже кажется, что их не было вовсе.

— Вот Кубань! — говорит Гончаров. — От моря на юге — до степей придонья на севере.

— Велика!

— Да, немаленькая... Здесь наш район, а где-то тут, в межгорье, моя станция, — палец Гончарова останавливается над условной точкой, и странная, едва заметная тень пробегает по лицу моего гостя.

Он опускается в кресло и молчит некоторое время.

Потом отпивает из стакана глоток золотистого вина, которое принесла нам в кувшине Ружана.

— А знаете, Иван Осипович, — говорит он, — я ведь давно подумывал о Карпатах, ещё когда сельскохозяйственный институт кончал.

— Что же, — улыбаюсь я, — говорят, что у каждого человека с детства появляется мечта о какой-нибудь далёкой, неведомой ему стране.

— Да, знаю, — кивает Гончаров, — это действительно так бывает. Но тут совершенно другое... Учиться мне пришлось заочно, работая председателем колхоза. Только во время сессий я уезжал в Краснодар, и однажды там, в институтской библиотеке, мне посчастливилось прочитать исследование одного из наших советских академиков о породах молочного скота, а молочный скот — это моя слабость. У меня ведь дед и отец были чабанами. Так вот, — продолжает Гончаров, — то, что я узнал тогда, меня очень заинтересовало. Когда-то ведь, в давнее время, молочный скот по всей территории Европы был однороден, только под влиянием переселения народов и различия в жизненных условиях стали возникать те породы скота, которые мы теперь знаем, и лишь в двух местах до сих пор сохранились островки первоначальной породы — это в Швейцарии и здесь у вас, в Карпатах.

— Бурый карпатский скот!

— Да, бурый карпатский! Но дело в том, что в Швейцарии его совершенствовали, над этим скотом работали, и в результате появились знаменитые монтафаны, ины, швицы, а здесь... Я был поражён, Иван Осипович, когда, проходя по вашим сёлам, узнал, что нормальным удоем считается пять — семь литров молока в день. Не приложить рук к такой породе скота!

— Заблуждаетесь, Александр Игнатьевич, наш скот вывозили с Карпат кому только было не лень.

— Да, да! — кивает Гончаров. — И это я уже тоже знаю. Мне удалось побывать на крупном перегонном пункте возле станции Батеве. Там было приготовлено к отправке свыше тысячи голов.

— Ничего удивительного, — говорю я. — Наш скот увозили к себе австрийцы, венгры, немцы, скупая его за бесценок, а сюда привозили свой скот якобы для улучшения местной породы и брали за него втридорога. Они называли карпатский скот «резиновым», потому что на малейшее улучшение содержания он отвечает резким повышением продуктивности.

— Но это же грабёж! — возмущается Гончаров. — А ведь какие возможности! Какие возможности в этой горной стране с её пастбищами!

— Нам пытались внушить, что это трудная, богом забытая земля, — произношу я с горечью.

— Но ведь только в сказках рассказывают о земле, в которую сунешь палку, и палка начинает цвести. Я шёл по вашему краю и вспоминал свою горную землю; и я когда-то думал, что ничего путного на ней не добьёшься, а ведь добились! Потому что, я вам скажу, Иван Осипович, коллективному труду свободных людей и свободной науке всё под силу! А с чего наш колхоз начинал? Всего пятнадцать хозяйств, и на пятнадцать хозяйств одна лошадь, да и ту можно было только условно назвать лошадью. О хлебе насущном думали, когда начинали, а открылась целая жизнь без межей, прямо-таки солнечная жизнь! И если бы не война...

Голос майора внезапно обрывается, глаза принимают отсутствующее выражение, будто пред ним предстало нечто такое, о чём и рассказать невозможно. Я чувствую, как большим усилием воли он что-то замыкает в себе. Проходит секунда, минута, и взгляд его снова делается живым, только немного усталым.

И он неторопливо начинает рассказывать о своём далёком кубанском колхозе, о своей собственной судьбе, сына и внука чабана, о жизни своих одностаничников.

Годы в его рассказе, как ступени лестницы, поднимающейся всё выше и выше. Вот первый урожай, собранный с колхозных полей. Вот трактор, поднявший целину на раскорчёванной пустоши. Вот первый гектар яблоневого сада, заложённого на склонах молодёжью, а вот и страшное событие, потрясшее душу: зверское убийство кулаками первого председателя колхоза «Путь к коммунизму», заменить которого пришлось комсомольцу Александру Гончарову.

Годы — ступени, и Гончаров словно ведёт меня по ним. Я завидую его памяти. Он помнит всё, вплоть до количества и веса зёрен в колосках в урожайные и неурожайные годы.

Гончаров вытаскивает из кармана кителя целофановый конверт с фотографиями.

— Работа кружка колхозных фотолюбителей, — произносит он с улыбкой.

И на раскрытый географический атлас ложатся одна за другой фотографии колхозного сада в пышном весеннем цветении, некогда заложённого комсомольцами, белостенных зданий фермы, старого пастуха Никифора Яковенко среди своего стада, бригадира и звеньевых, доярки, выучившейся на зоотехника, кузнеца, ставшего директором машинной станции.

— Это мы смотрим спектакль в колхозном клубе в тридцать девятом году, — объясняет Гончаров и сам подолгу всматривается в дорогие ему лица. — А это моя жена и девочки мои возле дома, — произносит он глухо, почти шёпотом и повторяет: — Моя жена и мои девочки...

К столу подходит Илько — худенький, но крепкий, большеглазый мальчуган. Трудно сказать, на кого он похож. Иногда мне кажется, что он весь в Ружану, а другой раз — сосредоточится на чём-нибудь, сдвинет брови, и вдруг всплывёт передо мной далёкий образ матери.

Взобравшись коленями на свободный стул, Илько молча рассматривает фотографии, затем он переводит взгляд на майора и его китель, украшенный орденами.

— А за что у вас награды? — спрашивает Гончарова Илько.

— За разное, — отвечает Гончаров. — Первый орден за Сталинградскую битву, второй за битву на Днестре...

— А маленький? — и Илько осторожно дотрагивается до маленькой медали с зелёной ленточкой.

— Это медаль, присуждённая Сельскохозяйственной выставкой в Москве. — И, обернувшись ко мне, добавляет: — Тоже за битву, но всего лишь за травы... Была такая битва, Иван Осипович, за горную люцерну...

— Горную люцерну? — переспрашиваю я и напрягаю память.

— И не вспомните, — говорит Гончаров, — её ещё ни в одном атласе растений нет. А будет, обязательно будет! В нашем колхозе и родилась она впервые на опытном поле хаты-лаборатории. Десять лет приучали мы её сначала расти на высотах, а потом давать большие укосы в первый же год высева и не бояться сорняков, а самой глушить их. Трудно приходилось, советовали нам бросить такую затею, а мы не сдавались: мы чувствовали силу этой травы, незаменимой для скота и для почвы. В последний год перед войной мы уже скашивали её с гектара в два с половиной раза больше, чем с такой же площади альпийского клевера. Не трава, а кормилица!

Разговор о травах тянется у нас допоздна. Гончаров с увлечением осматривает собранные мною экземпляры меума и образцы почв, спорит, советует, что-то заносит в свою записную книжку, а выслушав мой рассказ о Фёдоре Скрипке, Святыне, Семёне Рушаке, о выкренных ими для опытов клочках земли, задумывается и долго молчит.

Уходит Гончаров от нас далеко за полночь.

На прощанье мы выпиваем с ним по стакану вина.

— Не знаю, — произносит он, — удастся ли мне ещё раз заглянуть к вам, скорее всего, что не удастся, но после войны приеду обязательно. Думается, что и у вас, в Карпатах, теперь всё пойдёт по-новому. А если появится у вас желание написать мне, буду очень рад.

И я записываю его кубанский адрес.

Больше он не пришёл.

Через несколько дней явился ко мне попрощаться и Шумкин.

— Отдых кончился, Иван Осипович, — сказал он. — Пора вперёд идти. Такое наше дело: долго на месте не задерживаться. И майор ваш тоже вперёд ушёл; я у них в части вчера был, когда они на машины селись... А между прочим, — вздохнул Шумкин, — солдаты рассказывают, что у товарища майора ничего и никого не осталось на Кубани.

— То есть как?

— А так вот, фашист уничтожил. Жену с детьми замучили, а от колхозного сада, построек, ферм остались одни головешки да пепел...

— А он знает об этом?

— Как же ему не знать, если он сам и освобождал родные свои места! Знает...

56

Наконец наш край был полностью освобождён. Впервые за долгие-долгие столетия получал он право сам выбирать дорогу и решать судьбу свою. Но дорога давно уже была избрана, и не за круглым столом, не на тайном стоворе дипломатов, а в горных сёлах, в лесных колыбах и солотвинских солекопальнях. Как надежду, лелеяли и берегли её в тёмные ночи верховинские пастухи и лесорубы, мукачевские табачники и хлеборобы долины — все, кому дороги были будущее детей, родной язык, кто в клятве своей произносил: «На мою руську душу правда!»

Не знаю, кто первый бросил клич: «Домой! До матери нашей советской Украины!», — но он стал волей освобождённого народа. И, согласно этой воле, на двадцать шестое ноября тысяча девятьсот сорок четвёртого года было решено собрать в Мукачево съезд Народных комитетов Закарпатской Украины.

К этому дню в Мукачево съехались не только делегаты, но множество народа из Ужгорода, Хуста, Рахова и Берегово. Я был избран делегатом от Ужгорода.

Погода двадцать шестого ноября была пасмурная и сырая. Над Мукачевом то начинался, то переставал моросить дождь. Низкие тучи обложили небо. Задувал холодный ветер — обычная погода поздней осени. Но город, казалось, не чувствовал этого. Затянутый в кумач флагов и транс-

парантов, он выглядел как-то по-особому празднично. Улицы уже с утра были запружены пёстрыми толпами народа. Горожане смешались с селянами, прибывшими из самых отдалённых округов. Тут и там мелькали расшитые кептары¹ гуцулов, серые куртки иршавцев и воловчан и мохнатые, словно бараньи шкуры, гуни перечийцев. К кептарям, гуням и курткам были приколоты пышные алые банты. На шляпах вместо обычных еловых веточек и пучков кабаньей щетины красовались алые бумажные цветы.

Особенно людно было перед кинотеатром, где должен был заседать съезд. Делегации прибывали одна за другой. Они проходили под большой аркой пятиэтажного дома к подъезду кинотеатра. У подъезда их ждали распорядители с кумачовыми повязками на рукавах, и только слышно было:

- Откуда?
- Из Росток!
- Откуда?
- Из Русского поля!
- Откуда?
- Из Верхних ворот!
- Ясеней!
- Богдана!
- Синевира!

Такие дни помнят всю жизнь, как бы долга она ни была и сколько бы других радостей через неё ни проходило. И в моей памяти хранится залитый светом зал с переполненными ложами, балконом и партером. Помню уставленный цветами стол президиума, помню, какой овацией отзывался зал, когда люди, сменяя друг друга на трибуне, требовали воссоединения с большой Родиной, и как тесно становилось рукоплесканию в высоких стенах, когда с восхищением и благодарностью произносилось имя Сталина. В одном этом имени было заключено всё: свобода, принесённая его воинами, вера в будущее, — всё в одном имени.

В большинстве своём выступавшие были простые люди, и слова их были просты, бесхитростны, понятны и дороги каждому. Я услышал, как кто-то позади меня сказал своему соседу:

— Раньше адвокаты за народ говорили, и ведь говорили не то, что народ хотел, а здесь народ сам заговорил.

Я обернулся, чтобы увидеть того, кто это сказал, и как раз в этот момент председатель поднялся со своего места и объявил:

— От имени партизан Закарпатской Украины слово предоставляется товарищу Миколе с Чёрной горы.

— Садитесь, садитесь! — шептали мне сзади. Сосед потянул меня за рукав книзу, но я не садился, я всматривался в проход между кресел, по которому неторопливо шёл к трибуне человек. Лица его я не видел, но я уже знал, что это Горуля.

Зал приветствовал его громкими аплодисментами.

По мере того как Горуля приближался к трибуне, аплодисменты усиливались. Вот он свободно и легко, не держась за перила, поднялся по довольно крутой лестнице и повернулся лицом к залу. И всё для меня исчезло, кроме этого лица. Чудилось, что оно нисколько не изменилось за эти годы, только голова побелела и серебрилась под ярким светом ламп.

Горуля стоял у кафедры, взглядываясь в зал, будто любуясь и радуясь тому, что открылось перед ним.

— Витаю² вас, братья и товарищи, со свободой! — произнёс он. — «Землём без имени» называли наш край честные люди, видевшие горькую недолую народа, землём без имени... Почему они её так прозвали, спрошу

¹ Кептарь — овчинная безрукавка, расшитая бисером.

² Витаю — поздравляю (укр.).

я вас? Да потому, что те, кто пановал над нею и над нами, хотели, чтобы мы позабыли свой род и племя. Землёй угроросов была она для австрийских цесарей, землёй подкарпатских русинов для пана Масарика, землёй рутенов для Хорти и мадьярских фашистов, а у неё было своё имя, которое ничем нельзя было ни стереть, ни выжечь из народного сердца, — она была нашей украинской землёй, была и будет, пока солнце светит.

И Горуля улыбнулся взрыву аплодисментов, всколыхнувших притихший зал.

— Микола с Чёрной горы — то моё партизанское имя, — продолжал он. — Я его после Олексы Куртинца взял, а сам по себе я Горуля Илько из верховинского села Студеницы. Меня судили в Брно за то, что я говорил правду, и затюрьмовали на семь лет, а я сбежал из этой тюрьмы и ушёл через два кордона туда, на Восток, в Советский Союз. Во многих краях побывал я там и видел, как надо и можно жить человеку. Жизнь увидел я, люди, жизнь!.. Слава за неё Сталину, и Коммунистической партии, и советской власти сто раз и ещё тысячу слава!

Зал ответил ему рукоплесканиями и возгласами: «Слава!»

Горуля подождал, пока стихла овация, и снова послышался его голос:

— В Москве над кремлёвскими воротами видел я высокую башню с часами, и как начинают бить те часы, советские люди и на Украине, и на Кавказе, и в Сибири сверяют по ним своё время. И мы хотим переставить своё время по тем сталинским часам!

Горулю проводили долгими аплодисментами.

Я выбрался из ряда и быстро, чуть не бегом, пошёл по проходу меж кресел навстречу Горуле.

Он остановился, всматриваясь, и лицо его озарилось улыбкой.

— Праздник какой у нас, Иванку! — только и сумел выговорить он, когда мы обнялись.

Всё остальное время мы сидели уже рядом. Горуля не отпускал меня от себя.

Вечером наступил самый волнующий и памятный час съезда. Делегаты стоя слушали манифест, который должны были подписать представители Народных комитетов. В зале царила особенная, торжественная, полная глубокого смысла тишина; все понимали: решается судьба, жизнь, будущее народа, — и в этой тишине звучал один только, иногда срывающийся от волнения голос Анны Куртинец, читавшей текст манифеста:

— Воссоединить Закарпатскую Украину со своею великою матерью — Советскою Україною...

Кончилась «земля без имени».

57

На следующий день мы с Горулей поехали в Ужгород. У подъездов домов, на углах толпились радостно возбуждённые люди, читая отпечатанный и расклеенный текст объявленного вчера манифеста.

Ружана необычайно обрадовалась, увидев Горулю. И сейчас же в доме началась обычная в таких случаях суета, хлопали двери, что-то передвигалось и переставлялось, грелась колонка в ванной, на кухне звенела посуда.

— Не гадал я, Иванку, что такое беспокойство у тебя начнётся, — смущённо говорил Горуля. — Знал, не пошёл бы к тебе, правда, что не пошёл!

Но по глазам Горули я видел, что он тронут нашими заботами о нём.

Илько ни на шаг не отходил от старика. Вначале он ещё как-то дичился, молчал, но вскоре, осмелев, всецело завладел Горулей.

— Дидусь, — спрашивал он, показывая красноармейскую звёздочку, подаренную ему советским солдатом, — почему она красная?

— А ты не знаешь? — притворно удивлялся Горуля.

— Нет.

— Як же так, як же так! — охал Горуля. — Красная, сынку, она оттого, что когда самый первый красноармеец стал доставать себе звёздочку, вороги не хотели его допустить до неё. Они тому человеку в руки стреляли, поранили, а он всё лез выше и выше и достал-таки свою звёздочку! А когда достал — увидел, что она его кровью окрасилась. Но от той крови звёздочка ещё ярче засветилась, да так засветилась, сынку, что на другом краю земли люди её свет увидели!

Всё это время, что гостил у меня Горуля, было необычайно радостным для меня. Немного огорчало лишь одно: сам Горуля день ото дня становился молчаливей. Сморила ли наконец этого неутомимого человека усталость, такая естественная после долгих лет невзгод и опасностей? Или, может быть, он горько призадумался над своей одинокой старостью? Гафия умерла, хату его сожгли; то, во имя чего он боролся и чему отдал все силы своей души, свершилось, жизнь пойдёт дальше своим чередом. Одиночество! В борьбе он забывал о нём, а теперь оно его, наверное, пугало. Я решил во что бы то ни стало уговорить Горулю остаться жить в Ужгороде.

— Конечно, ему будет лучше с нами, — соглашалась со мной Ружана.

Как-то вечером я зашёл в комнату к старику. Свет был погашен. Горуля стоял у окна, приподняв тёмную штору, и смотрел на залитый лунным сиянием город.

Он обернулся на скрип отворяемой двери.

— Вот хорошо, что зашёл, — проговорил Горуля, — а я стою и думаю, что пора мне завтра домой собираться: погостил и хватит.

— Разве вам у нас плохо? — спросил я.

— Мне у вас очень хорошо, — ответил Горуля, — а всё же пора уезжать...

— А мы с Ружаной решили, что вам никуда не следует ехать.

— Как это никуда? — удивился Горуля, опуская трубку, которую собирался закурить.

— Никуда, — повторил я, — будете жить теперь с нами. Ведь всё, за что вы боролись, свершилось, начинается новая жизнь для людей, и вы получили право отдохнуть на старости лет.

— Спасибо, сынку, — сказал Горуля, — и жинке твоей спасибо. Ну, если люди кажут, что я уже старый, — значит, верно старый!.. Но только время моё не кончилось, а как раз начинается, Иванку.

Горуля глубоко и облегчённо вздохнул, как вздыхает человек, которому предстоит нечто большое и радостное.

— Ты вот что мне сказал, — склонив голову на плечо, проговорил он снова. — Свершилось то, чего я хотел. Верно! Свершилось. Да ведь я ещё много чего хочу!.. Свобода наша — только запев, а песня ещё впереди. Богато дела дома, эгей, как богато!.. Жизнь надо новую строить, а то не легко, Иванку. И врагов у нас немало. Раньше они, что мыши в голодный год, открыто лютовали, а теперь кто другом прикинется, а кто и по лесам начнёт ховаться и будет мешать людям к счастью идти. Вон и Матлаха нет в Студенице. Скрывается. Думаешь, он уймётся?.. И Лещецкого нема, а ведь где-нибудь притаился, гляди только в оба!.. Так что, Иванку, богато дела!.. А за думку обо мне спасибо.

Никакие уговоры не помогли: решения своего он менять не соглашался и назавтра же собрался в дорогу.

...Вечером другого дня я провожал Горулю на вокзал. Маленькая станция была затемнена, только зеленели огоньки стрелок на путях. Транзитный поезд стоял здесь всего несколько минут. Мы торопливо попрощались, и Горуля взобрался на подножку.

— Утром буду дома, — сказал он.

И вдруг, когда поезд уже тронулся и я сделал несколько шагов по платформе рядом со ступеньками вагона, Горуля, держась за поручни, нагнулся ко мне и спросил:

— А может, и ты, Иванку, о Верховине подумаешь? Ключик-то ведь найден, отпираться надо...

Больше я ничего не мог расслышать за нарастающим грохотом колёс. Но грохот внезапно оборвался, промелькнул последний вагон, и паровоз впереди прокричал призывно и высоко: «И д у, и д-у-у-у».

По постановлению первого съезда Народных комитетов были конфискованы земли помещиков и бежавших вместе с фашистскими войсками врагов народа. Всю конфискованную землю нужно было взять на строжайший учёт и наделить ею бесплатно тысячи и тысячи батраков и малоземельных селян. Земля, из-за которой шли с топорами брат на брата, сын ждал смерти отца, разлучались любящие, вчерашние друзья становились врагами, начинала терять свою тёмную власть над людьми.

Земля без платы, земля только тем, кто сам трудится на ней, — это казалось невероятным, хотя все давным-давно знали, что в России ещё в семнадцатом году Ленин роздал бесплатно землю крестьянам. И в сёлах ждали этих дней надела: одни — с нетерпеливой радостью, другие — со злобой, а третьи — с недоумением: «Эй, куме! Что то за земля, якую ни продать, ни купить?»

В эти дни меня пригласили в Ужгородский окружной Народный комитет. Навстречу мне из-за стола поднялся Верный и, поздоровавшись, пригласил сесть.

— Как вы знаете, товарищ Белинец, — сказал Верный, — нам предстоит наделить безземельных и малоземельных селян землёй. Но для того, чтобы провести это как можно быстрее и как можно лучше, необходимо учесть и обследовать земли помещиков и бежавших врагов народа. Нам приходится привлекать к этой работе всех смыслящих в сельском хозяйстве людей.

— Я рад быть полезным вам, — ответил я.

— Так прошу зайти в наш земельный отдел, в распоряжении которого вы будете теперь находиться. Договоритесь с ними, какую группу сёл на Ужгородщине они вам выделят.

— А почему бы меня не отправить на Верховину, в район Студеницы, товарищ Верный? — попросил я. — Это ведь мои родные места!

— Ну нет, — рассмеялся Верный, — из Ужгородщины мы вас не отпустим! И не просите даже! Здесь и земли больше и людей требуется больше. Да кроме того я уж о вас и в Народной раде договорился.

Я попытался настаивать, но Верный твёрдо стоял на своём.

Он пожелал мне успеха, и мы дружески распрощались.

В земельном отделе Ужгородщины мне выделили куст сёл вокруг Среднего — оживлённого села, расположенного на шоссе на полпути от Ужгорода до Мукачева. Получив все необходимые бумаги и исчерпывающие объяснения, как следует проводить обследование, я решил ехать в Среднее на следующий день.

Работа моя началась успешно. Я оказался членом комиссии, состоявшей в большинстве своём из местных людей — батраков и селян, отлично знавших земельные владения всей средненской округи.

Люди, истосковавшиеся по верному куску хлеба, батраки, не имеющие ничего, кроме пары натруженных рук, вдовы с малыми детьми — все они приходили из окрестных сёл в Среднее и часами с благоговением простаивали в Народном комитете, где работала наша комиссия. Я говорил с этими вдовами, и мне представлялась Олёна; советовался с батраками, а перед моими глазами стоял Семён Рушак; беседовал с мало-

земельными, измученными многолетней нуждой селянами, и вспоминал Фёдора Скрипку...

Жил я в комнате при Народном комитете, а обедал и ужинал в корчме, недалеко от въезда в село. Хозяином корчмы был приторно-угодливый толстяк с плутовато бегающими глазами.

Однажды мне пришлось вернуться в Среднее из соседнего села поздно ночью. Корчма оказалась уже запертой, а я продрог на холодном зимнем ветру и был голоден. Возможно, я бы и не решился беспокоить хозяина, если бы не увидел полоску света, пробивающуюся из окна корчмы. К тому же у ворот стояла легковая машина.

Я подошёл к двери корчмы и тихо постучал. Молчание. Постучал вторично, и снова никакого ответа. Решил было уже постучаться в окно, но как-то машинально толкнул дверь, и она отворилась. Я вошёл в освещённые длинные сени, уставленные бочками. Слева виднелась дверь, ведущая в комнату. Когда я подошёл к ней, она распахнулась изнутри раньше, чем я успел дотронуться до её ручки, и мне навстречу вышли двое: один в кожаной куртке с прорезными карманами, видимо, водитель машины, вторым оказался мой старый знакомец Сабо.

Хозяин его, разумеется, был тут же. В глубине комнаты, закутав ноги суконным платком, в своём знаменитом кресле на колёсах сидел Матлах. Заметив меня, он откинул голову назад — инстинктивное движение человека, желающего остаться незамеченным. Но поняв, что это бессмысленно, он улыбнулся одними губами и нехотя выдал из себя приветствие:

— Здравствуй, пане Белинец, вечер добрый...

Я молчал и только глядел на него во все глаза.

— Что же вы, и поздороваться со мной не хотите, — укоризненно покачал головой Матлах, — будто мы знакомы никогда не были. Что я теперь? Нищий, хворый, сам себе в тягость. Бог покарал за грехи, а грехов было много, что говорить, много грехов, пане Белинец, — причитал Матлах.

Но глаза его были правдивее слов: «Ну нет, я ещё живой, я ещё за своё зубами буду держаться, на кровь пойду, по пеплу пойду, а не сдамся», — как бы говорили они.

— Мне нужно видеть хозяина, — сказал я, не отвечая на вопрос.

Шофёр и Сабо меж тем вернулись в комнату.

— А кто вам открыл? — спросил шофёр.

— Никто, — ответил я. — Дверь была не заперта.

Матлах переглянулся с шофёром.

В это время со двора с корзиной дров в руках вкатился хозяин корчмы. Когда он увидел меня; в глазах его мелькнул испуг.

— Ах, это вы, пане! Я отлучился на минутку за дровами. Тут все старые, добрые клиенты! Приехали поздно ночью... Вы сегодня, пане, не пришли ни к обеду, ни к ужину, я уже думал, что вы уехали. Ах, какая жалость! Какая жалость, что я не могу вам предложить ничего, кроме вина!

Но мне уже не хотелось ни есть, ни пить; я думал только о том, как бы скорее уйти отсюда и предупредить Народный комитет о пребывании в селе «старых, добрых клиентов».

— Благодарю, я не голоден. Я только пришёл вам сказать, что завтра... — я на мгновение запнулся, — чтобы завтра... вы приготовили обед мне часа на два раньше обычного.

— В любое время к вашим услугам, пане, — любезно осклабился хозяин и вежливо посторонился, давая мне дорогу.

Я вышел на улицу, надвинул поглубже высокую меховую шапку и быстро зашагал прочь от корчмы.

Шоссе петляло между домиками Среднего, образуя неожиданные повороты. Я шёл один по заснеженной дороге. Я знал, что мне надо свер-

нуть вот в тот переулок, налево, четвёртый дом от угла: там живёт голова¹ Народного комитета.

До переулка недалеко. Ускорил шаг.

Сзади донёсся рокот мотора. Из-за поворота появилась автомашина. Фары её были погашены. Я отступил в сторону. Но машина мчалась почему-то не серединой шоссе, а по самому краю, на котором я стоял. Отпрянул в сторону. Но поздно. Сильный удар. Я вскрикнул и потерял сознание...

59

Часть зимы, весна, лето, осень... Ровно девять месяцев гипсового плена, больничной койки.

Первый человек, которого я увидел, придя в сознание после операции, был Горуля. Он склонился к моему изголовью и попросил рассказать, что со мной произошло.

С величайшим трудом, еле слышным голосом я рассказал всё, что знал и о чём подозревал.

— Вот они, враги наши, Иванку, — сказал Горуля. — Их уже ищут и найдут, рано или поздно, а найдут. Там, Иванку, не один Матлах. Ты на их логово набрёл. Ну, будь спокойным, лежи, сынку, поправляйся.

Он ушёл. Я чувствовал себя таким слабым и утомлённым, что не мог проводить его даже взглядом.

Выздоровление шло тяжело и медленно. Девять месяцев — долгий срок. Но даже я, прикованный к больничной койке, ощущал стремительный бег времени. Время как бы рванулось вперёд.

Договор между СССР и Чехословакией навсегда уничтожил вековую несправедливость. Воссоединённый с родной Украиной, наш зелёный Закарпатский край стал советским, а я, Ружана, Горуля, врач, лечивший меня, — гражданами Советского Союза. На земле, отданной народу, челябинские тракторы вспахали поле и вчерашние батраки вырастили свой хлеб. Уже открылись двери основанного в Ужгороде университета — первого в нашем крае высшего учебного заведения; из Москвы, Киева, Ленинграда, Харькова сюда присылали книги, оборудование для кабинетов и лабораторий. Уже гостили в приднепровских колхозах делегаты наших крестьян, а на переговорной станции в Ужгороде, как рассказывал мне Чонка, телефонистки вызывали абонентов: «Киев — вторая кабина», «Москва — первая кабина», «Харьков — номер не отвечает. Ждите»

Мы стали частью нашей большой Родины, её дыхание было нашим дыханием.

Однажды Ружана пришла ко мне в особенно приподнятом настроении. Спросив о моём самочувствии, она нагнулась ко мне и шепнула:

— А мы переезжаем, Иванку.

— Куда? — удивился я.

— В наш дом.

Я не сразу понял, о чём она говорит.

— В наш дом, — повторила Ружана. — Народный комитет постановил.

— Ты что, хлопотала?

— Да, — кивнула Ружана, — я сохранила бумаги. Потом у нас же были свидетели... Но тебе я не хотела говорить раньше времени. Ты не сердись на меня за это?

И, не дав мне ответить, горячо зашептала:

— Ни о чём не беспокойся, только поправляйся скорее. Слышишь, Иванку?

¹ Голова — председатель.

И вот наступил день, когда исчезли больничные стены. Я радовался всему: первому своему шагу без палки и первой росписи, которую я поставил на деловой бумаге в сельскохозяйственном отделе.

Мы жили теперь на Высокой. Ружана оберегала меня, мой покой, и я от души наслаждался им.

Как-то однажды, в воскресенье, когда Ружана с Ильком ушли гулять, а я был дома один, сквозь открытое окно ко мне донёлся шум остановившейся у калитки машины. Послышался голос:

— Здесь живёт Белинец?

Я выглянул в окно. Перед домом стоял побывавший в дорожных передрягах, пыльного цвета лимузин с привязанными к крыльям запасными канистрами.

— Здесь,— ответил я невидимому в закрытой кабине пассажиру.— Прошу, пожалуйста.

Хлопнула дверца машины, и из неё вышла женщина в натянутом поверх пальто пыльнике. Я узнал Анну Куртинец.

Завидев меня в окне, она улыбнулась и помахала рукой.

Я побежал к калитке.

— Полдня разыскиваю вас,— сказала Анна, перекладывая, чтобы поздороваться со мной, из правой руки в левую объёмистую папку.— Адреса не знала, а разыскать надо было обязательно.

Стремительная, оживлённая, она шла по двору к дому своими быстрыми, энергичными шажками, поминутно оборачиваясь ко мне.

— Дайте вас разглядеть, Иване. Вы совсем молодцом! Я ведь и в больницу приезжала, да не пропустили, знаете, медицинские строгости.

— А вы бы настояли!

— Настойчивости, может быть, и хватило,— рассмеялась Анна,— да всё-таки порядок создан, чтобы соблюдать его... Ну, а в другой раз не пришлось побывать в Ужгороде: я ведь сейчас на Верховине работаю, в ваших краях, секретарём окружкома.

Вошли в дом.

— Где же Ружана, Илько? — спросила, оглядываясь, Анна.

— Пошли погулять. Если бы Ружана знала, что вы придёте!.. Мы часто вспоминаем вас.

— И я вас не забываю... Привет от Горули, Рушачака...

— Как там они?

— Начинают жить. Строят первое коллективное хозяйство на Верховине.

— Да, мне писал Горуля, — имени Олексы...

— Имени Олексы, — тихо повторила Анна и задумалась. — Знаете, я ведь не верю, что его нет... И, должно быть, никогда не поверю...

Она в волнении прошлась по комнате, потом молча постояла у книжной полки, водя пальцем по корешкам книг, и, когда обернулась, её лицо было попрежнему ясно и спокойно.

— Это не так просто,— продолжала Анна,— менять сложившийся веками уклад жизни. Некоторые товарищи по легкомыслию своему полагают, что если селянин вступил в колхоз, — значит, он уже отрешился от всего старого и стал новым человеком. Первый шаг — огромный шаг, но всё-таки первый. И то, что происходит сейчас в Студенице, — это только начало... А знаете, Иване, зачем я в Ужгороде? — неожиданно прервала себя Анна.

— Нет, — ответил я, настораживаясь.

— Я приехала за вами.

— За мной?

— Да, за вами!

Анна расшнуровала папку, раскрыла её, и среди бумаг я увидел хорошо знакомую мне зелёную обложку...

— Ваша записка о Верховине, — сказала Анна.

— Откуда она у вас?

— Разыскала в земском архиве... Живому делу незачем пылиться и желтеть среди старых актов и никому не нужных гербовых бумаг.

Несколько секунд я со странным чувством глядел на зелёную обложку записки. Затем машинально начал перелистывать страницу за страницей. Они шелестели под пальцами, но я не видел ни слов, ни строк, и хотя я уже отлично сознавал, зачем пришла ко мне Анна, спросил:

— Чего же вы хотите?

— Я пришла за вами, Иване,— сказала Анна, беря у меня из рук записку и укладывая её обратно в папку.— Я пришла предложить вам начать работу, о которой вы когда-то мечтали. Верховине нужны агрономы уже сейчас, и не просто агрономы, а преобразователи, способные прозревать будущее и работать для него. Посоветуйтесь с Ружаной, но помните, что время не ждёт, оно летит.

60

Март. На Верховине ещё повсюду снег, а у нас по-весеннему тепло пригревает солнце.

Четвёртый день в нашем доме разброд и развал. Ружана молчалива. Мне искренне жаль её, и я боюсь этой жалости. Мне было куда легче, когда она протестовала и была раздражена.

По кабинету, не снимая пальто и шляпы, ходит Чонка.

— Разве нет других агрономов? — спрашивает он.— Что это, разве свет клином сошёлся на тебе?

— Свет клином на мне не сошёлся,— отвечаю я, сдерживая раздражение.— Не будет меня, будут другие, может быть, более достойные, чем я, но как вы не можете понять, что это то, к чему я стремился всю жизнь!

Чонка болезненно морщится.

— Я бы всё понял, Иване, если бы не это проклятое письмо...

Речь снова и снова заходит о письме, которое несколько дней тому назад Ружана нашла в нашем почтовом ящике.

— Это тебе, прочитай,— произнесла она дрожащим голосом, протягивая мне вскрытый конверт.

Я вынул из него листок, развернул и подошёл с ним поближе к свету.

«Пане Белинец! Лучше не ездите на Верховину. Если вам повезло в Среднем, так не думайте, что повезёт и в Студенице. Мы вас предупреждаем. Друзья».

Письмо было напечатано на машинке и опущено в Ужгороде. На миг мне показалось, что это чья-то глупая шутка, но тотчас почему-то представились глаза Матлаха, такими, какими я их видел в корчме в Среднем, и я припомнил, что Горуля и Анна Куртинец уже говорили мне о подобных письмах.

Ружана не спускала с меня беспокойного взгляда:

— Тебе нельзя ехать туда, Иванку...

— Почему? Таким способом пытаются запугать не одного меня, а между тем люди продолжают делать своё дело наперекор угрозам... Этим негодям не удастся стать поперёк жизни, хозяевами на Верховине им никогда больше не бывать!

Ружана ничего не ответила, но когда я возвратился из управления госбезопасности, куда отнёс письмо, она встретила меня словами:

— Ты не должен ехать, Иванку.

...А тут ещё Чонка со своими опасениями и советами.

— Ну, допустим,— в который раз повторяет он, усаживаясь на подлокотник кресла,— допустим, что можно, куда ни шло, променять прекрасную службу, дом, уважение, каким ты пользуешься, на работу агронома в глуши, на Верховине, но жить там под постоянной угрозой?!

— Волков бояться — в лес не ходить, — отвечаю я.

— Делай, как знаешь... — наконец обиженно произносит он. — Пойду, мне уже в банк пора...

Ружану я не вижу целый день. Она сидит у себя в комнате и не появляется даже к обеду. Несколько раз я порываюсь зайти к ней и сдерживаю себя.

Она сама приходит ко мне в сумерках и садится рядом. Я хочу зажечь свет, но Ружана останавливает меня.

— Не надо.

В темноте я нахожу её руки и ласково глажу их.

— Ты решил? — спрашивает она.

— Да, я твёрдо решил, Ружана, и не могу иначе. Выслушай меня спокойно и постарайся понять.

— Хорошо, — соглашается она, — я буду слушать спокойно.

Я говорю негромко и медленно, закрыв глаза, будто сам для себя вспоминаю свою жизнь: детство, смерть матери, голод, Олёну, миколин ключ, с мечтой о котором вырос.

— Ты сама знаешь, Ружана, что я пережил за эти годы. Я ведь никогда в самые трудные времена не переставал думать о Верховине. И теперь, когда Верховина сама позвала меня, мог ли я не отозваться на её призыв?

Ружана сдерживает вздох.

— И тебе не дороги ни моё спокойствие, ни наш дом, ни наша наконец наладившаяся жизнь? — спрашивает она. — Вспомни, сколько нам пришлось перенести, с каким трудом нам всё далось, и теперь, когда всё пришло...

— Это не ты говоришь, Ружана...

— Кто же?

— Юлия, братья Колена, кто угодно, но только не ты..

Ружана, оскорблённая, отнимает у меня свою руку. Некоторое время мы молчим, потом Ружана поднимается и выходит из комнаты.

До поезда ещё пять часов. Не зажигая света, я лежу на диване и думаю о предстоящем. Мысли бегут всё дальше в будущее, одна заманчивей другой. Неужели Ружана не поймёт? Не верю. Может быть, не сейчас, так позже, но поймёт...

Волнения последних дней, утомительные сборы в дорогу, сгустившиеся в комнате сумерки берут своё, и я засыпаю.

...Будит меня тихий голос Ружаны.

Я открываю глаза. В комнате горит свет, и Ружана смотрит на меня с доброй и чуть укоризненной улыбкой.

— Иванку! Вставай, милый, пора.

Ружана провожает меня на вокзал. Гулко отдаются наши шаги в пустынных улицах ночного Ужгорода. Влажный речной ветер дует в лицо. Справа от нас бормочет река, скрытая садами.

— Ох, Иванку, мне уж никогда не будет с тобою покоя, — вздыхает Ружана, но, и не глядя на неё, я знаю, что она улыбается.

— Никогда, — смеюсь я в ответ, — никогда. Обещаю.

— И я, кажется, должна быть тебе благодарна за это, — говорит она, — ты правду сказал: покой — мёртвым... А знаешь, — продолжает Ружана после паузы, — я не приеду к тебе в июне.

На мгновение я останавливаюсь.

— Как! Ведь мы обо всём уже договорились, Ружана.

— Ну да, договорились, а теперь я передумала. Это слишком долго: март, апрель, май, июнь... Я приеду в апреле. Ты только поговори

обо мне с Анной, Иванку... Может быть, и для моих рук там найдётся дело...

— Для твоих рук,— ласково говорю я Ружане,— найдётся. Можешь не сомневаться в этом.

Чтобы сократить дорогу к вокзалу, мы идём вдоль станционных путей. Я давно не был здесь в такой поздний час, а теперь иду и не узнаю тихой ужгородской станции. В прежние времена тут и днём никогда не было такого оживления. Светом поднятых на вышки прожекторов у ночи отвоёвано обширное пространство. Видны длинные вереницы товарных составов. Тут и там над маневровыми паровозами серебрятся нетерпеливые, упругие султаны паров, похожие издали на схваченные густым ииеем деревья. Слышны людские голоса, и протяжно играют мелодичные рожки сцепщиков.

Тут по бревенчатым настилам спускаются с платформы на землю новые, ещё пахнущие краской тракторы и невиданные у нас плуги, лемехи которых кажутся крыльями гигантских взлетающих птиц. Чуть подальше громоздятся рулоны бумаги, схваченные обручами тюки, выгруженные из вагонов ящики. Мы идём с Ружаной, читая адреса отправителей: Харьков, Свердловск, Киев, Ростов, неизвестная нам до сих пор Балахна,— и всё это Родина, наша Родина!..

Я пытаюсь мысленным взором окинуть нашу великую страну из края в край, но чувствую, что это невозможно. «Только сердцу,— думаю я,— дано сразу вместить всю её силу и красоту».

— Как быстро здесь всё изменилось, Иванку! — говорит Ружана.

Взгляды наши встречаются, и я понимаю, что ею владеют те же мысли и чувства...

Мы ускоряем шаг. Впереди уже видны огни вокзала. Застилаемые время от времени облачками пара, они светятся призывно и будто поторапливают нас. Из темноты влажной весенней ночи доносится мерный шум поезда, протяжно кричит паровозный гудок: «Иду, иду-у-у».

И я повторяю за ним это «иду-у-у» одними губами.

Кочжедо

I

В седых туманах
Кочжедо,
пустынный берег крут.
Здесь алым цветом
хеданхва¹
весною не цветут.

Искательницы жемчугов,
целебных трав живых
не ходят здесь,
и в летний дождь
не слышно песен их;

не прозвучит
в осенний день
голодной чайки крик...
В прибое,
словно в седине,
спит Кочжедо-старик.

Унижен, беден, угнетён,
от мук окаменев,
столетьями на Кочжедо
копил народ
свой гнев.

Здесь лучшие его сыны,
не сломлены борьбой,

в легендах
славили народ
и смелых звали в бой.

Здесь кровью
на обрывах скал,
отечеству верны,
писали летопись
они
родимой стороны.

Возвьсь свой голос,
Кочжедо!

И миру Расскажи
о горестях,
что в нашу грудь
вонзились, как ножи.

Воспой бесстрашных,
что в огне
стоят за честь свою,
воспой героев,
кто вчера
в неравном пал бою!..

Туман над Кочжедо,
туман,
морской грохочет вал,
как голос тех,
кого народ
в легендах воспевал.

¹ Х е д а н х в а — цветы, растущие
в песках.

II

Это было давно.
Наш трусливый король
за дворцовой стеной
торговал,
словно в мелочной лавке,
корейской страной:
отдавал самураям
долины, и реки,
и души за четверть цены.
И народ возроптал,
и на бой поднимались
Кореи сыны.

В те бессмертные дни
был прославлен
мудрец Ли Сун Син —
он построил
свою «Черепашу»,
и моря звенящая синь
увидала,
как войско японцев
в виду берегов Кочжедо
вместе с флотом и спесью своей
уходило на дно...
уходило на дно!

Но предатели родины
выдали наших бойцов
и за тысячу ли увезли;
патриоты
в песках Кочжедо
свои санту¹ в тот день расплели.

В траур
в чёрные дни те
оделся корейский народ,
поглядишь — лишь палач
наряжен, словно в праздник,
идёт...

И тюрьмой, Кочжедо,
страшным островом смерти
ты стал.

Патриоты лепили
свои чибби
в расселинах скал,
на пустынных полях
надрывались они,
как рабы,
а ночами сходились
и новых искали путей
для борьбы.

Пусть тяжка у них участь,
но дух их
попробуй согни!
Даже здесь
оставались
вождями народа они.

Кочжедо, Кочжедо!
Расскажи всему миру,
волной зазвенев,
как страдал наш народ,
как веками
копил он свой гнев!

III

Октябрь семнадцатого года.
В России, там, за гор грядой,
расправил Ленин стяг свободы
и Сталин вышел в правый бой.

Заря восстанья осветила
весь мир в тот незабвенный час,
она народ наш разбудила
и на борьбу скликала нас.

Победой Октября согрета,
в лучах, идущих от Кремля,

и наша поднималась к свету
многострадальная земля.

Пусть ружей нет,
но гнев недаром
учились с детства мы копить!
Нас конным не стоптать
жандармам,
штыками не остановить!

В строю рабочие, крестьяне,
студенты, женщины — народ.
Как пламя, ширилось восстанье
и вековой ломало гнёт...

¹ Санту — связанные в узел на макушке волосы.

Так начинался Март в Корее,
в один порыв сплотив сердца.
Но нас встречали
батареи
и свист японского свинца.

Свои с чужими палачами
объединились в этот миг,
и наша кровь текла ручьями
на древних наших мостовых.

И снова в тюрьмы нас бросали,
и отрубали кисти рук,
и снова честных отсылали

на Кочжедо —
на остров мук.

Они питались здесь травой,
но, страшной не боясь судьбы,
на стенах скал

писали кровью
историю своей борьбы.

О Кочжедо!
Пусть непогода
ещё туманит берег твой —
воспой героев, цвет народа,
их честь,
их мужество воспой!

IV

О Кочжедо!
Нас армия Сталина
спасла, исполнив приказ.
Но ты остался
в плену на юге,
приветствуя издали нас.

Ты знал:
Ким Ир Сен — во главе народа,
земля расцвела, как сад;
о славе борцов,
о радости жизни
песни вокруг звучат.

К тебе же
на смену японским зверям
замёрский пришёл бандит;
он чёрный кулак
занёс над Кореей,
он гибелью нам грозит.

Но встали насмерть
сыны Кореи,
рядом — Китая сыны;
мы землю свою
защитили, ломая
хребет проклятой войны.

Мы так презираем
проклятых янки,
мы их ненавидим так,
что, в рост поднимаясь,
в дыму атаки
с гранатой идём на танк!

Подохни
и стань навозом, собака,
удобри землю под сад!
Мы знали свободу,
мы любим свободу,
и нас не погнать назад!

Когда ж наш боец,
обливаясь кровью,
не может привстать с земли,
они хватают его,
как добычу,
везут за тысячу ли.

О Кочжедо!
Нет тюрьмы страшнее,
нет места мрачней, чем ты,
там раненых наших
пытают янки —
откормленные скоты.

Но грохот гранат
и вой пулемётов
смелых душ не сломил.
Их клич — это
«Янки, вон из Кореи!»
«Сталин!»
«Свобода!»
«Мир!»

Их утром
расстреливают на скалах —
ты слышишь раскат пальбы?
А ночью живые

сходятся вместе
во имя новой борьбы.
Дозорные вышки,
рвы и могилы,
сведённые мукой рты...

О Кочжедо!
Расскажи всему миру
правду,
что знаешь ты!

V

Глаза людей всего земного шара
к Корею в эти дни устремлены:
пусть знают все,
чья совесть предreshала,
пусть знают все,
чья злоба развязала
неслыханные ужасы войны.

Пускай народы сыщут казни меру
тем, кто, по гитлеровскому примеру,
прислужниками смерти став самой,
в колодцы наши высевал холеру,
поля и рощи набивал чумой.
Припомните предшественников,
янки! —

фашистско-самурайские останки
гниют в земле.

А вас
зовут на суд,
и ни бациллы, ни напалм, ни танки
вас от грядущей кары
не спасут!

Марсельский докер и солдат
Вьетнама,

простые люди всех племён и рас
встают, сжимая кулаки упрямо,
за мир,
а это значит —
против вас!

Шахтёр Уэльса и шахтёр
Донбасса,
людей труда невиданные массы,
сама земля, доколь хватает глаз,—
за мир —
а это значит, что за братство!
За мир —
а это значит,
что за нас!

О Кочжедо!
Знай, минут непогоды,
и ясным утром, прозвенев волной,
расскажешь ты, чтоб знали все
народы,
о мужестве,
о торжестве свободы
и о победе
мира
над войной!



ЛЕТАЮЩИЕ БЛЮДЦА

Р о м а н

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

МИСТЕР КЛАРК СБИЛСЯ С ДОРОГИ

Мало толку было оттого, что мистер Кларк в этот июньский день рывком захлопнул большое окно в своём кабинете, проверил установку, регулирующую температуру, и залпом выпил два стакана содовой воды со льдом. Знойный воздух, гонимый ураганом на север, проникал, как южно-французский мистраль, сквозь стекло и цемент; от него сохла слизистая оболочка, нервы ходили ходуном, астма так бушевала в грудной клетке, точно там плясала целая стая мышей, кожа на голове напрягалась, как барабан. Кларк поборол в себе желание пройти в ванную и принять холодный душ. Знает он эту механику: жара требует содовой со льдом и холодного душа, которые вызовут у него гайморит, а гайморит изволь лечить горячей ингаляцией и паровыми ваннами... при сорока-то градусах!

Как глупа природа! И что за неудачная конструкция — человек!

Однако всё это пустяки по сравнению с разными другими запутанными вещами. В куче телеграмм, накопившихся на столе председателя «СКК» (Сесил Кларк Корпорейшн), были две анонимные; какие-то зловещие «персты судьбы», как он их назвал.

Первая:

ПРИВИДЕНИЯ И ВСАДНИКИ ПОДОРВУТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ТОЧКА
МОГИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ОТНЮДЬ НЕ ИГРАЛЬНЫЕ СТОЛЫ ТОЧКА БЛАГО-
ЖЕЛАТЕЛЬ

Вторая:

СНИМИТЕ ТЕЛЕФОННУЮ ТРУБКУ И СООБЩИТЕ ДЖЕМСУ ОДДУ
НАЧАЛЬНИКУ ВАШЕГО БЮРО ПО ПРОВЕРКЕ ЛОИЯЛЬНОСТИ СКОЛЬКО
КРАСНЫХ ЕЩЕ РАБОТАЕТ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ ТОЧКА АМЕРИКАН-
СКИЙ ГРАЖДАНИН

Кларку не стоило труда расшифровать эти угрозы. Первая телеграмма, повидимому, намекала на последние выборы в конгресс. «Привидения» — это были, вероятно, люди, давно умершие и на время выборов воскрешённые наёмниками Кларка для того, чтобы фамилии этих «привидений» были внесены в избирательные списки и «голоса» их поданы за кандидата Кларка. Подобную же роль играли «всадники» — наёмные избиратели; объезжая страну, они мчались из одного избирательного округа в другой и по многу раз отдавали свои голоса. Если где-нибудь возникали сомнения в их правах, хотя бы потому, что их фамилии отсутствовали в избирательных списках, то сопровождавшая их банда — все парни с крепкими кулаками, меткие стрелки — принимала меры к тому,

чтобы положить конец излишним расспросам, а хирургическое отделение ближайшей больницы пополнялось новыми пациентами. Эти молодчики — типа пендергастовских бандитов — особенно ловко поработали в одном избирательном пункте, устроенном в магазине надгробных памятников; простоты ради они высыпали содержимое избирательных урн на лежащие кругом могильные плиты и заменили бюллетени, поданные за республиканского кандидата, бюллетенями, поданными за демократического, соответственно желанию своего патрона, мистера Сесила Кларка. На это, очевидно, и намскала первая анонимная телеграмма, в которой умышленно раздувалось значение самого невинного корректива к результатам выборов.

Но лишь вторая анонимная телеграмма, голословно обвинявшая Кларка в покровительстве красным, содержала в себе угрозу и шантаж; это был грубый удар ниже пояса, удар, которого Кларк, несмотря ни на что, не ожидал от своего бывшего компаньона и теперешнего противника Джорджа Мак-Келли. Конечно, восемь лет тому назад он выставил Джорджа из фирмы «Метеор Истерн Стил Корпорейшн», принадлежавшей Кларку и старику Джошу, просто потому, что он больше в нём не нуждался, и потому, что каждое дело приносит больше прибылей двоим компаньонам, чем троим. Что тут особенного? Но Джордж, эта мерзкая свинья, всегда был обидчив и мстителен. И этот бешеный атом, этот человек, у которого на голове вместо волос какая-то сивая щетина, стоявшая дыбом совсем не по-американски, добрался до поста директора Нэйшенл Сити Бэнк, оставаясь в то же время членом Наблюдательного совета разных судостроительных и транспортных обществ, что давало ему возможность при каждом удобном случае подставлять ему, Кларку, ножку.

Ну и собака!

Кларк отшвыривает телеграммы в сторону, поднимается и звонит по телефону в приёмную, чтобы к нему никого не пускали, затем идёт в ванную и, засучив рукава рубашки, пускает на голые руки струю холодной воды. Он, конечно, одним движением своей волосатой лапы может превратить в лепёшку этого иуду Мак-Келли! Для этого ему даже не придётся потревожить свои сто с лишним кило. Он массирует покрытые пушком сильные руки — этот уже порядком растраченный капитал, доставшийся ему от дедов, дюжих парней из Техаса и Аризоны. Тем не менее осанка, мощная грудная клетка, мускулистый затылок показывают, что от этого, можно сказать, почти доисторического достоинства кое-что ещё осталось! За свою монументальную внешность он и получил кличку Бык. Впрочем, ещё и потому, что не признавал трудностей и встречал в лоб любое препятствие, будь то даже бетонные стены.

Такая тактика имела успех в периоды благоприятной конъюнктуры — до и после первой мировой войны, — когда ещё был простор для напористых бычков и «свободной игры сил», перед которой спасовал введённый Франклином Рузвельтом «новый курс» с его политикой регулирования цен. Но эта конкуренция, в условиях «свободной экономики», теперь кажется невинной детской игрой. Теперь идёт гигантская битва за власть, битва между мощными группами монополистов. И в этой битве пользуются уже не только таким оружием, как влияние на цены, но и политическим оружием — и пользуются по-новому. И назначение администратора по осуществлению плана Маршалла, управляющего военной экономикой, есть выражение формы власти, приводящей в движение не только миллионы рабочих и орудий производства, но также миллионы вооружённых солдат. Что пользы быку — при точно запланированном распределении сырья и государственных заказов банками, представленными в сенате, — что пользы быку от его бычьей силы, если какой-то примазавшийся к се-

нату ублюдок может сзади набросить ему на ноги лассо и уничтожить плоды всей проведённой им избирательной работы?

В груди у Кларка хрипит и пищит, словно в ней возятся мыши. Стоит ли игра свеч? В иные минуты этот вопрос встаёт перед ним, как призрак. Настежь окно! Гайморит? Пусть его!

Если хорошенько вдуматься, то, конечно, суть не в том, что этот мерзкий ублюдок расставляет ему сети или его преследует злая судьба. Вернее, он сам допустил какую-то роковую ошибку, причина которой кроется не столько в его притупившейся прозорливости, сколько в бывшем упрямстве, в том, что он упорно идёт в том направлении, которое однажды избрал. Вместо того чтобы перестроить свои старые предприятия, он расширил их. Он стал членом компании гражданской авиации Истерн Эрлайнс потому, что хотел создать особо благоприятные условия для своего сына Доналда, лётчика в чине майора. К ужасу своей сестры Фанни, старой ханжи, он основал общество по продаже недвижимости в Рено, в штате Невада, — этом раю всех алчущих развода, хотя там бурно вырастали дома с квартирами для девиц определённой репутации, призванных круглые сутки приумножать земные радости нашего мира. Конечно, такой образ действий соответствовал прежнему стилю помещения капитала: если в одной отрасли наступал кризис, то в другой деньги продолжали делать своё дело. Но теперь даже крупнейшие дельцы должны следовать лозунгу «концентрации сил». Кларк, однако, не желал с этим считаться. Что он, в самом деле, обязан переучиваться каждые десять лет?

Итак, фирма «СКК» села на мель со своей земельной компанией, недвижимостью, с доходными домами и загородными посёлками; капитал её Земельного банка был заморожен, и это как раз теперь, когда остальные банки держали свои резервы наготове, чтобы, пользуясь благоприятной конъюнктурой, молниеносно перебрасывать их в предприятия сталелитейной и авиационной промышленности в Америке и за океаном. Кроме того компания Кларка с дерзким указывающим на небо названием «Метеор» всё ещё занята главным образом строительством огнеупорных гаражей, металлических бомбоубежищ и стальных дверей, а ныне ведущие отрасли промышленности — это производство броневых плит из стали особой закалки и дюралюминия для самолётов. Ясно: он, Кларк, отстал от века и его компаньон, старик Джош, этот заядлый шахматист и вегетарианец, тоже не шагает в ногу с временем. Таким образом, Кларк, владея десятком разнородных, не связанных между собой предприятий, стал жертвой кризиса, как и другие средней руки фабриканты и дельцы. Не сегодня — завтра эти предприятия неизбежно сделаются добычей крупных монополистов. В противном случае разве эта паршивая собачонка, этот уродец Джордж, банк которого связан с судостроительными, железнодорожными и страховыми обществами, рискнул бы послать ему такие наглые телеграммы?

— Дьявол! — шипит Кларк в бессильной злобе. — Эти дачи и бронированные конуры, эта идиотская затея в Рено, эти стальные двери для подвалов, где будут прятаться жалкие людишки!.. — Он уже готов признать, что в последние годы шёл не той дорогой. Быть может, ему придётся изменить курс? Или вовсе остановиться? К чёрту!

КРОВАТЬ ИЛИ ГРОБ. СОБАКА ИЛИ ТУМБА

Если он закроет свою лавочку здесь, то у него ещё останется поместье в Коннектикуте, с обширными лугами, с сотней породистых коров и коневодством; в Техасе и Мексике у него тоже имеются крупные гациенды отца и жены. Дороти уже давно требует, чтобы он на продолжительное время ушёл от дел и поселился с нею на Юге. Она там родилась, любит

южную природу, пастбища с большими стадами, степи и горные края с их буйной растительностью — от тропической до полярной, любит тамошних людей — погонщиков-индейцев, восседающих на телегах, запряжённых волами. Она привезла сюда из отцовской гатиенды семью Мануэля Монтеса: сам Мануэль — садовник, его дочь Ада — чертёжница в конструкторском бюро, а младшая, Бесс, — машинистка. Дороти утверждает, что ей достаточно один — два раза в неделю встретиться с этими людьми, своими земляками, чтобы самой слова помолодеть. При этом миссис Кларк в свои сорок пять лет, как ковбой, скачет верхом в мужском седле, и уж, во всяком случае, она ездит лучше, чем её дочь Френсис — студентка Ричмондского колледжа.

Кларк сидит за письменным столом. Он выключил вентилятор и подобрал с полу телеграммы. Он строит из них домики. Странно, но многое ему теперь кажется бесцельным. Он, как говорит его дочь Френсис, «человек движения», в противоположность старику Джошу, который способен сидеть целыми днями на одном месте и обдумывать какой-нибудь шахматный ход, питаюсь в это время кокосовыми орехами, бананами, апельсиновым соком и ячменными лепёшками. А он, Сесил Кларк, постоянно мчится куда-то на полном ходу. Но мотор вдруг закопризничал, зажигание отказало. Что случилось?

Нельзя ли наслаждаться жизнью с меньшей затратой сил? Стоило ли наживать себе из-за президента все эти неприятности со «всадниками» и «привидениями» для того, чтобы собака Джордж приподнял ножку и использовал его, как тумбу? Разве президент протянет ему руку помощи? Ещё год — два, и он сам ляжет трупом на пути, который уготовил другому. Быть может, на следующих выборах он сам будет «голосующим привидением»?

Да, кстати о трупах. Что это было напечатано на прошлой неделе в «Ридерс Дайджест»? Кларк невольно расхохотался. Он с такой силой стукнул кулаком по столу, что крылья маленького вентилятора описали несколько кругов. Где-то в штате Огайо женщина добилась развода на том основании, что её муж, страстный любитель уголовных романов, требовал, чтобы она каждую ночь ложилась на пол, изображая труп, а он, лёжа в постели, глядел на неё и мысленно восстанавливал возможно точнее все подробности убийства, о котором только что прочитал. А в Броктауне, в штате Массачусетс, какая-то женщина лежала больная в кровати, когда вспыхнул пожар. Она решительно отказалась встать. «Доктор запретил мне вставать с постели!» — заявила она. В суматохе о ней забыли, и она сгорела.

Вот два случая, в которых фигурирует кровать: оказывается, кровать не всегда просто кровать. Для одной женщины она послужила поводом к процессу о разводе, для другой стала гробом. Мир полон противоречий, обгоняющих друг друга.

«Если я прикрою здесь лавочку, — размышляет Кларк, — и поселюсь с Дороти в своём имени (если!), то эта собака Джордж своими подлыми телеграммами, пожалуй, сделал хорошее дело. Кто же тут победитель? Тумба существует для собаки или собака для тумбы?»

ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. ПО НЕБУ ЛЕТАЮТ ЛУНЫ

Кларку ясно, что здесь, в четырёх стенах, он не найдёт ответа на свои, в сущности, никчёмные вопросы. Виновато, может быть, низкое атмосферное давление, знойный, расслабляющий воздух. Как бы то ни было, ему сегодня мучительно трудно сидеть за столом. Да и астма не даёт покоя, мышцы всё скачут и пляшут у него в груди.

Он берёт телеграммы и засовывает их в стол. Заперев ящик, он надевает пиджак и покидает контору. Кабинеты дирекции расположены

на самом верху десятиэтажного здания. Через плоские широкие окна видны парки городской окраины, а над ними добела раскалённое небо, омрачённое на юге пенистой волной жёлто-бурых облаков. Во всех конторских помещениях работает установка, регулирующая температуру; люди трудятся по возможности стоя, чтобы их лучше продувало и одежда не липла к телу, а кстаи, и мозги не склеивались. Кларк поспешнее, чем обычно, проходит по комнатам, не останавливаясь, чтобы поговорить с начальниками отделов. Уже спускаясь на лифте, он вдруг решает выйти на четвёртом этаже и в конструкторском бюро взглянуть на новые модели огнеупорных стальных бомбоубежищ. Такие бомбоубежища могли бы стать предметом массового производства, если бы все домовладельцы приобретали их, если бы удалось снизить себестоимость, если бы государство отпускало сырьё. «Чепуха,— обрывает он самого себя,— всё это мелочи, мелочи!»

Главный инженер Моррис уехал на завод, чтобы распорядиться об изготовлении некоторых моделей в натуральную величину.

— Ещё осталось установить наиболее благоприятный потенциал кривизны у больших металлических оболочек,— говорит Ада, показывая Кларку чертёж в разрезе. Она объясняет ему режим давления модели. Он рассеянно слушает Аду, но её голос как-то успокаивает его. Он начинает понимать, почему Дороти так расположена к этой стройной девушке-индианке, которую она привезла с юга. Пока Ада объясняет чертёж, он разглядывает её энергичное лицо с выпуклым лбом, чётко очерченными ноздрями и широкими скулами. Чёрные с синеватым отливом волосы, зачёсанные назад и скреплённые на затылке одной лишь пряжкой, и бронзовый цвет кожи — горделивое свидетельство её происхождения. Она, повидимому, почувствовала на себе взгляд Кларка. Быстро кончив объяснение, она снова склоняется над доской и берётся за циркуль и линейку.

Кларк коснулся пальцем выпуклой линии на чертеже.

— Как вы думаете, Ада,— медленно говорит он,— эти штуки в самом деле понадобятся нам?

— Будем надеяться, что не понадобятся, мистер Кларк.

— Зачем же мы производим их?

Ада смотрит на него: — Простите, но разве мы не производим ещё более бесполезные вещи?

— Правильно,— говорит Кларк, игриво улыбаясь.— Да, Ада, там, в прериях, нам не нужны были бомбоубежища.

«Ещё более бесполезные вещи»... И чего только не сболтнёт такая девушка! Но если подумать всерьёз... Ну, теперь ты ещё начнёшь философствовать, старый буйвол... и только потому, что, на твой взгляд, дела твои идут плохо. «Ещё более бесполезные вещи»? Квартирки и публичные дома в Рено? Ну, это ещё вопрос! А те молодцы, что торгуют «голосами привидений» и затыкают рот дуракам? Это как, полезно или бесполезно? Или вот Дороти вырастила полдюжины крысят вместе с четырьмя котятами, и эти существа забыли «наследственную вражду» и теперь мирно лакают из одной и той же плошки? Это что, пустяки? В век атомной бомбы!

Жаль, что он уже не молод. Он показал бы Аде кой-какие «бесполезные вещи!» Мистер Кларк решительно против умственного труда женщин. Собственно говоря, даже профессия чертёжницы уже есть оскорбление природы. Эта сильная девушка с широкими мужскими плечами и крепкой, высокой грудью при всём внешнем спокойствии — пример опаснейших противоречий. Нет, ныне всюду сплошные противоречия. Будь он на тридцать лет моложе, он перешёл бы опасную зону и с удоволь-

ствием взялся бы разрешить противоречия, которые он видит в этой девушке.

Но у него свои заботы. Надо решить, будет ли его фирма «СКК» плестись в прежнем направлении или же она ещё может на ходу изменить курс соответственно новой конъюнктуре. Он посоветуется с дядей Джошем. Этот старый чудаки ни черта не понимает в производстве, но в организационных вопросах он очень дальновиден, вероятно, потому, что его сверхъестественная лень не даёт ему задумываться над подробностями.

Кларки занимали на восточном берегу реки две виллы загородного типа, расположенные в обширном парке. Сесил ехал по аллее, обсаженной старыми кедрами, которые отец его пересадил сюда с гор уже могучими деревьями. Он собирался подъехать к левому крылу, где жил дядя, но вдруг повернул машину и повёл её к собственному дому. Надо посоветоваться и с Дороти. Правда, его жена — дочь крупного землевладельца и скотовода, в имениях которого единственным видом транспорта были мексиканские воловьих упряжки, — постоянно утверждала, что она знает толк в животных, но ничего не смыслит в делах; тем не менее на протяжении своего более чем двадцатипятилетнего супружества Кларк убедился, что его жена безошибочно судит о людях и в трудных положениях всегда даёт превосходные советы. И делает она это с равнодушной улыбкой, словно стреляет по мишени с закрытыми глазами и попадает в самый центр. Она и в самом деле метко бьёт глиняных голубей, фазанов и лисиц, эта бывшая мисс Дороти Нильсен, предки которой свыше ста лет тому назад пересекли океан и в Новом Свете так же, как на родине, занялись скотоводством, правда, в иных условиях. В те времена огромные стада бизонов ещё свободно бродили между Аризоной, Техасом и Мексикой. Их беспощадно истребляли — шкуры приносили большие прибыли, мясо давало обильную пищу. Тем быстрее размножались стада домашнего рогатого скота. Прошло немного времени, и уже иные из ковбоев-переселенцев превратились во владельцев крупных ранчо и стали брать в услужение вновь прибывающих молодых парней, которые вступали в смешанные браки с девушками англо-американского происхождения и — в более редких случаях — испано-мексиканками. Новые господа превратили часть индейцев в пеонов-крепостных, а другая часть — каретеро — считалась «свободными рабочими». Они горделиво правили волами, тащившими нагруженные товарами телеги через бездорожные скалы, трудясь из последних сил ради белых сеньоров. По существу, это была такая же голь, как и пеоны.

Придя к Дороти, Сесил Кларк узнаёт от горничной, что миссис Кларк уехала, повидимому, на аэродром.

— К мистеру Доналду?

— Да, я полагаю, мистер Кларк.

Глупо спрашивать об этом! Конечно, его сын Доналд — лётчик-испытатель на аэродроме F-8; но неподалёку расположен большой гражданский аэропорт, комендантом которого состоит полковник Дин Кеннеди. В декабре 1944 года он был сбит на арденском фронте и лишился правой руки; бельгийские крестьяне спасли его и кое-как вывели; этот худощавый одорукий молчаливый офицер для всех школьников — герой из какого-то таинственного, фантастического мира. Впрочем, не только школьников. Кларк знает, как участливо Дороти относится к полковнику, который почти на десять лет моложе её, как она стремится вырвать его из состояния «опасной душевной замкнутости». Но у Кларка намётанный глаз; он понимает, что алкоголь играет немалую роль в состоянии Кеннеди. Ну и пусть Дороти делает, что считает нужным. Пусть по-матерински опекает «мужчину-мальчика», пока она держится в этих границах, по крайней

мере в глазах окружающих. В конце концов Дороти всего сорок пять лет, и она ещё молода и полна сил.

Кларк идёт по дорожкам парка к соседней вилле. Здесь ему повезло. Дядя Джош дома. Он находится в боковом флигеле двухэтажного плоского строения, у мисс Фанни, незамужней сестры Кларка.

Конечно, у мисс Фанни происходит сеанс. Долгие годы, уверовав в толкование библии субботниками и адвентистами, Фанни ждала скорого конца мира. Но все сроки давно прошли, а человечество продолжало существовать. Тогда Фанни нашла новое поле деятельности, как бы нарочно для неё созданное. Кларк застаёт её в маленькой полутёмной гостиной, где она, стоя перед стариком Джошем, вполголоса произносит не то мольбы, не то приказания, а старик, закрыв глаза и весь скорчившись, сидит в кресле, издавая какие-то нутряные, глухие звуки, временами переходящие в неистовые ругательства. Позади этого рычащего, хрюкающего, изрыгающего проклятия колосса вытягивается на цыпочках сухонький человечек с рыжим клоком волос на голом черепе; он знаками приказывает вошедшему молчать. Кларк слышит настойчивый голос сестры, он словно сверлит извивающегося в транс дядю Джоша.— Вернись к утробной жизни! — взывает она.— Испытай ещё раз муки, через которые ты прошёл в утробе матери! Чувствуешь ли ты страдания твоей матери?

И дядя Джош снова начинает вертеться, как младенец-великан, во круг воображаемой пуповины; он то пищит, как новорожденный, то издаёт дикие, похожие на рычание вздохи:— Давит на печень... сердце разрывается... я задыхаюсь! — Вдруг он вскакивает, человечек позади него пытается его удержать, но великан опрокидывает и человечка и кресло: атмосфера сна наяву нарушена.

Как ни привык Кларк к чудачествам сестры, всё же ему кажется, что он попал в сумасшедший дом или в застенки.

— Что тебе нужно? — строго спрашивает сестра.

— Мне надо поговорить с дядей.

— Ты нарушил его эволюцию, помешал его внутреннему очищению!

Кларк выходит из себя: — Хватит с меня этой чепухи!

— Чепухи?..— сестра Фанни теряет дар слова.

Человечек с рыжим клоком волос выходит вперёд: — Прошу прощения, сэр, моя фамилия — Панч, я доцент метапсихологии в Ричмондском колледже. Бастер Панч. Мистер Джош Кларк проходит курс лечения — у него застойные явления в печени и приливы крови. Мы лечим его по методу дианетики.

— Дианетика? Опять какая-то новая диета? — спрашивает Кларк.

В отчаянии от невежества брата сестра Фанни возводит глаза кверху, словно её взгляд может сквозь лепной потолок призвать на помощь небо.

— И тебе бы это не повредило, мальчик,— говорит дядя Джош, снова усаживаясь в кресло.— Понимаешь? Тебя выворачивает, словно старую перчатку.

Тут вмешивается мистер Панч, силясь придать разговору более серьёзный характер. — Дианетика, — обращается он к Кларку, — это метод, при помощи которого все шлаки, порождающие болезни, выводятся из того места, где они первоначально отложились, то есть из повреждённого эмбриона в утробе матери. Ибо повреждение начинается ещё до рождения, в эмбрионе...

— А откуда это эмбриону известно? — прерывает его Кларк.

— О, вы уловили самую суть, вы идёте мне навстречу! — Метапсихолог в восхищении хватает Кларка за рукав.— Вот именно, чтобы поставить этот вопрос, чтобы суметь ответить на него, мы сами снова должны обратиться в эмбрион, лежащий в утробе матери. Видите ли? — И челове-

чек, словно призрак, вытягивается, простирает руки, будто хочет, подобно матери, вобрать в себя этого босса весом в сто с лишним кило.— Любая ваша болезнь: астма, насморк, мигрень, вздутие печени — есть результат травмы, полученной в утробном состоянии. Вы, конечно, знаете Губбарда, морского офицера Лафайета Губбарда, гениального отца нашей дианетики, изобретателя «исповеди Губбарда»... Прочтите его книгу, это бестселлер нынешнего года. Вам нужно снова испытать все страдания и муки вашей матери, и тогда вы почувствуете себя новорожденным, вы будете, как молодой бог. Прошу вас, верьте этому! Мистер Губбард говорит о своём учении, что это такая же веха в истории человечества, как открытие огня...

— Садись сюда, Сесил! — приказывает сестра Фанни. А Кларк как раз соображает, как бы ему поскорее удрать из этого жуткого места.— Ты так отягощён посторонними субстанциями,— продолжает Фанни, толкая в кресло захваченного врасплох брата,— что именно ты нуждаешься в очищении твоей утробной жизни; садись поудобнее!

— Позволь, позволь,— пытается протестовать Кларк.

— Это в самом деле чудесно, мальчик,— злорадно подбадривает его дядя Джош.

— А теперь откинь голову,— сестра Фанни подкладывает ему ролик под шею,— сиди свободно, дыши глубоко, ослабь шейные мускулы... Сейчас твоя жизнь снова станет маленькой, свёрнутой, как шар, совсем крохотной...— шепчет Фанни.— Теперь попытайся вернуться в свою утробную жизнь... Ты чувствуешь? Ты извиваешься, как червь, тебе хочется визжать и кричать...

«Да, чёрт возьми, мне хочется орать, рычать! — думает Кларк.— Что это сегодня всё вверх тормашками? Сошли они все с ума? К чёрту весь этот цирк! Ладно, я буду визжать, вопить, реветь...» Ещё секунду он чувствует торможение, потом вскакивает на ноги. — Дурачье! — кричит он.— От души желаю вам ездить на своей пуповине вверх и вниз, как в лифте! От души желаю, чтобы этот лифт застрял и висел с вами, бездельниками, между небом и землёй, пока вы не отмолите ваши грехи, ваши, мои и моей матери! Чтоб вы перестали расшатывать нервы нормальным людям...

Сестра Фанни хватает его за отворот пиджака и тихо спрашивает: — Тебе не стыдно?

Кларк, не обращая внимания на сестру, говорит дяде Джошу: — Мне необходимо с тобой поговорить!

— Какой у вас напряжённый голос! — вмешивается маленький Бастер Панч.— Сэр, не принимайте никаких решений в этом гипертоническом состоянии! Вы как раз срочно нуждаетесь в освобождении, в эмбриональной разгрузке...

— Посмейте сказать ещё слово, паяц! — рычит Кларк.— Посмейте только пикнуть, и я паштет из вас сделаю, гнилая рыбёшка!

— Гнилая рыбёшка? — пищит оскорблённый метапсихолог.

В эту минуту звонит телефон.

Кларк бросается к аппарату, но Фанни преграждает ему дорогу: — Нет, нет, Сесил! Не в таком состоянии. Я вижу вокруг твоего лба фиолетовое сияние, ауру князя тьмы.

Но Кларк уже снял трубку: — Доналд, ты? Да, я слушаю... Что? Белены вы все объелись, что ли? По небу летают луны? Ну и пусть их летают. Что? Что мне там делать?.. Предложить мои стальные бомбоубежища обитателям Марса?.. Благодарю, хватит с меня здесь этой дианетрии... или как её...

— Ди-а-нетика! — кричит ему от окна Бастер Панч.

— И не подумаю... Передай привет твоим коллегам с Марса и выпей за их здоровье два стаканчика. Итак, до обеда, пока!

Все молча ждут объяснений от Кларка по поводу странного телефонного разговора.

— Прекрасный выдался денёк! — говорит Кларк, обращаясь главным образом к самому себе, берёт шляпу и покидает утопающую в зелени виллу.

Глава вторая

РАДИСТ И ИНДИАНКА. СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?

День клонится к вечеру. Садовник Мануэль уже с утра обдал сильной струёй воды свой домик, все четыре увитые плющом стены. Хоть вода, испаряясь, остудила воздух и деревья отбрасывают густую тень, в комнате дышать нечем.

Плохой сегодня день.

А к тому же ещё эта история с Бесс. Она дрожит всем телом и тихонько плачет. Напрасно старик тёр ей лоб гвоздичным маслом и гладил смуглой морщинистой рукой по светлым волосам: — Что с тобой, моя дорогая? — В ответ девушка только стонет.

Ада, вернувшись после работы позднее обычного, заставила сестру лечь на диван, положила ей на голову пузырь со льдом и брызнула на неё Флоридской водой. Всё это мало помогло. Отец говорит, что следовало бы на некоторое время взять Бесс из конторы; долгое сиденье за машинкой иссушает нервы, как солнце иссушает оголённые корни дерева. — Такая же прозрачная и беленькая, как её мать, — прибавляет старый каретеро. — Мать тоже не переносила этого знойного ветра; чем только она не бредила, когда умирала!

Бесс срывает лёд с головы и садится на диван; она показывает на правую руку, перевязанную пропитанным кровью бинтом, и на лоб с полоской пластыря. — Я брежу? Это бред? — кричит она. — А вы посмотрели бы на других! Сколько было переломано рук! На земле лежал мёртвый растоптанный ребёнок! Хотите верьте, хотите нет! — Она плачет, свернувшись комочком.

— Да, верим, верим тебе, — пытается успокоить её Ада; она обнимает сестру и прижимает её голову к своей груди. — Но всё это так странно...

— Я же вам говорю, все рассказывали о летающих по небу огненных лунах и огромных блюдах! И вдруг вспыхнула страшная молния, потом стало темно, вагон наполнился дымом. Кругом кричали: «Это они! Они бросили бомбу! Атомную бомбу!»

— Это — безумие, Бесс!

— Откуда мне знать? Я знаю только, что выбивали стёкла, все топтали друг друга, опрокидывали, валили...

Нет, маленькая Бесс не преувеличивала, несмотря на свои семнадцать лет и взвинченные нервы. В подземной железной дороге в самом деле произошло короткое замыкание, в тёмный туннель ворвался дождь искр; загорелся кабель, в вагоны переполненного поезда проник дым. Чтобы понять, почему возникла такая паника, надо принять во внимание, что как раз в этот день с аэродрома передали сообщение об огненных лунах, носившихся по небу. Кое-кто уверял, что это реактивные самолёты, другие говорили, что эти огромные блюда — бомбы, управляемые на расстоянии, что они пущены русскими в стратосферу и в любую минуту могут упасть на большие города США. Об этой страшной возможности и толковали в вагоне, в котором возвращалась из конторы машинистка Бесс Монтез, когда вдруг после яркой вспышки, сопровождавшейся дождем искр, погас свет и раздались первые крики: «Бомба! Бомба! Русские!»

Разыгрались дикие сцены. Персонал поезда, призывавший к спокойствию, едва не подвергся линчеванию. Среди пассажиров было много убитых и раненых. Нет, машинистка Бесс Монтеc не преувеличивала. Но от этого никому не легче.

Ада торопится в вечернюю школу, она хочет подготовиться в один год к экзамену на техника-лаборанта и отдаёт каждую свободную минуту занятиям. Но как оставить Бесс в таком состоянии? Ей, Аде, и отцу несколько пинков в рёбра не нанесли бы вреда; у неё под рёбрами нет сердца, утверждает её приятель Джин, там всего лишь маленький обломок скалы Сьерра-мадре. Конечно, Джин немного нетерпелив, как все вернувшиеся домой герои мировой войны и в особенности лётчики, но «обломок скалы», очевидно, не отпугивает Джина, и он попрежнему держит курс на Аду; ей даже интересно, надолго ли у него хватит терпения. Кроме того он не меньше Ады влюблён в технические новшества. Нередко они часами сидят за покрытым клеёнкой столом, вычерчивая ту или иную модель. Хорошо, что он относится к ней с уважением.

— Не съешь ли ты чего-нибудь? — спрашивает Ада сестру.

— Пить! — просит Бесс. — Что-нибудь холодное.

Ада наливает в стакан апельсинового соку, опускает туда несколько кусочков льда и добавляет содовую воду из сифона. Она присаживается к Бесс, поддерживает ей голову и, как мать больного ребёнка, поит сестру, откинув со лба её рыжеватые волосы. Бесс очень похожа на покойную мать — американку английского типа. Когда отец из-за какого-то серьёзного дела, во время которого были пущены в ход ножи, вынужден был покинуть Мексику и нашёл приют у миссис Кларк, он очень скоро женился на её служанке Мэри Ли. Брак между индейцем и светложерой голубоглазой англичанкой оказался счастливым. Индейцы испокон веков были превосходными отцами семейств. И вот теперь семья из трёх человек живёт в одноэтажном домике в парке мистера Кларка, как на затерянном в море острове. Бурные события внешнего мира доходят до них только через двух людей — радиста Джина Стивенса и дядю Эрнеста, брата матери, работающего механиком в мастерской по ремонту автомобилей. Дядюшка Эрнест, бывший в молодости моряком, всегда приносит кучу новостей. Он состоит помощником казначея в профсоюзе автомобильных рабочих и не может отказать себе в удовольствии время от времени сцепиться с Джином. Когда они оба сходятся у Монтеc, это всегда напоминает шумный причал двух моторных катеров. После ухода дядюшки Эрнеста снова воцаряется «тропическая» тишина, как говорит Джин. Бесс, пообедав, переодевается и бежит к подругам; Ада обычно усаживается на диване, читает или чертит. Отец, если в парке нет работы, бесшумно хозяйничает на кухне или возится в своей маленькой мастерской. Такой порядок установился после смерти матери, и все им довольны.

Сегодня на диване лежит Бесс, а Ада сидит со своими чертежами за стол. Как раз теперь, когда ей нужно сосредоточиться, чтобы вычислить сечение конуса, её отвлекает Бесс. Аде всё кажется, что сестра сбоку наблюдает за её работой. А работа не спорится. Ада поднимает глаза:

— Как ты себя чувствуешь, Бесс?

— Хорошо. Ты могла бы спокойно уйти.

— Дурочка ты, ведь я не потому спрашиваю.

Теперь-то она, конечно, останется. В комнате невыносимо душно. Ада встаёт, включает вентилятор, берёт с зеркала большой плетёный веер и обмахивает им себя и Бесс. Всё это мелкие помехи, думает она, надо сосредоточиться на чём-нибудь одном и довести дело до конца.

До её слуха доносится грохот мотоцикла, тотчас же замирающий; Ада, затаив дыхание, прислушивается.

— Джин? — спрашивает Бесс.

Ада наклоняется к сестре и обмахивает её всером. Конечно, это Джин. Кто же ещё из взрослых ездит на мотоцикле? Но Джин, лётчик-радист, питает слабость к этому грохочущему, пыхтящему двухколёсному чудовищу: во время войны он носился сначала на английском, а потом на трофейном немецком мотоцикле между аэродромом и заведениями, не имеющими столь важного военного значения. Мотоцикл — его любимая игрушка.

Джин входит в комнату.

— Хэлло! Обе в кабине? Чудесно! — шумно здоровается долговязый верзила в форме радиста гражданской авиации. — Но что же видит на белой голубке мой орлиный взор? Ты провалилась в пролёт лифта? Или лакала из летающего блюда?

— Тебе хорошо шутить! — говорит Бесс, смеясь и плача.

Ада объясняет: — Им показалось, что в подземку, неизвестно откуда, упала бомба. Сами себя с ума сводят...

— Ну, конечно, ты, известное дело, героиня! — вспыхнула Бесс. — Ты бы и глазом не моргнула, когда вдруг наступила крошечная тьма, а потом посыпались искры и вспыхнул огонь, а ведь люди только что рассказывали о пылающих и летающих лунах...

— Пылающие луны! Ну и чушь...

— Погодите! — вмешивается Джин. — Теперь слово за специалистом: то, что бэби рассказывает, не так уж глупо. Как раз сегодня наши наблюдатели заметили на высоте в девять тысяч метров три блюда. Они летели с востока на запад. Скорость полёта — от восьмисот до девятисот километров в час.

— Ну вот! — торжествует Бесс.

— Ты сам это видел? — спрашивает Ада.

— Только в самое последнее мгновенье, когда эти зловещие птицы исчезали в белой дымке солнца; но радисты с испытательной станции F-8 передали, что майор Кларк вылетел на своей машине для преследования их.

— Доналд? — восклицает Ада.

— Но он опоздал. Когда он поднялся на девять тысяч метров, эта штуковина уже давно исчезла.

— А что с Доналдом?

— Вернулся на базу. Кстати, ты всегда называешь майора по имени?

— Мы школьные товарищи.

— Я и забыл.

— Разве эти летающие предметы не имели опознавательных знаков?

— Что за чепуха! Прости, пожалуйста!

— Но откуда-то они прилетели?

— Сядь, Ада... А-а, конусы? — Он всматривается в чертёж сечения конуса и затем в серьёзное смуглое лицо девушки. — Всё только одни предположения, — говорит он. — Ничего достоверного... Раз никто не в состоянии запеленговать такую птицу или заставить её снизиться... тогда, конечно, начинают мерещиться привидения, вроде лётчиков с Марса или русских.

Бесс снова приподымается на диване и, широко раскрыв глаза, смотрит на радиста. Её трясёт, как в лихорадке.

— Ладно, хватит разговоров, — вмешивается Ада. Она приподымает энергичным движением младшую сестру, прижимает её голову к своей груди и, как ребёнка, относит наверх, в спальню.

Джин остался сидеть в нерешительности. Он не любит сложных проблем, особенно в личной жизни. Знакомство может быть стоящим или нестоящим. Он никогда не играл чувствами девушек, он брал от них то,

на что мужчина может рассчитывать, и сам не скупился на ласку. Но в отношениях с Адой это простое уравнение оставалось нерешённым. Он познакомился с ней на вечерних курсах. Во время занятий обнаружилось, что Джин идёт впереди всех по математике и машиностроению, а Ада — по черчению. Конечно, Джин тотчас же влюбился в эту сильную, рослую девушку, и тут произошло нечто для него непривычное: Ада не сразу почувствовала к нему влечение, как к мужчине. Зато между ними установились хорошие товарищеские отношения на почве общих занятий. Она подзадоривала его и таким образом выжимала из него всё, что он мог дать в смысле технических знаний. И всё же на её стороне оставался перевес: в логике он не мог за ней угнаться, и тут ему часто приходилось капитулировать. Однажды вечером она принесла ему на курсы решение задачи по сферической тригонометрии, над которой они оба тщетно бились в последний раз; однако она честно призналась, что ей помог в этом майор Кларк.

Когда Кларк учился в техническом училище, Джин со своей частью сражался на африканском фронте, форсировал Ламанш и был ранен в Арденнах. В последние месяцы войны прибыл на фронт и лейтенант Кларк со своей эскадрилей бомбардировщиков — как раз во-время для того, чтобы превратить в развалины ещё несколько городов и быть произведённым в старшие лейтенанты, что сулило ему чин капитана при демобилизации. Джину, несмотря на его три знака отличия, конечно, не под силу тягаться с Кларком. Прострел лёгкого, пневмоторакс с резекцией ребра — всё это давно забыто.

Что поделаешь! Не у всех людей одни и те же возможности. Надо добиваться наилучших успехов на своём месте. Вот Джин, например, получил должность радиста первого разряда в компании «Истерн Эрлайнс». Он надеется, что, закончив вечерние курсы, поднимется ещё на одну ступень общественной лестницы. Это всё, на что может рассчитывать бывший сержант военно-воздушного флота. У молодой женщины, конечно, есть и другие возможности.

— Если каретеро задумался, он не видит дороги, — говорит старик Мануель, принесший с погреба две бутылки портера; он наливает по стакану себе и Джину. Они молча пьют крепкое тёмнокоричневое пиво.

Собственно, Джин не собирался засиживаться здесь. Ему хотелось после знойного дня провести вечер с Адой на реке — в лодке или в кафетерии на берегу. Но вечер, повидимому, потерян.

Он встаёт и вдруг чувствует на своём плече руку старика. Устремив на него внимательный взгляд тёмных глаз, Мануель, обычно сосредоточенный на своей работе в саду, спрашивает Джина: — Как ты думаешь, Джин, война будет? — Вопрос бывшего каретеро звучит обыденно, как если бы он спросил: «А перевал через горы отнимет много времени?»

Джин, который никогда за словом в карман не лезет, на этот раз с досадой смотрит на старика и, помолчав, говорит:

— А ну её! Хватит с меня и одной. Но если кто-нибудь снова станет донимать меня этими летающими в небе лепёшками, то я, дьявол его возьми, оторву ему ногу и ею так его отделаю! Да стоит ли вся игра свеч, если постоянно...

Но он не договаривает: бесшумно спустившись с лестницы, Ада кладёт ему одну руку на плечо и поворачивает лицом к себе, а другой закрывает ему рот. — Бесс спит, — шепчет она, — мы можем идти. — Она прихватывает свой берёт и светлый пыльник.

Джин направляется к мотоциклу, но Ада удерживает его: — Оставь. — Разве мы не в школу?

— Нет.

Они едут по подземной дороге до конечной станции на берегу.

Удаляясь от берега, они идут сначала редким сосновым лесом, заросшим кустами цветущего золотисто-жёлтого дрока, агавами, алоэ, колючим лавром. Джин всё время пропускает Аду вперёд, любуясь её свободной поступью и гибким мускулистым телом, едва задевающим ветви кустарника. Не нужно обладать богатой фантазией, чтобы мысленно перенестись на сто лет назад, когда такая же индианка с иссиня-чёрными волосами бесшумно пробиралась сквозь чашу. «Чудесно было бы с таким человеком жить полной жизнью, не зная лжи», — на секунду мелькнуло у него в голове, но тут же он рассмеялся над собою.

— Что это ты? — оборачивается к нему Ада.

— Я представил себе, как бы ты сто лет назад скальпировала меня, привязав к столбу.

Ада смотрит на него и проводит сильной, смуглой рукой по его светлым волосам. — А скальп неплох, — говорит она, — я, должно быть, всегда носила бы его на поясе.

Они взбираются на холм и садятся на песке, в небольшой ложбинке, среди кустов дрока. За ними, там, где сосновый лес круто обрывается, расположено люпиновое поле, и оттуда доносится медвяный запах. Перед ними в лёгкой дымке тумана лежит океан и водная гладь отливает перламутром.

День самый обыкновенный; ничего необыкновенного нет и в том, что Джин со своей приятельницей захотел вырваться из городской пыли и духоты. Необычно разве лишь то, что Ада, одна из прилежнейших учениц, на этот раз пропустила занятия в школе. Но случай с Бесс произвёл на неё большое впечатление... А может быть, на неё подействовали слова Джина, подтвердившего, что такие загадочные блюдца в самом деле летают в небе? Или ей не по себе оттого, что Джин насупился, услышав, как она назвала майора по имени? Все нервничают... Она смотрит сбоку на Джина, который, отломав прутик, выводит им фигуры на песке. — Ты заметил, в каком состоянии Бесс?

— Могу себе представить, что там делалось. Теперь достаточно упасть кирпичу с крыши или задребезжать оконному стеклу, чтобы все тотчас же завопили: атомная бомба!

— Но ты сам видел летающие луны?

— Чего только не увидишь, Ада, когда кругом тебя изо дня в день только об этом и говорят! Ты спросишь: зачем? Иные для пущей важности, для форса, а кое у кого есть на то и другие причины.

— Какие же?

Джин медлит с ответом. Не сболтнул ли он лишнее? Но этот Доналд ринулся в воздух очертя голову, чтобы уже к вечеру во всех газетах было напечатано: «Майор Кларк немедленно вылетел на своей специальной машине в погоню за таинственными летающими дисками; через двенадцать минут он уже достиг высоты в 9 000 метров».

— А мне кажется, — говорит Ада, не дождавшись ответа, — что всё это шальная фантазия наших лётчиков. Их не удовлетворяет мирная обстановка, и вот...

— Ну, и отлично.

— Не вижу ничего отличного в том, что какие-то слухи вызывают панику, ведь в подземке оказались убитые!

— Не мы же распространили эту новость!

— Вы или печать — не всё ли равно?

— Скажи, Ада, неужели мы приехали сюда только для того, чтобы пререкаться из-за этих летающих блинов? — Он берёт её лицо в свои ладони и ласково улыбается: он ещё никогда не видел её в гневе и не слышал от неё таких взволнованных речей. Густая краска пробивается сквозь бронзу её лба и щёк. Его потянуло к ней, захотелось обнять её, но он сдержался и сказал: — Не знаю, Ада, стоит ли вообще игра свеч? Спокойно провести с тобой часок для меня важнее, чем вся эта шумиха с

реактивными самолётами, путешествиями на Марс, искусственными лунами и летающими блюдцами. Ведь если завтра всё начнётся сначала...

— Замолчи, ради бога!

Он умолкает, вытягивается во весь рост на песке и, заложив руки под голову, смотрит сквозь ветви сосен на вечернее, зеленовато-жёлтое небо. Эта окраска вызывает в его памяти подобную же картину — а впрочем, сходства не так уж много, — когда он лежал, истекая кровью, на снегу возле сбитого самолёта где-то в Арденнских лесах. На душе было покойно, полная отрешённость от мира живых людей — так, по крайней мере, казалось ему. Тогда у него было лишь одно желание: чтобы это мгновение никогда не кончалось или было последним в жизни. Но вот он услышал, что кто-то зовёт на помощь; это звал майор Кеннеди, командир его эскадрильи; Джин пополз к нему, и оба — майор с раздробленной рукой и сам он с простреленным лёгким — двое суток брели по лесу, пока не добрались до бельгийских крестьян; они обезумели от жажды, смертельно устали, глаза были воспалены, рты забиты грязью и пеной. Что если завтра сызнава начнётся то же самое, как будто ничего этого не было?.. А ведь теперь это будет во сто раз хуже! Стоит ли игра свеч?

— О чём ты думаешь, Джин? — Ада наклоняется к нему. Её глаза, на которые падает тень, кажутся совсем тёмными.— Скажи мне только одно: ведь это всё чушь, всё это выдумали газеты?

— Да, знаешь ли, газеты...

— Скажи мне прямо, Джин!

Вдруг Ада вскакивает. Вообще-то она не из пугливых. Но с края ложбинки на неё катится что-то чёрное, круглое и остаётся лежать у её ног. Ада в оцепенении смотрит на этот чёрный шар.

— Ложись! — кричит Джин.

Ада с молниеносной быстротой падает на землю. В зловещей тишине слышен едва сдерживаемый смех Джина, наконец прорывающийся громким хохотом. И затем снова всё замирает.

Ада слегка приподнимает голову и видит, что Джин, приложив палец к губам, смотрит на чёрный шар. От колючего шара отделяется нечто вроде длинного пальца и на нём головка любопытного ежа, который пробирался с люпинового поля на вечернюю охоту, услышал голоса и подполз к краю ложбины, откуда и скатился. Еж высовывает свою умную мордочку и вертит ею во все стороны.

— Ну вот, видишь, как это бывает,— говорит Джин, когда ёж снова свернулся.

— Ты, известно, герой! — Ада улыбается, стараясь скрыть смущение.

Джин суёт ветку в песок и щекочет ежу живот. — Герой, а кому он нужен, этот герой? — ворчит Джин.— Что дала мне история в Арденнском лесу? Изуродованную грудную клетку... Но что хуже всего — к воспоминаниям о прошлом примешивается мысль, что нам, как нерадивым школьникам, придётся повторить заданный урок. А надо бы наконец отдохнуть от всего этого. Да, у меня прострелено лёгкое, у меня есть бумажонка, мне не придётся воевать. А другие! И если те блюдца, начинённые чёрт его знает какой космической дрянью, в самом деле будут летать над нами и опрыскивать нас, точно поля, заражённые колорадским жуком, своим атомным ядом... Воздух станет радиоактивным, и всё будет отравлено: кожа, дыханис, кровь, лёгкие...

Голос у него срывается. Ада притягивает Джина к себе, прижимает его голову к своей груди; он чувствует её учащённое, горячее дыхание, теплоту её тела и лёгкое прикосновение рук к своему лбу; мало-помалу он успокаивается.

С моря дует ветер. Наступают сумерки. Хорошо... Он не двинется с места. Смешно, как он вдруг затих, точно ребёнок на груди у матери... Смешно... но это так. Он не чувствует волнения близ возлюбленной, нет, не чувствует...

Почему сегодня эти мрачные слова так часто звучат у него в ушах? Звучат так успокоительно, так заманчиво, словно вкрадчивый женский голос...

— Что ты говоришь? — шепчет Ада.

Разве он что-то сказал? Он только подумал, подумал в полусне. Он приподнялся и заглянул в её смуглое серьёзное лицо. — Разреши мне сказать тебе кое-что, Ада, не как возлюбленной, а как другу; ведь это разница, не правда ли?

— Говори.

— Даже большая разница, Ада. Вот как я понимаю это: с другом, например, хочется вести душевный разговор и шагать рядом плечом к плечу, но от возлюбленной — так я смотрю на вещи — хочется иметь детей. Это, может быть, грубо сказано. Не бойся, это не значит, что я сейчас же перейду от слов к делу...

— Это ведь зависит и от меня.

— Правильно. Меня только одно удивляет: я так люблю тебя... Ада... разреши мне сказать... я не знаю ничего более прекрасного, чем так вот лежать в твоих объятиях, глядеть на твою гордую тёмную голову, смотреть, как ты ходишь, видеть твоё нетронутое тело — всё это для меня счастье; и всё же мне не хочется идти дальше, как бывало прежде с девушками, мне не хочется ребёнка от тебя.

— Что в этом ужасного?

— Ужасно это или нет, но что-то тут неладно! Раньше ведь так не было! — Он смущён и испуган, как мальчик, впервые столкнувшийся с проблемой мужской зрелости, этой глубочайшей и таинственнейшей из загадок, встающих на нашем пути. — Я ни за что не хотел бы произвести на свет ребёнка, — говорит он отрывисто, — даже от самой красивой и самой умной женщины! Из года в год над этим ребёнком висела бы угроза: может быть, ему оторвёт руку или ногу, грудная клетка будет изувечена или его разорвёт на части. Молчи, Ада! Мне это лучше знать! Ведь теперь у нас за каждой складкой местности — аэродром. Каждую неделю новая эскадрилья бомбардировщиков летит в Европу или Африку, на новые базы. А ты думаешь, та сторона ждёт и сидит сложа руки? Эти управляемые на расстоянии таинственные снаряды, которые появляются всё чаще и чаще...

Ада поворачивает к себе голову Джина, чтобы видеть его глаза, и спокойно отвечает: — Видно, эти летающие предметы всех сбили с толку. Но тому, что ты говоришь о ребёнке, я не верю. Это — такое безумие, от которого надо было бы бежать. Но куда бежать? Даже под землёй всё вновь и вновь рождается жизнь. Послушай, Джин: я тоже много думала о приближающихся грозных временах. Может быть, под градом бомб нам останется только один шанс на тысячу, но для этого одного шанса я хочу жить, за этот шанс я хочу ухватиться. И ради этого шанса я не решусь сказать: игра не стоит свеч.

Как может приободрить голос, милое лицо! Как легко человек впадает в отчаяние, как быстро утешается! Может быть, наша земля ещё не погибла, думает Джин и говорит вслух: — Хорошо, Ада, что есть хоть один человек, который верит в этот шанс.

Становится свежо.

Они встают, вытряхивают песок из обуви и чистят друг друга. От сырости Ада начинает пробираться дрожь. Джин помогает ей надеть пальто; ему хочется прижать её к себе, поцеловать. Но он только берёт её за руку и скользит вместе с нею вниз с песчаного холма.

Внизу, по широкой дороге, ведущей вдоль берега к станции подземки, автомобили обгоняют друг друга, тысячи людей бредут пешком. Воздух наполнен пылью и гулом человеческих голосов. Из окон ресто-

рана, расположенного на берегу, громко доносится популярная песенка: «Да сгинут заботы, да здравствует радость!» Вдруг весь этот тысячеголовый караван подхватывает слова песни; они звучат, как марш, как призыв к борьбе против того, что надвигается грозой на всех, за то, что могло бы быть... за счастье... Да здравствует радость!

В домике садовника ещё виднеется свет. Прежде чем Джин заводит мотоцикл, Ада кладёт руку ему на плечо и с улыбкой говорит:— А может быть, игра всё-таки стоит свеч?

Он гладит её по голове. Мотоцикл начинает тарыхтеть. Из дома выходит старик Мануэль.— Дети, дети, уже ночь на дворе. Молодой хозяин был здесь, справлялся о здоровье Бесс.

— Доналд?

— Да, и сеньора просит тебя, Ада, поехать с ними на воскресенье в гациенду, на загородную прогулку.

Джин завёл мотор. Он торопливо пожимает Аде руку.

— Желаю весело провести уикэнд! — говорит он и с шумом отъезжает.

Глава третья

О ЛЕТАЮЩИХ БЛЮДЦАХ. МИССИС КЛАРК ДЕМОНИСТРИРУЕТ КРЫС

Поместье Кларка «Под соснами» находится в 150 километрах к северу от города; езды до него по широкому шоссе полтора часа. В поместье около 300 гектаров превосходного леса, полей и пастбищ; есть скотный двор для нескольких десятков породистых коров, небольшой конский завод (специальность — ирландские скаковые и охотничьи лошади) и, наконец, необходимый для образцового хозяйства мелкий домашний скот. Что касается электричества и воды, то усадьба, разумеется, независима от внешнего мира: питьевая вода поступает из скалистого предгорья, а электричество обеспечивается водохранилищем и небольшой собственной электростанцией. В скалистых откосах северного склона Кларк приказал на всякий случай — «шутки ради», — как он говорит, выдолбить пещеры в виде бомбоубежищ и обставить эти помещения со всем необходимым комфортом, снабдить их кислородными приборами и газонепроницаемыми стальными дверями собственного производства.

Впрочем, Кларк ещё задолго до позавчерашних тревожных событий отнюдь не проявлял легкомыслия. По его указаниям гациенда на юге тоже приведена, так сказать, в состояние обороны. Эта ферма расположена на равнине, в прерии, и кларковские стальные бомбоубежища пришились там весьма кстати. Очень успокоительно знать, что у тебя есть надёжное пристанище и на севере и на юге обширной страны.

Для воскресных приёмов, которые миссис Дороти обычно устраивает раз в месяц, разумеется, больше подходит поместье «Под соснами», благодаря близости к городу, лучшему климату и большому комфорту. Взбалмошная и бесцеремонная Дороти любит приглашать к себе людей самых различных интересов, профессий, степеней образования в твёрдой уверенности, что «всё утрясётся».

Старик Джош и однорукий полковник Кеннеди, засев за шахматы, уединились в курительной комнате; мистер Кларк перелистывает журналы «Лук» и «Уик мэгэзин», хотя поглядывает и на шахматы; большинство же гостей, разбившись на живописные группы, собралось на открытой южной террасе, которая прилегает к столовой. В одном углу на шезлонгах и широкой деревянной балюстраде расположилась молодёжь: двадцатидвухлетняя дочь хозяев дома Френсис Кларк, изучающая литературу в Ричмондском колледже, и её подруга Сюзанна Патрик. Сю-

занна год тому назад бросила учение и подвизается теперь в качестве актрисы в одном модном «Мансардном театре», который помещается на чердаке высотного дома. Она выступает в новейших сюрреалистических пьесах французских и американских авторов: пьесы эти отличаются малым числом действующих лиц, зато изобилуют кровосмешениями и убийствами. А сама Сюзанна — олицетворение жизни, здоровья: краснощёкая, с пышной грудью, с широкими бёдрами, статная, как тирольская доярка; правда, она курит сигареты через очень длинный и тонкий стеклянный мундштук, вероятно, ради контраста с её слишком округлыми формами. Теперь она восторженно слушает своего собеседника — Льюиса Шермана, — сотрудника отдела искусств в газете «Дейли Ситизен», человека среднего роста с бурой сединой. Он как раз высказывает своё мнение об одной из последних пьес и делает это с таким апломбом, будто от его слов зависит решение вопроса о войне или мире. Четвёртый в этой группе, врач Джон Бойл, — человек лет пятидесяти, с усталым лицом — краем уха прислушивается к острому и хлёсткому анализу критика. Он устремил взор на затенённую старыми платанами зелень газона и, видимо, не испытывает ни малейшего неудобства от того, что в его поле зрения оказалась голова студентки Френсис Кларк, внимательно слушающей оратора.

Джон Бойл, домашний врач Кларков, хорошо знает историю семьи. Кельтский круглый череп юной Френсис, её рыжевато-каштановые волосы и почти чёрные глаза, несомненно, представляют собой, по сравнению с удлинёнными черепами и светлой шевелюрой родителей, возврат к более отдалённым предкам, ибо мать мистера Кларка — урождённая О'Брайен. И по характеру Френсис совсем не похожа на родителей. Со всем душевным пылом она отдаётся вопросу, который возникает перед ней, пока не находит решения, но схватывает всё далеко не быстро, пожалуй, её можно даже назвать тугодумом. У неё сильно развито чувство справедливости: когда её брат Доналд своей машиной сшиб сынишку продавца газет и тому возместили лишь расходы по лечению, она стала навещать мальчика в больнице, приносила ему шоколад, бананы и фруктовые соки; она потребовала у врача рентгеновский снимок и целый месяц занималась с больным, помогая ему наверстать пропущенное в школе. Доктор Бойл охотно поболтал бы с ней наедине, как было на днях, когда он говорил с ней на свою любимую тему — о лечебном значении малярии, о действии раздражающей терапии и эмпирическом эффекте отрицания отрицания, — но здесь, в этой «клетке для попугаев», беседа с глазу на глаз, пожалуй, не выйдет.

С середины террасы, где сидит за столом миссис Дороти Кларк, доносится её решительный и далеко не тихий голос. Она спорит с Сеймуром Лоу, профессором физики Ричмондского колледжа, и мистером Флаггом, молодым сотрудником газеты «Демократик Глоб», о том, является ли «всемирный страх» результатом личных или объективных причин. Такая постановка вопроса исходит, собственно, от профессора. Дороти оперирует гораздо более упрощёнными взглядами и подаёт их аккуратно и красиво, как на подносе. Рассуждает она примерно так: поступай справедливо и никого не бойся! Это значит: я не ревностная посетительница церкви, я «внутренняя» христианка, и если моя совесть спокойна, значит, я нахожусь в полном согласии с самой собою и с Иисусом Христом! (Своего рода нравственная гигиена, вроде, скажем, чистки зубов по утру!)

Разговор трёх собеседников вертится главным образом вокруг того, что случилось два дня тому назад в подzemке. Дороти полагает, что все эти люди, в одну секунду потерявшие душевное равновесие и обезумевшие, лишены всякой внутренней опоры. Если бы у каждого из них был свой якорь, свой Христос, то даже в самую жестокую бурю якорный трос не оборвался бы и душа не упала бы за борт.

— Вы думаете, что среди этих обезумевших людей не было христиан? — спрашивает мистер Флагг.

— Были, но это христиане массовые. У них христианство не есть внутренняя связь с Христом, результат личного переживания.

Профессор Лоу уже изломал с полдюжины спичек, он буквально уничтожает их, всё не закуривая своей короткой трубки. Он, имеющий дело с тончайшими электродинамическими измерениями и изучающий закономерное соотношение между неточностями отдельных измерительных величин, т. е. проблему так называемого соотношения неточностей, просто не знает, как отвечать на такие путаные и невежественные высказывания. Однако он перестаёт ломать спички и говорит: — Я думаю, что первоначальной причиной паники было не то или иное устойчивое или неустойчивое психическое состояние, а тот общеизвестный и неопровержимый факт, что в настоящее время существуют управляемые на расстоянии летательные аппараты и атомные бомбы, а также и то, что к этим известным данным приплетают фактор неизвестности и неточности...

— А это и даёт толчок массовому психозу, — вставляет сотрудник газеты «Глоб».

— Самое главное и основное, — продолжает профессор, — следующее: люди должны снова научиться познавать объективную истину. Это тот якорь, который их будет держать, архимедова точка опоры, которая придаст стойкость их психике, в то время как субъективное переживание...

— Вы думаете, что существует истина для всех? — прерывает его миссис Дороти.

— Конечно, существует истина для всех — объективная истина. Её выражением являются законы природы, без которых мы никогда не узнали бы внутреннего строения атома и не имели бы ни атомного котла, ни самой атомной бомбы.

— Но разве эти знания помешали тому, что люди, введённые в заблуждение субъективным обманом, снова свели на нет эту истину? — горячится мистер Флагг. — Разве это помешало тому, чтобы наука об атоме превратилась в политический фактор власти?

— Довольно, Эл! — останавливает его миссис Дороти, которая считает особым шиком называть по имени молодых друзей дочери. — Прошу без политики. Здесь, на чистом воздухе, во время уикэнда надо забыть о политике! Вот вам первейший закон природы! Впрочем, вопросы войны и мира будут решены не атомной бомбой и не на конференциях, а совсем иным способом — перевоспитанием характеров. Я докажу вам это на моём эксперименте с кошками и крысами...

— Ради бога! — раздаётся вскрик мисс Фанни Кларк, которая сидит со своим дианетиком Бастером Панчем за маленьким столиком. — Если ты выпустишь своих крыс, я сейчас же уйду!

— Это ручные крысы, — любезно поясняет миссис Дороти, — нет никаких оснований бояться их. — Тётя Фанни вскакивает, затыкает уши и неистово кричит: — Крысы, крысы!

Мистер Панч нежно берёт её за плечи и что-то шепчет ей на ухо. Подходит изумлённая Френсис со своими друзьями. Хозяйку дома эта сцена, видимо, скорее развеселила, чем раздосадовала. Она продолжает свои объяснения: — У этих крыс прекрасные манеры, они очень хорошо воспитаны. У меня две кошечки и шестеро крысят, и я поместила их вместе в небольшой клетке тотчас же после их появления на свет. Они едят из одной и той же миски, играют между собою в одни и те же игры. Они быстро привыкли друг к другу, и теперь эти так называемые наследственные враги мирно уживаются вместе. Вот видите, это моя лепта в пропаганду мира! — с гордостью заключает миссис Дороти.

— Но ты не будешь их показывать! — протестует тётя Фанни.

Миссис Дороти кротко улыбается: — Да успокойся же! Жаль, конечно, что ты лишаешь наших гостей поистине прекрасного зрелища!

Дианетик Панч, опасаясь, как бы мужчины не заинтересовались демонстрацией крыс, мгновенно соображает, что настал его черёд высказаться. — Приходится удивляться, миледи, — обращается он к миссис Дороти, — с какой безошибочной интуицией вы поняли сущность нынешних метафизических волнений и всем нам присущего страха. Вашим экспериментом вы вплотную подошли, — разумеется, почти бессознательно — к эмбриональному первоисточнику. Нет, нет, не возражайте, миледи! Только в подсознании возникают правильные решения в выборе между добром и злом! Но эти первозданные решения, господа, эмбрионально обусловлены, — торжественно поучает дианетик.

— Долго мы ещё будем слушать подобную чушь? — шепчет доктор Бойл на ухо Френсис.

Френсис делает ему знак. Но только они собрались уединиться где-нибудь позади гостей, как раздался шум подъезжающей машины. Доналд привёз ещё гостей: Аду и своего приятеля — капитана авиации Уильяма Ферри. Все радостно приветствуют их.

Миссис Дороти предлагает сдвинуть все столы и продолжать беседу. Она очень рада приезду Ады. Во время таких приёмов Ада очень её выручает. В отличие от Френсис, вечно углублённой в обсуждение каких-то проблем, Ада умеет быть полезной и в кухне, и на террасе, и в гостинных и позаботиться о том, чтобы два праздничных дня протекли возможно приятней. К тому же Ада необыкновенно красива в широких коричневых брюках ковбойского покроя, с широким поясом — не хватает только тяжёлого кольца — и в яркоголубой шёлковой блузке, подчёркивающей бронзовый тон её кожи.

— Спасибо, Ада, что приехала... — Дороти кивает ей; Ада прекрасно знает, чего ждёт от неё хозяйка дома.

Тем временем на террасу собрали столы со всего дома и сдвинули вместе. Теперь мистер Панч с его эмбриональными первопричинами стучевался. Разговор перешёл на животрепещущую тему — о летающих блюдцах, и в центре внимания два лётчика. Герой дня — Доналд: ведь он сам преследовал одно из этих чудовищ. Да и Биллу Ферри, который с месяц назад пережил подобное приключение, тоже приходится выступать в качестве свидетеля-очевидца: — Но дело не только в летающих блюдцах, которые с огромной скоростью и мощностью подъёма прорезают теперь наше небо; вот Билл встретился недавно с другой разновидностью этих страшных гостей. Билл, слово за тобой!

В противоположность высокому, стройному Доналду капитан Ферри — коренастый, широкоплечий человек среднего роста, с невозмутимым, красным от виски или ветра лицом. Взгляд его устремлён в пространство. — Да, собственно, и рассказывать нечего... всё так, как оно есть... Но от этого положение не становится иным или более ясным. Расскажи мне всё это кто-нибудь другой, я бы прежде всего вылил ему на голову ушат холодной воды...

— Говорите, мы не обольём вас холодной водой, — заверяет его мистер Шерман, сидящий искусствовед.

— Итак, 30 мая, около 9 часов вечера, я вёл свой тяжёлый транспортный самолёт типа «Д. S. 6». Это было в Виргинии, в десяти километрах к западу от Маунт Вернон, на высоте 5 500 метров. Небо на западе было ясное, видимость хорошая. Вдруг я заметил впереди какой-то странный летательный снаряд примерно метров в сто пятьдесят длиною, напоминавший по форме освещённую подводную лодку или, простите, ещё вернее, огромную летающую сигару. Я хотел приблизиться к нему, но, повидному, моё намерение было разгадано, ибо аппарат круто изменил курс и сделал две мёртвые петли вокруг моей машины. Это было чи-

стое безумие: ведь моя машина шла со скоростью 500 километров в час. В здравом уме ни один пилот не решился бы на это.

— А самолёт, управляемый на расстоянии? — спрашивает мистер Шерман.

— На расстоянии уверенно маневрировать в узкой петле да ещё при скорости 500 километров в час!.. Просто невозможно! — поясняет Доналд. — Уже скорее можно было допустить, что лётчик сошёл с ума.

Профессор Лоу снова начинает доламывать последние спички — знак сильного волнения. — Каков был радиус кривизны, когда этот странный самолёт кружил вокруг вашей машины?

— Вряд ли больше ста метров.

— А его скорость?

— Я уже сказал: около пятисот километров в час.

— Итак, — резюмирует профессор, — вам, может быть, известно, что наибольшее центробежное ускорение, которое в состоянии выдержать человеческий организм, равно удесятерённому земному ускорению. Это значит, что скорость движения возрастает на сто метров в каждую секунду. Все предметы, включая, разумеется, и человеческое тело, становятся при этом в десять раз тяжелее, чем в состоянии покоя.

— И человеческое тело выдерживает подобное ускорение только тогда, — дополняет доктор Бойл, — когда оно находится в горизонтальном положении и ускорение происходит по вертикали. В противном случае нарушаются функции зрения и сознания, ибо кровь отливает от мозга в нижние конечности, на коже проступает кровь, капиллярные сосуды лопаются...

— Боже мой, как всё это страшно! — стонет тётя Фанни; однако она остаётся за столом и жадно прислушивается к разговору.

— Поскольку, — продолжает профессор Лоу, — наибольшее ускорение имеет место при виражах, а в данном случае наблюдаемый радиус кривизны составляет всего сто метров при скорости движения самолёта 500 километров в час, то ускорение, посильное для человека, превзойдено по меньшей мере в пять раз...

— И к какому выводу вы приходите? — спрашивает полковник Кеннеди, появляясь вместе с мистером Кларком на пороге столовой.

— Значит, для того, чтобы пилот при вираже мог управлять машиной, идущей со скоростью 500 километров в час, необходим был бы радиус виража, намного превосходящий сто метров; следовательно, машиной не управлял пилот.

— А если кабина герметически закрыта? — спрашивает Кеннеди.

— Ни пилота, ни кабины не было видно, полковник.

— Значит, всё-таки управление на расстоянии? — торжествует мистер Шерман. — Я читал, что в реактивные самолёты можно вмонтировать телевизионную установку, при которой человек, управляющий самолётом с земли, видит всё так, словно он сам сидит за рулём.

— Не говори ты так умно, Шерри! — под общий смех призывает его к порядку миссис Дороти; она стремится прекратить беседу на эту утомительную тему.

Но слово берёт мистер Панч. — Друзья мои, — начинает он, скользя взглядом карих бархатных глаз по возбуждённым лицам присутствующих, — весьма возможно, что обе гипотезы — самолёт, пилотируемый безумным храбрецом, и самолёт, управляемый на расстоянии, — неверны.

— А кто же им управлял? Марсиане? — насмешливо спрашивает Доналд.

Дианетик кротко вскидывает на него свои плюшевые глаза и продолжает: — Нет необходимости взбираться на Марс. Высочайший и глупчайший мир лежит в нас самих, мы сами ежеминутно создаём внутри

нас микро- и макрокосмос. *Omne vivum ex ovo*, всякая жизнь возникает из клетки яйца. Борьба, которая происходит в первичном эмбриональном организме, затем продолжается в послеутробной жизни.

— Уж не собираетесь ли вы утверждать,— прерывает его торжественную речь доктор Бойл,— что борьба народов и процесс развития эмбриона — одно и то же?

— Это и есть одно и то же, милостивый государь,— снисходительно улыбаясь, отвечает исследователь глубин жизни.— Если в матке нет дисгармонии и борьбы, то нет их и на этой земле. Без демонического начала, зажатого в яичной оболочке эмбриона, не было бы демонической жажды взорвать атмосферную оболочку земли и проникнуть в стратосферу. Друзья мои,— Панч придаёт своему голосу торжественное звучание, почти приближающееся к рокоту органа,— люди ныне в страхе и надежде возводят очи к небу и видят там предметы, реальность которых кроется в недрах души человеческой...

— Что вы хотите сказать, мистер? — раздаётся резкий голос Кеннеди.— Что неизвестные самолёты, замеченные авторитетными специалистами,— это обман?

— Что вы, полковник Кеннеди! — останавливает его миссис Дороти, ласково взглянув на него.

Сам мистер Панч легко отбивает эту грубую атаку:— Нет, не обман. Всё, что хотите, но только не обман! Скорее проекция нашего космического внутреннего страха на небосклон, подобно тому как в прежние времена людям являлись в небе, как предвестники войн и катастроф, различные знамения: огненные шары, семисвечные светильники, хвостатые кометы, пылающие мечи...

— Вот именно, так и есть! — вся трепеща от волнения, вставляет тётя Фанни.

— Ну, друзья мои, довольно! — приказывает миссис Дороти.— К столу! У меня уже пылающие мечи под ложечкой!

Все встают и следуют за хозяйкой дома.

За столом Дороти устроила так, что по правую руку от неё сидит полковник Кеннеди, а по левую — её второй друг, искусствовед Шерман. Кеннеди — беспомощный «большой ребёнок»... — ведь он потерял руку,— и Дороти, как она старается уверить себя, должна печься о нём, точно ласковая мать, исполняющая все его желания. А Шерман, он же Шерри, этот ловкий журналист, неплохо устроился у богатой и влюбливой женщины. Он одержим каким-то маниакальным пристрастием к предметам из свиной кожи. И в первую пору своей любви Дороти буквально «переплела» его в свиную кожу: одарила чемоданами и чемоданчиками, массивным портфелем, дорожным несессером из свиной кожи, даже японскими мечами в ножнах из свиной кожи. Френсис довольно зло величает его «Шерри — свиная кожа».

Шерри, со своей стороны, охотно поддерживает связь с этой всё ещё красивой и статной женщиной. Он убедил её, что она обладает замечательным, «первобытно-свежим» художественным вкусом; он сделал её покровительницей, ангелом-хранителем выдвигаемых им автором модных пьес; он показывается с ней на всех премьерах, что создаёт ей славу тонкого ценителя искусства. А Дороти познакомила его с фешенебельными курортами Флориды; эта зрелая женщина с её «первобытной свежестью» предъявила такие требования к Шерри, который чувствует себя гораздо увереннее в журналистике, чем в любовных делах, что он не возражал, когда в один прекрасный день эта пылкая Юнона начала делить свои чувства между ним и полковником авиации. И так как мистер Кларк, её супруг, «сбóит» не каких-нибудь два миллиона, а целых двести, она слывет не любовницей своих друзей, а лишь меценат-

кой, дамой высшего света, которая вправе предъявлять к жизни большие требования. В качестве великосветской дамы она наперекор всяким ханжеским женским союзам стоит в центре «общества» и в то же время не ограничена законами этого общества; она независимая личность, на голову выше всех остальных — так, по крайней мере, кажется ей самой.

Дороти усвоила себе — как свою особую личную нотку — ту бесцеремонную прямоту, ту почти животную непосредственность, которую она выдаёт за честность. Это, разумеется, ей удаётся. В этом отношении она вне конкуренции.

Вот она сидит за длинным столом между своими двумя любовниками, а на долю её мужа выпала честь занять место рядом с одним из её кавалеров — полковником. Пока что Дороти очень довольна тем, как протекает уикэнд: она счастлива, что оба её друга находятся в такой ощутимой близости к ней. Правда, в последнее время она всё своё внимание уделяет Кеннеди. Его внезапные вспышки раздражения тотчас же отзываются на её нервах и повергают её в состояние тревоги. Кей — она любительница таких фамильярных сокращений, — Кей, что называется, — «трудный случай». Он далеко не покладистый друг. Не в меру пьёт и время от времени теряет над собой всякую власть. Вот и сегодня он хватил через край. Пьёт, как воду, крепкую мадеру. Форель, усеянную розовыми крапинками, он топит не в горячем масле, а в белом бургундском, которое глушит стаканами, точно умирает от жажды.

— Спокойнее, дорогой! — шепчет она. — Что случилось? — Она тихонько пожимает его ногу.

Он смотрит на неё возбуждённым, яростным взглядом, говорящим не о любви, а о каком-то ином, неистовом волнении. — Надо было тебе затащить меня в это общество прихлебателей, этих полукретиннов! — шипит он. — Это агенты... они утверждают, что летательные снаряды, пущенные русскими, — одна лишь игра воображения!..

— Молчи, Кей, прошу тебя... никто этого не утверждает!

— Никто? — Он указывает на дианетика.

Дороти быстро схватывает его руку и пригибает её книзу; в отчаянии она крепко прижимается коленом к его колену. Но Кеннеди налитыми кровью глазами смотрит на маленького психотерапевта, который благоразумно не обращает никакого внимания на полковника авиации. Миссис Дороти встаёт, кивает мужу. — У меня разыгрывается мигрень, — говорит она так, чтобы все слышали. — Ничего, через четверть часа всё пройдёт. — Френсис хочет проводить её, но Дороти отказывается от её помощи: — Пожалуйста, оставайся здесь!

Кларк отводит её в верхний этаж, в маленькую гостиную. Он приносит ей ароматическую воду и хочет опустить занавески на окна. — Это не мигрень, — объясняет она ему, — я свежа, как рыба в воде, но когда Кеннеди теряет всякую власть над собою...

Полковник, который последовал за ними, вспыхивает: — Извини, но если эта серая крыса заявляет, что машины, летающие к нам с востока, — это мираж, и ещё издевается над тем, что наша страна в опасности...

— А у вас есть основания предполагать, что эти летающие предметы пущены русскими? — спрашивает Кларк.

— А кем же ещё? Кто ещё заинтересован в том, чтобы летать над нашей территорией, фотографировать целые районы и в один прекрасный день сбросить на нас атомную бомбу? Кто уже теперь повергает в панику население, для которого ещё не заготовлено достаточное количество бомбоубежищ? Кто? — рычит он. — Скажите сами, кто? — Он опускается в кресло возле кушетки, на которой лежит Дороти, и закрывает глаза рукой.

Дороти делает знак Кларку, чтобы он оставил её одну с полковником, который дрожит, как в ознобе. Вдруг Кларка, словно электрический

ток, пронзает идея. Бредовые слова лётчика, как искра, западают в сознание и зажигают целый рой мыслей. Необходимо тотчас же поговорить с дядей Джошем.

Кларк, как и ожидал, находит дядю Джоша в курительной, за шахматами. В одной руке старик держит ломоть белой сердцевины кокосового ореха, который размалывает своими всё ещё крепкими зубами. Как уже было сказано, старый Джош принадлежит к «растениеядным» — той разновидности вегетарианцев, которая питается исключительно кокосовыми орехами и некоторыми другими плодами, да ещё в сыром виде. Этим они надеются очистить отравленный трупами животных человеческий организм. Подобно всем людям, которым даровано, как они думают, «высшее знание», они возводят свою медицинскую теорию в религию: они отказываются даже от яйца как пищевого продукта: употребление яйца равносильно убийству зарождающейся жизни. Что касается старого Джоша, младшего брата матери Кларка, то надо сказать, что он отнюдь не производит впечатления проповедника голода. В свои семьдесят лет это сильный, почти атлетического сложения человек, ростом почти в два метра, с крепким лысым, величиной с среднюю тыкву черепом. В деловом мире старик Джош — комбинатор крупного масштаба, а в личной жизни он сосредоточил свои интересы на двух вещах: игре в шахматы и пропаганде «кокосовой диеты». Под эту последнюю он даже пытался подвести теорию, основанную на принципах физиологии и политической экономии. Человек, утверждал старик Джош, половину своих сил и времени, дарованных ему для труда и жизни, тратит на то, чтобы заработать себе на пропитание, на приём и удаление пищи из организма. Если бы удалось найти действительно рациональную пищу (а кокосовый орех подходит под эту категорию), все составные части которой без остатка усваивались бы организмом, то время, уходящее на заработок и приём пищи, сократилось бы вдвое; третий же момент — выделение «отходов» — и вовсе отпал бы. Конечно, держатели ресторанов, фабриканты унитафов и туалетной бумаги подняли бы крик. Да и врачи с негодованием вопрошали бы: что же, так и отмереть части кишечника? Но нельзя же без жертв. И история знает перевороты менее крупного масштаба, когда короли лишались головы. Старик Джош, во всяком случае, считает, что его теория открывает новую эпоху.

Нельзя, однако, умолчать здесь о том, что на старика Джоша, который обычно по целым неделям не покидает своей комнаты, напоминающей пещеру Робинзона, вдруг иногда находило желание постранствовать, и тогда на его дверях появлялась записка:

«Уехал на неделю».

Повидимому, по чистой случайности один из деловых друзей мистера Кларка встретил однажды вечером в дорогом ресторане в столице соседнего штата дядю Джоша в обществе молодой дамы. К столу были поданы индейка и седло косули, не говоря уже о паштете из печёнки и разных закусках.

Но теперь Кларк застаёт дядю за скромной трапезой: старик жуёт кокосовый орех. Кларк всё ещё взволнован мыслью, как молния вспыхнувшей в его мозгу во время истерического припадка Кеннеди.

— Прости, что я помешал тебе обедать, дядя, — начинает Кларк. — Мне нужен твой совет.

Старик Джош внимательно изучает шахматную доску; судя по расположению фигур, это эндшпиль. Он кивает Кларку.

— Ты знаешь, — продолжает Кларк, — что заказы на наши стальные бомбоубежища, огнеупорные гаражи и прокатные плиты сократились; армии теперь нужны бронированные плиты совершенно иной сопротив-

ляемости. Да и сырѐ нам всё урезавают. А скоро скажут своё слово и банки.

— А как обстоит дело с твоей недвижимостью и доходными домами? — спрашивает дядя Джош, который всегда был врагом подобного помещения капитала.

— Этот вопрос, дядюшка, с таким же успехом мог задать мне и кто-либо другой, — отвечает Кларк и кладёт перед стариком обе анонимные телеграммы.

Дядя Джош берёт их в свои массивные руки и читает, засовывая в рот новый ломоть кокосового ореха. — И собака же этот Джордж!

— Он думает, что мне уже крышка! — негодует Кларк. — Да как бы не так! — Его мысль делает скачок, и он сразу приступает к делу: — Ты ведь слышал, что над Штатами всё чаще стали проноситься какие-то странные предметы вроде летающих блюдец или тарелок? Вчера Доналд поднялся в воздух и погнался за таким чудовищем, — но у этих грсмадин невероятная скорость; кроме того неизвестно, откуда и куда они летят. Но вот полковник Кеннеди только что заявил, что их засылают к нам с востока, от русских.

— Доказательства?

— А кто же ещё может это делать?

Старик молча дожѐвывает сухой кокосовый ломоть.

— Позавчера в подzemке во время короткого замыкания возникла паника; кто-то крикнул: «Русские бросают бомбы!» Мне кажется, городскому муниципалитету и правительству пора бы вмешаться в это дело, раз угроза с каждым днём надвигается ближе; надо, чтобы граждане снова чувствовали себя в безопасности, не то...

Старик раздражается громким хохотом: — «Чтобы чувствовали себя в безопасности!» Ох, дорогой мой, и к чему тебе держать перед старым дядей такие глупые речи! Ведь это хорошо для публики... Ну, не обижайся, ты просто оговорился! — Он делает ход на шахматной доске и продолжает: — Ты хотел сказать: чтобы чувствовали себя в опасности? Что надо поиграть на нервах этих созданий, отравленных мертвечиной и мочево́й кислотой? Не так ли? — Он смотрит в упор на племянника.

— Конечно, — говорит Кларк, — прежде всего надо неопровержимо доказать им, как необходимы наши стальные убежища на случай появления атомной бомбы или радиоактивных облаков...

— Примерно в таком роде:

ЛУЧШЕ 3 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ ЗА СТАЛЬНОЕ БОМБОУБЕЖИЩЕ ФИРМЫ «СКК», ЧЕМ 300 ДОЛЛАРОВ ЗА КРЕМАЦИЮ И УРНУ!

Или:

ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЗАСЕВШИЕ В СВОИХ ПОМЕСТЬЯХ! МЫ, ГОРОЖАНЕ — МИЛЛИОНЫ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ И РАБОЧИХ, — ТОЖЕ ХОТИМ СПАТЬ СПОКОЙНО!

И ещё:

ЖИТЬ — ЗНАЧИТ НЕ ДУМАТЬ О СМЕРТИ! ПОЛОЖИЛ ЛИ ТЫ УЖЕ В КАРМАН КЛЮЧ ОТ БОМБОУБЕЖИЩА ФИРМЫ «СКК»?

Так надо начинать. И, конечно, сопроводить фотоснимками пылающих городов и мечущихся женщин и детей. — Идея Кларка явно расшевелила старика: — Поскольку я знаю Дороти, у неё тут, должно быть, гостят и какие-нибудь газетчики?

— От «Демократик Глоб» и «Дейли Ситизен».

— Нельзя ли доставить сюда и повара из «Уолдорф Астория»? — оживлённо предлагает старик Джош. — Вот прочти, что напечатано в «Гаймс»: «Город Нью-Йорк продвинулся ещё на один шаг в своих приготовлениях к возможному воздушному налёту. Девять поваров-францу-

зов из «Уолдорф Астория», «Астор» и «Савойа» и с ними пятьсот других добровольцев поступили на курсы по подготовке кухонного персонала на случай бедственного положения. Кухонный персонал на глубине тридцати метров под землёй...» Вот то настроение, которое нам нужно! Только немного поддать жару! — Он уронил две фигуры с шахматной доски и снова поставил их на место. — С меня-то довольно трёх кокосовых орехов, молоточка и ножа. А теперь зови этих молодцов, представителей прессы, живо!

Обед тем временем кончился. Гости снова переходят на террасу, где им подают кофе.

Убедившись, что Кеннеди спит наверху глубоким сном, Дороти начинает обдумывать, что бы ей устроить для своих гостей. Что-нибудь из ряда вон выходящее, такое, что могло бы попасть в вечерние газеты и журналы! Что, собственно, даёт право тётке Фанни — чёрт бы её побрал! — этой неудовлетворённой старой гусыне, запрещать ей, Дороти, демонстрировать «конгресс мира» — прирученных кошек и крыс? Эта кисло-сладкая старая дева вечно брюзжит, вечно порицает Дороти за её образ жизни. Америка — котёл, где выварились все нации, но она считает себя чистокровной, стопроцентной американкой, прямым потомком тех англичан, которые свыше трёхсот лет тому назад прибыли сюда на трёхмачтовом судне «Мейфлауер» и ступили на новый континент. Иной раз, когда Дороти приходится из-за всяких пустяков пререкаться с заносчивой старой мумией, она готова задрать юбку и показать этому полутрупы свои могучие бёдра.

Да, она продемонстрирует своих крыс и котят! Даже если тётка Фанни лопнет от злости.

Она быстро договаривается с Адой. Она знает, что Ада любит животных и не боится крыс, с которыми она в дружбе. Нынче так много говорят о мире. Она, Дороти, докажет, что даже такие «враги», как крысы и кошки, могут жить в мире друг с другом, если с самого начала приучать их к этому. Ада тем временем пересаживает крыс, превратившихся уже в больших, жирных зверёнышей, из проволочной клетки в закрытую бельевую корзину, а Дороти суёт подмышку двух серых сиамских кошек. Обе женщины незаметно входят на террасу, где группа гостей, окружив офицеров-лётчиков, снова ведёт оживлённый разговор о таинственных летающих предметах.

— Друзья мои! — громко говорит Дороти. — Разрешите предъявить вам в самый разгар ваших воинственных речей живое свидетельство мира! — И она опускает на землю жирных сиамских кошек.

Все с любопытством наблюдают за тем, как Ада ставит на каменные плиты пола бельевую корзину, снимает с неё крышку и опрокидывает её; шесть длиннохвостых крыс выскакивают оттуда и начинают снова по террасе.

Среди застигнутых врасплох гостей поднимается страшная суматоха. Хотя миссис Дороти во весь голос заклинает присутствующих сохранять спокойствие, так как зверьки приручены и в высшей степени добронравны, толстуха Сюзанна и Френсис с диким визгом залезают на стол. А за ними — рыцарь Шерри, вскочивший на стол с таким видом, будто он, как галантный кавалер, хочет лишь помочь дамам, и даже профессор Лоу, подавшийся какому-то смутному порыву. В мгновение ока большинство гостей очутилось на обеденном столе, который грозит вот-вот опрокинуться; все кричат, все размахивают руками: — Что за шутки! Эти твари кусаются! Крысы разносят чуму! Смотрите, вот одна лезет на стол! Доналд, да где же ваш револьвер?

Крысы, спокойные в обычное время, обезумели от поднятой людьми суматохи; они сами охвачены страхом и, как одержимые, мечутся из

стороны в сторону. Они ищут спасения у сиамских кошек, с которыми так долго дружили, но и те потеряли равновесие от людского крика. Одна из кошек хватает подбежавшую к ней крысу и, держа её в зубах, прыгает на стул, а оттуда на стол; оба офицера, несмотря на бурные протесты Дороти, пытаются прикончить крыс, швыряя в них табуретки и топчя их ногами.

В это мгновение в дверях столовой появляются тётя Фанни и мистер Панч. Они услышали шум и поспешили на террасу, опасаясь какого-нибудь несчастья. Между тем кошку с крысой, которая пищит у неё в зубах, согнали со стола; она прыгает со стула на стул, и тётя Фанни, повидимому, предстаёт перед ней, как посланец судьбы: прыжок — и кошка, всё ещё с пищущей крысой во рту, уже на плече у тёти Фанни; она прижимается, ласкаясь, к её щеке, а крысиный хвост бьёт тётку по губам. Всё это длится не больше двух секунд; тётя Фанни, как сражённая молнией, падает без чувств в объятия дианетика, а кошка с крысой во рту убегает через столовую.

Вторая кошка и остальные крысы тем временем тоже удрали через столовую и балюстраду террасы. Только одна крыса в отчаянии ещё мечется по стульям и по полу. Доналд загоняет её в угол и растаптывает ногой.

Сюзанне дурно. Френсис выводит её на воздух. Мужчины также уходят в парк. Извиниться теперь перед хозяйкой — это значило бы ещё больше подчеркнуть неудачу её затей.

Миссис Дороти с Адой остаются одни на террасе; хозяйка дома оглядывает опрокинутые стулья и раздавленных крыс в углу. — Я хотела познакомить людей с моим «мирным экспериментом», но если они сошли с ума и не хотят ничего видеть... — говорит она обиженно и, указывая кивком головы на растоптанную крысу, добавляет: — Распорядись, пожалуйста, чтобы это убрали. — И уходит через столовую.

Ада ещё не пришла в себя. Что это было: смехотворное или страшное видение? Как могут разумные люди так поддаваться панике? Она думает о том, как вели бы себя в подобном случае её отец, или Джин, или дядюшка Эрнест. Прежде всего, конечно, у них нет достаточного досуга, чтобы заниматься приручением крыс, и им никогда не пришлось бы в голову показывать «мирный эксперимент». Что постоянно твердит ей дядюшка Эрнест, когда она рассказывает ему о своей интересной работе в конструкторском бюро? «Всё это превосходно, Ада, но не верь ни одному их слову, они только о том и помышляют, как бы околпачить нас».

А сам дядюшка Эрнест, который собирает подписи в защиту мира? Будет ли от этого больше пользы? Дело тут шекотливое! Джин говорит, чтобы она в это не путалась и держала язык за зубами. Он лично не имеет никакого желания вылететь со службы из-за этих подписей. В самом деле, у простых людей и без того дела по горло, а если ещё пополнять своё образование на вечерних курсах, то и совсем не остаётся времени для всяких затей, вроде сбирания подписей или «мирных экспериментов».

Дороти поднимается вверх, в свою комнату. Эксперимент не удался. Пусть так! Во всём этом только одна радость: тётя Фанни со своим эмбриональным целителем душ действительно тотчас же покинула дом и вернулась в город. Мир праху её!

Возле кушетки она натывается на бутылку. Она поднимает её вместе со стаканом: ром! Бутылка наполовину пуста. Дороти не задумывается над тем, откуда она тут взялась. Ей на всё наплевать, в душе пустота, нет ничего. Она наполняет стакан и залпом выпивает неразбавленный, крепкий, пряный напиток, который полагалось бы пригото-

вить с лимоном, сахаром и горячей водой... Аромат... огонь... тепло бежит по жилам. Совсем другой мир. Она смотрит на этикетку с головой ямайского негра и ещё раз наполняет стакан.

Что это? Что тут лежит, закутанное в одеяло?

Ах, да! Но как смеет этот человек вытрезвляться у неё здесь, наверху, в то время как внизу над ней издеваются! Почему он ещё в её комнате? Она в ярости срывает плед с Кеннеди, приподымает его прежде, чем он приходит в себя, с кушетки, потом снова с силой швыряет обратно.

И сама бросается к нему.

Глава четвёртая

ВЕЛИЧАЙШАЯ ОПАСНОСТЬ. АДА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

В небольшой курительной комнате перед шахматной доской старика Джоша беседа сначала ведётся в более спокойном тоне, хотя и тут обсуждается всё та же проблема. Джош, эта старая лиса, издалека начинает разговор: он, мол, неисправимый старый отшельник; на старости лет он забавляется королевской игрой на шестидесяти четырёх полях, но он не прочь воспользоваться случаем и получить от представителей двух крупных газет информацию о мировой игре, если только господу журналисты считают этот вопрос заслуживающим внимания.

— Вопрос этот, к сожалению, не только заслуживает внимания, — заявляет Шерман, — он внушает серьёзную тревогу! Такие писатели, как Торнтон Уайлдер, Аннуйль и Сартр, уже давно сигнализировали об опасности. Перед надвигающейся катастрофой бытие само себя отрицает; человек уже не есть исторически сложившийся вид, не есть существо общественное, ибо его существование уже прекратилось, поскольку человеческий ум открыл способ тотального уничтожения.

— Вы хотите сказать, что мы идём к мату? — спрашивает старик.

— Этот мат внутри нас! — поправляет его Шерман. — Ведь о том, что вне нас, мы ничего не знаем.

— А что это за летающие предметы, о которых вы только что слышали от наших лётчиков? — спрашивает Кларк, испытывая неловкость перед дядей за чушь, которую несёт Шерман, и пытаясь навести его на нужную тему.

— А что мы фактически знаем о них, мистер Кларк? Скажите! Мы и в этом случае можем лишь установить, что не обладаем объективным знанием, что все эти явления — порождение нашего космического мирового страха.

Эл Флагг, младший из журналистов, повидимому, уже сыт по горло всей этой ерундой; он задорно говорит критику-экзистенциалисту: — Космический страх, коллега, — это превосходно! Но для меня, простака, вполне достаточно того, что произошло в Хиросиме, или, например, паники в подземке. Это существует независимо от моей благородной души.

Язык у него хорошо подвешен, думает Кларк. А дядя Джош, с целью испытать молодого человека, лениво вставляет, что со словом «паника» надо обращаться несколько осторожнее. Но Флагг с горячностью возражает: — Надо иметь мужество называть вещи своими именами! Паника не возникает сама собой. Должна же быть какая-нибудь причина, реальная или выдуманная, одно из двух!

— Одно из двух? Гм! Но вы же писатель и журналист, ваш долг — бороться против этого.

— Каким образом?

— Надо указать на огромную опасность, которая угрожает нам.

— Надо преподать людям правила поведения, — вмешивается

Кларк,— не поить бромом или подобной чепухой, когда речь идёт об атомных бомбах и о воздушных торпедах.

Он перелистывает журнал «Лайф» и находит статью «Как мне вести себя во время воздушного налёта?». Кларк показывает её журналистам и, водя указательным пальцем по строкам, читает: — Вот что тут пишут: «Укройся под деревом! Беги в ближайший подъезд! Не выглядывай из окна, если взрыв произойдёт поблизости! Атомный огненный шар в течение двух секунд вспыхивает и развивает тепло до миллиона градусов — ты сгоришь, а от взрывной волны в лицо тебе полетят осколки оконных стёкол!»

— Какая чепуха, какой преступный дилетантизм! — негодует Флагг.

— Вот видите, — замечает Кларк. — Надо, значит, написать статью совсем по-иному.

— И не откладывая! — заявляет Шерман, почуяв добычу.

— Но не вам, с вашими космическими бреднями! — осаживает его Кларк. — Люди должны понять, что им хотят помочь, серьёзно помочь. Мы вложили много денег и труда в наши огнеупорные бомбоубежища. Я сам засяду в такое убежище, когда начнётся...

— Это, конечно, было бы оригинальной иллюстрацией к оригинальной мысли, — пытается исправить свою ошибку Шерман. — «Мистер Кларк, лёжа на походной кровати, при температуре снаружи в миллион градусов, в безопасном кларковском бомбоубежище, читает наш «Дейли Ситизен».

— Ошибаетесь, коллега, — прерывает его Флагг. — В такую минуту мистер Кларк, чтобы занять свой ум, будет читать «Демократик Глоб». А снаружи — ад крошечный, разваливаются небоскрёбы, плавится земля...

— У молодого человека неплохое воображение! — говорит старик Джош. — Он и напишет статью. Для начала он получит триста долларов.

— Благодарю. Но я не знаю...

— Чего?

— Гожусь ли я...

— На то, чтобы быть полезным своей стране?

— И ещё кое на что...

— Именно?

— На то, чтобы создавать панику...

— Вот что, мой юный друг, — говорит старик Джош, отламывая своими массивными руками кусок кокосового ореха, — вы правильно сказали: создавать панику... Но известно ли вам, что вы ещё создадите при этом? Нечто отнюдь не маловажное. Работу! Вы создадите работу для десятков тысяч рабочих, заработок, обеспеченность, благосостояние! Будем говорить откровенно, как подобает здравомыслящим людям: если бы не Корея, у нас было бы ещё миллионом безработных больше; а если бы не поставка оружия для Атлантического блока и европейских армий, их прибавилось бы ещё два — три миллиона. Думается, что и вы, друзья мои, остались бы без работы: ведь не было бы газет, печатающих ваши космические статьи, не было бы переполненных театров, вечеров и приёмов. Ведь вот как обстоит дело!

От этих грубых откровений как бы разрывается завеса и обнажается вся подоплёска. Флаггу уже давно надоели эти дьявольские рассуждения. Он мог бы опровергнуть их сотнями доводов, готовых сорваться у него с языка, но он знает, что попал в опасный водоворот и что ему ничего не остаётся, как нырнуть и поплыть. Поэтому он пока помалкивает. На его счастье, теперь разливается соловьём коллега Шерман; он высказывает мнение, что паника является мощным двигателем современной жизни, что кларковские бомбоубежища ввиду грядущего светопреставления становятся единственным пристанищем под градом бомб — русских бомб, если он правильно оценивает положение.

«Многовато же ему понадобилось на это времени при его уме!» — думает Кларк.

«Иной раз собственный ум служит человеку помехой», — думает Шерман.

Теперь, сдвинувшись с мёртвой точки, они быстро договариваются о технической стороне дела: о размере и расположении статей, об иллюстрациях, об использовании телеграфных агентств, радио, телевидения. Какая, оказывается, фантазия у всех этих господ, просто удивительно! Словно вырвались наружу какие-то скрытые силы... Какой фейерверк мыслей в них, как загораются и молодеет старик Джош, какие остроумные советы он даёт! Можно подумать, что это азартные игроки стоят со своими жетонами в полночь вокруг рулетки, делая последнюю ставку.

Эл Флагг участвует в игре. Он хорошо знает, что значит выйти теперь из игры. А что означает быть участником в этой игре?

Кларк выходит на террасу с обоими журналистами. Он распрямляется и глубоко вдыхает воздух. Его жизнь, долгие месяцы стоявшая на точке замерзания, вдруг получила новый импульс. Он должен проветриться. Вечерняя прохлада манит на лоно природы.

— Верхом ездите, господа?

«Ох, эти чернильные души!» — мысленно восклицает Кларк, когда оба журналиста отвечают на его вопрос отрицательно.

На лужайке он встречает Доналда с его приятелем, доктора и обеих девушек. Все готовы участвовать в прогулке верхом. Великолепно! Френсис бежит за брюками для себя и Сюзанны. Доктор Бойл тоже собирается на прогулку.

Лошадей быстро седлают и выводят из конюшни. Кларк вскакивает на сильного ирландского жеребца, каждодневно объезжаемого конюхом; Доналду, Френсис и Аде тоже достаются знакомые им лошади. Сюзанне подводят кобылу в яблоках; это одна из лошадей миссис Дороти; на второй — гнедом венгерском жеребце — ездит только она сама. Последнюю лошадь — высокую, нервно приплясывающую полукровку — капитан Ферри охотно уступает доктору. Кавалькада, возглавляемая мистером Кларком, с доктором Бойлом в хвосте, направляется лёгкой рысью к лесной дороге. Скоро всадники разделяются на пары. Пока дорога идёт лесом, кони сохраняют порядок, хотя лошадь доктора приплясывает и, играя трензелем, всё время стремится выйти вперёд. В поднимающемся с земли тумане Френсис с доктором едут конь о конь и беседуют. По мнению Френсис, только «немая природа» многое говорит человеку, а вся эта сегодняшняя болтовня — лишь пустое сотрясение воздуха. Да, она понимает, что теперь нельзя жить в дремучих лесах. Но вся эта война нервов — просто бред и безумие! Мир полон людей доброй воли.

— Да, повсюду люди доброй воли, — небрежно бросает доктор. — Одни готовы работать, а другие — наблюдать, как те работают.

Даже добряк-доктор сегодня не в духе, думает Френсис. Жаль!

А впереди Доналд говорит Аде: — Скучно двигаться таким темпом. Хотелось бы проскакать с тобой через луг наперегонки. Кто первый доскачет до барьеров?

— Нам нельзя отделяться от остальных.

— Ты не хочешь?

— Может быть, завтра...

Нет, сейчас ей не хочется состязаться с Доналдом. Ведь она, когда пускается вскачь, не знает удержу. Она просто теряет голову, когда конь мчится во весь опор. Она выматывает у него последние силы. Весь в мыле приходит он потом во двор, а конюх читает ей нравоучения. Она всё это знает наперёд. Доналд всегда был честолюбив. На войну-то он попал «с опозданием» и получил всего одно отличие, тогда как другие едва могли вместить свои кресты и медали в орденскую колодку.

Вот и луг.

Кларк пускает жеребца галопом. Увлекаемые широким простором, кони скачут во весь дух; кобыла доктора Бойла несётся стрелой, обгоняет остальных и наконец скачет бок о бок с жеребцом Кларка.

— Ого, доктор! — кричит Кларк. — Отпустите поводья! Впереди забор!

Доктор Бойл неплохо ездил верхом, когда был студентом; он понимает предостережение Кларка. Но кони чувят, что конюшня близко. Хорошо тренированные, они перемахнули через забор и останавливаются перед скаковым кругом.

— Все в сборе? — проверяет Кларк. — Прыгать со мной будут только Доналд и Ада.

— Ну, папа! — протестует Френсис.

— Я знаю, что говорю, Френсис. Итак, пошли!

Обиженная Френсис возвращается с Сюзанной домой. Доктору Бойлу хочется посмотреть на прыжки. Он туго натягивает трензель своей тапцующей кобылы, которая рвётся домой. Внезапно она вскидывает голову, становится на дыбы, снова опускает копыта и галопом несётся к конюшне.

Всё это совершается с такой быстротой, что доктор даже не замечает, когда и как он потерял стремяна, которые быют скачущую кобылу по бокам.

Понесшая лошадь — всё равно, что сумасшедший: ей нет удержу, она кинется и в непроходимую лесную чащу, и на стену, и на запертые ворота конюшни.

Доналд первый замечает, что лошадь доктора понесла. Он изо всех сил кричит что-то Бойлу. Ада, только что взявшая небольшой ров, перехватывает встревоженный взгляд Доналда. Она рывком поворачивает свою лошадь. Ей ясно, что есть только одна возможность: по прямой линии пересечь луг и огород, чтобы преградить лошади Бойла путь на повороте дороги. Ада пускается вскачь. Слово «огород», может быть, звучит здесь очень невинно. Но он обнесён забором из заострённых железных кольев, через который нужно дважды перескочить с короткой дистанции. Ада не задумывается над этим. Она видит скачущую лошадь на повороте дороги, заставляет свою лошадь дважды перемахнуть коротким прыжком через забор и вылетает на дорогу метрах в десяти от Бойла. Она осаживает дрожащего коня и уверенным движением хватает взмыленную кобылу Бойла под уздцы. Затем оба коня, покрытые пеной, фыркая, крупной рысью возвращаются к конюшне, где конюхи и Мак подхватывают их. Едва Ада и доктор спешили, как во двор въезжают и остальные.

Кларк тотчас же набрасывается на конюха: — Когда кобылу объезжали в последний раз? — И конюх вынужден сознаться, что последнюю неделю она не была под седлом. Кларк обращается к доктору: — Вы не виноваты, мистер Бойл. Извиняться надо мне. Когда лошадь взбесилась, понесла, — дело нештучное. Это могло буквально стоить вам головы.

— Ну, голова у меня не стеклянная, мистер Кларк.

— Да, но эта вот стена каменная, а стойки у ворот дубовые! — возражает Кларк. — Так или иначе благодарить мы должны Аду!

— Ах, простите! — спохватывается доктор Бойл и подаёт ей руку. Лицо у Ады блестит, как медь. Она подходит к своей вспотевшей лошади, чтобы поводить её по двору, прежде чем её расседлают.

После ужина, когда Дороти, сославшись на мигрень, уходит к себе, молодёжь забирает одеяла, подушки и располагается на свежем воздухе под «пятью дубами». Из хвороста и старых просмоленных шпал раскладывают костёр: дым отгоняет комаров. Решено, что каждый расскажет какой-нибудь случай из своей жизни. Пятидесятилетний доктор Бойл, который оказался как бы в плену у молодёжи, должен начать первый,

но по возможности не так: «Когда я ещё был врачом в Северном Канзасе, ко мне пришла старуха, которую забодал олень...»

Но доктор возражает: — Что же другое может рассказать врач? Ведь именно врачами сочинены самые лучшие сказки о человеческих недугах. Горазды они выдумывать! Разве только некоторые политические деятели превзошли их в этом.

— Ради бога, не надо политики! — умоляет Френсис.

Доналд и капитан Ферри бросают в огонь ещё две деревянные шпалы. Целый сноп искр взлетает к тёмным вершинам дубов; все смотрят на пылающий огонь. Доктор начинает свой рассказ.

Повесть о гороскопе и картине Тициана

В 1944 году он работал врачом в лагере немецких военнопленных, размещённом на бывшем стадионе. Среди военнопленных был пожилой, совсем уже седой немец, обер-лейтенант. Бывало, он часами просиживал неподвижно на верхних ступеньках стадиона и, не обращая внимания на толчею внизу, не отрываясь, глядел вдаль. Всем своим видом он напоминал хищную птицу в гнезде. Это был берлинец Р., известный торговец произведениями искусства. Однажды ночью, когда доктор Бойл пришёл в лагерь навесить тяжело больного, Р. преградил ему дорогу и взволнованно спросил, верит ли он, врач, в астрологию, в предсказания по звёздам. Прежде чем Бойл успел ответить на столь неожиданный вопрос, Р. взял его за руку, привёл в своё гнездо и поведал ему следующее:

Дело было в начале августа 1939 года, в дни, когда чаша весов ещё колебалась между войной и миром. Как раз в то время у него на руках был небольшой, но бесспорный Тициан, запроданный им в Нью-Йорк; доставить туда картину он обязался к 1 октября и там же должен был получить за неё деньги.

«Когда опасность войны приблизилась, — рассказывал Р., — я решил посоветоваться с моей женой, женщиной очень умной, отвезти ли эту ценную картину тотчас же в Нью-Йорк или же подождать, так как из-за паники места первого и второго классов на всех пароходах были распроданы за много недель вперёд. Картину можно было бы поместить у знакомых в Женеве. Моя жена не верила в возможность современной тотальной войны; это, видите ли, казалось ей нелогичным: ведь даже так называемые капиталисты не заинтересованы в хаосе. Вопрос был только в том, рассуждают ли государственные деятели так же логично, как моя жена. Кроме того мне хотелось знать точно...»

— Что, собственно, хотел знать этот чудак? — прерывает доктора Френсис, рассеянно слушавшая рассказ.

— Будет ли война, сестричка, — язвительно посмеивается Доналд. — Ведь и теперь некоторые знатоки искусства занимаются пророчествами на эту тему.

— Нынче едва ли нужно быть для этого знатоком искусства, — замечает Эл Флагг.

— Что же произошло с Тицианом? — с любопытством спрашивает Ада.

— Ну вот, жена отрицала возможность войны, а муж допускал её, — продолжает доктор, — а так как они хотели знать точно, то и отправились к знаменитому берлинскому астрологу. Этот великий человек с большой тщательностью составил гороскопы всех трёх участников этого дела: торговца предметами искусства Р., Адольфа Гитлера и художника Тициана; последняя задача — установить, каково было расположение звёзд пять веков тому назад, в день рождения Тициана, — оказалась далеко не лёгкой. Затем астролог начертил все три гороскопа — торговца Р., Гитлера и Тициана — на матовом стекле, осветил его снизу и на основании всех трёх гороскопов установил, что войны не будет и Р. может не торопиться

с перевозкой Тициана. А война всё-таки разразилась. Во что же верить?!! — жаловался злополучный торговец.

— «Во что верить»? Так и сказал? — Доналд покатывается со смеху.

— Ну, и мы недалеко от этого ушли, — замечает Ада.

— Что ты хочешь сказать?

— Что ж, если верят в то, что на нас могут напасть марсиане или что русские бросили атомную бомбу в подземку... Чем это лучше гороскопа торговца Р.?

— Ты ещё, пожалуй, станешь утверждать, что летающие блюдца — это астрология? — негодует Доналд.

Но Ада невозмутимо продолжает:

— А «процессы ведьм», которые у нас происходят, или...

— Дети! Спокойствие! Послушайте лучше, что я вам ещё расскажу! — торопливо перебивает её доктор Бойл. — У меня была пациентка, некая Бетти Мак-Ри, старуха лет шестидесяти, жена отставного морского офицера. Она сломала два ребра, выпав из гамака. Бывший моряк требовал, чтобы она ночью спала с ним в гамаке.

— Вот это истинная любовь! — восклицает маленький Флагг.

— А миссис Мак-Ри была другого мнения, — смеётся доктор. — За двадцать три года замужней жизни она свыше тридцати раз выпадала из гамака. Но наконец, состарившись, она уже не могла позволять себе такой роскоши и вот просила меня выдать ей медицинское свидетельство для предъявления мужу.

Все от души смеются. Один только Доналд встаёт и, ни слова не говоря, уходит.

Капитан Ферри и Сюзанна хотят последовать за ним. Но Френсис удерживает их:

— Глупо обращать на него внимание! Садитесь. Дон просто невоспитан!

Но настроение у всех упало. История, которую рассказывает Флагг, тоже не производит особого впечатления: в Хаустоне, в штате Техас, позвонили по телефону в Национальный банк; все служащие должны немедленно покинуть здание: через десять минут оно взлетит на воздух. Дело было в субботу. Швейцар банка ответил: «К сожалению, все уже разошлись, позвоните в понедельник, в девять утра».

Костёр погас, все встают и собираются идти домой. Доктор Бойл незаметно отводит Аду в сторону:

— Разыщите немедленно Доналда и убедите его, что это была просто ребяческая выходка с вашей стороны. Слышите? Такими вещами, как процессы ведьм, у нас нынче не шутят.

Ада удивлена тоном доктора.

— Приходите через полчаса на террасу, — говорит он и присоединяется к остальным гостям, лениво шагающим к дому.

Ада понимает, что сболтнула лишнее, но ей ещё не ясно, насколько серьёзен её промах. Она никогда не видела доктора таким встревоженным. Надо думать, что он прав.

Она отправляется на поиски Доналда. В доме его нет, да ведь он и пошёл в сторону парка. Ночь звёздная, но как его найдёшь на этом огромном участке? Несколько минут она бесцельно бродит впотьмах. Она идёт мимо скакового круга, потом мимо огорода и выходит на дорогу, где ей удалось остановить лошадь доктора. Из конюшни доносится сердитый голос. Доналд распекает Мака:

— И лошадь и доктор могли сломать себе шею. А отчего? Только оттого, что конюхи ленивы. Ну и свинство! Ведь это — почти убийство!

Ада подходит ближе. Доналд, заметив её, покидает конюшню. Ада идёт рядом с ним.

— Что с тобой, Доналд?

Он ускоряет шаг.

— Ты нервничаешь...

— Ничего удивительного!

— Что я такого сделала?

— И ты ещё спрашиваешь? Советую тебе выбирать свои знакомства!

Они снова стоят у потухшего костра, под «пятью дубами». Ночной ветер слегка раздувает тлеющий огонь, слабый отсвет падает на их лица. Доналд смотрит на Аду злым взглядом.

— Откуда ты набралась таких слов?

— Каких?

— Паника! Атомная паника!

— Разве этого нет?

— А процессы ведьм?

— Все говорят об этом.

— Боишься сказать, кто? — Он хватается её за плечо.

— Оставь! — Она хочет стряхнуть его руку. Но он сильно нажимает на её плечо, так, что она подаётся назад, пока не упирается в дубовый ствол.

— Кто тебя научил этому? Отвечай!

Он прижимает отбивающуюся девушку к дереву; он чувствует её груди — точно два камня поразили его. Он хочет повалить её. Но Ада слишком сильна. Она отталкивает его голову и вырывается из его рук.

— Посмей только ещё раз! — говорит она.

Ада перепрыгивает через едва тлеющий костёр и идёт к дому.

На террасе, освещённой только зажжёнными на крыльце фонарями, у стены, прилегающей к столовой, гости расположились двумя оживлённо беседующими группами. За столиком справа сидят профессор Лоу, Шерман, капитан Ферри и Сюзанна. Они спорят о природе космического излучения, о коротких волнах, идущих к нам из вселенной, о распознаваемости их с помощью радарных установок и радиотелескопа—«аппарата для небесной рентгеноскопии», как называет его профессор, ибо с помощью такого аппарата можно «рассмотреть в лупу» коротковолновые импульсы солнца и звёзд. Капитан Ферри интересуется, можно ли на основании теории Лоу прийти к выводу, что небесные тела выделяют не только световые волны и космические лучи, состоящие из электронов, протонов и других атомных частиц, но и посылают в пространство — и это относится даже к невидимым, «тёмным звёздам», находящимся на огромных расстояниях от нас, — короткие радиоволны, которые обладают энергией, во много миллиардов раз превосходящей энергию световых волн.

Итак, лётчик пытается сосредоточить внимание профессора на самом физическом явлении; Шерман же всё время сворачивает на философию, на бесконечность и непознаваемость вселенной. А это утверждение агностиков, что мы, в сущности, ничего знать не можем, означает, что будь то атомная бомба или летающие блюдца, выход надо искать в «чистом самосознании» каждого отдельного человека. При этом в мозгу Шермана то и дело мелькает пугающая и соблазнительная мысль о высокооплачиваемой рекламе кларковских бомбоубежищ.

В другом конце террасы уселись Френсис, доктор Бойл и Эл Флагг. Тут беседуют о вещах гораздо менее сложных. Френсис находит, что брат «ведёт себя совершенно невозможно». Видно, офицеры-лётчики опять считают себя героями дня. Доктор пытается завести разговор о медицине; из-за бешеной гонки вооружений и постоянных толков о войне, говорит он, истерия и паника становятся у нас нормальным явлением, в особенности, когда воображению рисуются массивованные налёты на крупные

центры, застроенные небоскрёбами. С другой стороны, возражает юный Флагг, нельзя допускать, чтобы люди вернулись к состоянию полной беспечности на том основании, что по тем или иным «логическим» соображениям война невозможна. А заказ Кларка — рекламная статья, — несмотря на обещанную щедрую мзду, всё же гнетёт его. Ему не хочется говорить на эту проклятую тему. Но доктор Бойл сообщает о том, что в Америке уже зарегистрировано свыше миллиона психических заболеваний и, как показывает статистика, каждый десятый американец обращается за помощью к врачу-невропатологу.

— Как всем известно, ложь бывает двоякого рода, — вставляет Флагг, — ложь обыкновенная и статистика.

Ада входит на террасу, видит, что доктор не один, и хочет уйти; но он заметил её и подзывает к себе.

— С вашего разрешения, — говорит доктор, — я потолкую сначала с Адой с глаз на глаз. А вас обоих я попрошу посидеть невдалеке за столиком.

Ада садится в угол, спиной к остальным. Видя, что она очень расстроена, доктор Бойл начинает как можно спокойнее:

— Послушайте, Ада, не говорите мне сейчас ничего. Откиньтесь на спинку стула, смотрите на деревья и слушайте то, что я вам скажу. Такое теперь время — зло вылезает из всех щелей, пошлость, ложь. Иной раз зло превращается в свою противоположность. Надо быть настроже, Ада. Ты понимаешь меня?

Ада кивает головой.

— Я знал тебя ещё ребёнком, Ада. Тебе грозит опасность, — говорит он, понизив голос. (Совершенно незаметно для себя он начинает, как бывало, говорить ей «ты».) — Впрочем, опасность грозит всем, кто ещё сохранил хоть каплю разума. Но тебе в особенности, Ада. Ты справедливый и прямой человек, говоришь всё, что у тебя на душе. В наше время этого нельзя. Уверяю тебя! Ты обратила внимание, какой взгляд бросил на тебя Доналд, когда ты упомянула о процессах ведьм? Диким зверем смотрел он на тебя. Теперь нужно трижды подумать, Ада, прежде чем вымолвить слово! А если тебе уже невтерпёж, приходи ко мне, Ада! Нам надо держаться друг за друга!

Он молчит.

Ада тихонько напоминает:

— Продолжайте! Что я должна делать?

— Ты сразу задаёшь труднейший вопрос. — Доктор задумывается. — Что делать? Кой-какие возможности у нас всё-таки есть. Помнишь, Ада, зимой лошади в прериях держатся вместе, чтобы противостоять буранам, чтобы отбиться от волков... Они сдвигают головы, а задние копыта выставляют наружу, словно одна исполинская лошадь. Вот и у нас теперь волчья пора, пора лютых морозов. Иногда мне кажется, что добро уже не пробьётся наружу, так много грязи и лжи навалилось на него...

— А если взять в руки вилы?

— С вилами против банков, стальных трестов, тайной полиции!.. Ах, Ада! — Он улыбается, глядя в её серьёзное прекрасное лицо. — Но, может быть, ты умнее, чем мы, всезнающие? Есть французская поговорка: *un seul homme courageux fait une majorité*. Один храбрец — это уже большинство. В этом есть зерно истины. И всё-таки в одиночку или вдвоём мы ничего не сделаем. Надо, чтобы большинство — а мы и есть большинство — стало действенным, и тогда добро будет таким же естественным и необходимым, как хлеб. Но одной храбрости мало, Ада, нужен ещё и ум. — Он наклоняется к ней. — Я встречаюсь с твоим дядей Эрнестом Ли. Я думаю, и ты могла бы быть с нами.

Ада выдерживает его взгляд.

Доктор внезапно перестал быть для неё весельчаком и забавником, который в любой час дня и ночи обязан оказывать помощь больному. На его лице великая грусть и вместе с тем решимость, будто дело идёт о жизни и смерти.

— Может быть, я слишком много возлагаю на тебя, Ада?

— Нет, что вы!

— Я надеюсь, что дядюшка Эрнест не осудит меня. Но когда я вижу этих людей, наблюдаю за тем, что они творят, мне начинает казаться, что под нами очень тонкий лёд, который с каждым часом становится всё тоньше, что мы не смеем терять более ни дня, ни часа... И всё-таки наша храбрость в том, чтобы не обнажать преждевременно грудь перед врагами, а, напротив, вести себя умно, знать, кто наши друзья, и рассчитывать на них в нужный момент. Ты меня поняла?

— Да.

— А что твой приятель Джин?

— Он больше не летает, он радист в наземных частях.

— А до того?

— Автомобильный слесарь.

— Как он относится к войне?

— В сорок пятом ему прострелили лёгкое. Он больше не хочет войны.

— Так он сказал?

— Да.

— А вы оба... Какие у вас отношения? Скажи уж!

— Он... Разве это так важно?

— Прости, Ада, да, это важно.

— Он меня уважает.

— Это хорошо, Ада, очень хорошо. — Доктор откидывается на спинку стула; на лице его выражение покоя, словно он разрешил сложную задачу; он смотрит на тёмные верхушки деревьев. — Быть может, сама того не зная, ты одной фразой сказала всё, Ада: «Он меня уважает». Вот в этом-то всё и дело. Или, по крайней мере, так должно быть. И в частностях и в целом. Взгляни вон на ту компанию. Они до одури спорят об атомной бомбе, о секретном оружии, об управляемых на расстоянии самолётах, о космической энергии или о гомункуле; но не ищи среди них человека, который страдает, любит, уважает других, поступает справедливо и умеет дать отпор. Теперь они мечтают о том, чтобы вести войну без людей, с помощью сотен тысяч самолётов, о смертоносных радиоактивных облаках, которые окутают целые страны. Они мечтают в несколько часов истребить миллионы людей, отравить их не в газовых камерах, а на открытом пространстве, чтоб лёгкие у них лопнули, чтобы они погибли, извиваясь в мучительных судорогах... Вот о чём мечтают эти господа... Но они, видно, догадываются, что не найдётся такого человека, который решил бы на это, глядя другому в глаза; его рука онемела бы, сердце перестало бы биться. Вот им и нужны самолёты, чтобы осуществить это мерзостное дело с высоты 10 тысяч метров; нужны лётчики в кислородных масках; война без людей против человечества... Вот о чём они мечтают.

— Этого не будет! — Ада с горячностью хватается доктора за руку. — Нет, этого не будет!

— Тише, Ада, — останавливает её доктор. — Может быть, и не будет, ибо вопреки всему наша надежда — человек, человек, который умеет дать отпор, который этого не допустит.

— Можете рассчитывать на меня, доктор.

— Хорошо, Ада. Дядя Эрнест поговорит с тобою. Жди.

Ада встаёт и бесшумно уходит через столовую.

(Продолжение следует)

Авторизованный перевод с немецкого А. Ариан.

В Западной Германии

НА РЕЙНЕ

Морозно в воздухе ночном,
И мостовые гулки-гулки.
Сверни налево за мостом,
Спустишь в глухие переулки.

Овраг и узок и глубок,
В нём холодно зимой и летом.
А там рабочий городок —
Без газа, без воды и света.

Чернеют крыши за горой,
Они покаты, словно каски.
Укрыт у Рейна под землёй
Аэродром американский.
Вдруг небо гулом потрясло,
Свист реактивных злобно тонок.
В подвале выпало стекло,
И сонный закричал ребёнок.

КАК НА ВОЙНЕ

Напыщенный
майор американский —
Он только получил дивизион —
Провёл по карте острою указкой:
— Вот здесь отличный будет
полигон!

И лейтенант не в меру осторожно
Протёр очков туманное стекло:
— Простите, уточните, если
можно,—

Ведь там как раз немецкое село?

Майор швырнул со злостью
сигарету,
Рывком задёрнул штору на окне:

— Людей убрать! Стрелять, как
по макетам!
Представьте, что мы с вами на
войне!

Взрехали на рассвете батареи.
На всю окрестность прокатился
стон.

И вспыхнул, словно отблески
Кореи,
В огне и дыме мутный небосклон.

Грохочут танки. Бомбовозы в небе.
Стеною пыль — земля накалена...

Уже давно на западе от Эльбы
Свой бич тяжёлый пробует война.

В КОНЦЛАГЕРЕ

Концлагерь огромный, как город.
Острый щебень и высохший шлак.
Словно копыя, зубцы на заборах.
Длинный, в чёрном гудроне барак.

Во дворе — полицейских ватага.
Что за стон?
И прохожий вздохнул:
— Привезённый вчера из Чикаго
Электрический пробуют стул.

ГОРОД ЗА ЭЛЬБОЙ

Пепелище. Низко кружит ворон.
Стёрто всё. Лишь кирха высока.
Поглядишь на разорённый город—
И тебя возьмёт тоска.
Строили здесь долгими веками,
Замки стройные возвёл народ.
На отброшенном в канаву камне —
«1400 год».

Янки выйти метили на Шпрее:
Бизнесменов привлекал Берлин.
Как по дотам, били по музеям,—
Больше шума, крови и руин!

Шла капитуляция. Три ночи
Бомбовозы разгружались здесь.
Только пепел от домов рабочих,
Цел солдатский городок СС.

Бронетранспортёр американский,
Пулемёты на бортах стоят.
Глубоко напяленные каски
Скрыли лица серые солдат.

Люди под развалинами, в норах,
Им просвета не видать и днём.
Ты в плену американском, город,
Опалён страданьем и огнём.
Но не сдался...

Ненависть в речах.
Грозным гневом воздух накалён.
Даже камни мостовой кричат:
«Хватит!

Янки,
убирайтесь вон!»

* * *

На тюремном дворе ни травинки,
Лишь прожекторы смотрят
во тьму.
Янки дали нацистам дубинки,
Полстраны превратили в тюрьму.
Но от Мюнхена до Берлина
Тёмным силам наперекор
Вся Германия в блузах синих
Закипает, как море в шторм.

В. ПОДОСЕТНИК,
кандидат философских наук

И. В. СТАЛИН

о борьбе против догматизма в научном познании

Гениальные произведения товарища И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма в СССР» знаменуют новый этап в развитии марксизма, служат новым замечательным примером творческого подхода к учению Маркса — Энгельса — Ленина. Эти произведения являются ценнейшим вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма. Классические положения товарища Сталина дали мощный толчок развитию всей советской науки и общественных наук в частности.

В своих гениальных трудах товарищ Сталин ещё раз с исключительной силой показал, что марксизм является врагом всякого догматизма. Указания товарища Сталина имеют важнейшее значение для всех марксистов, вооружают их обобщённым опытом многолетней борьбы Коммунистической партии и её всегдашней против догматизма и начётничества, за творческое развитие марксизма. Эти указания вооружают всех людей передовой науки ясным пониманием того, что борьба против догматизма и начётничества в научном познании необходима и без этого творческое развитие науки невозможно.

Развивая марксистскую теорию познания, И. В. Сталин показал, что антиисторизм и отрыв теории от практики — характерные черты начётничества. Догматизм — не что иное, как форма метафизического способа мышления, проявляющегося в антиисторическом подходе к изучению и пониманию явлений общественной жизни. Метафизика рассматривает явления вне исторической обстановки, их породившей, в отрыве от человеческой практики, от деятельности народных масс, творящих историю.

Догматизм — это одно из проявлений оппортунизма, пытающегося «уцепиться за отдельные положения марксизма, ставшие уже устаревшими, и превратить их в догмы...»¹.

¹ История ВКП(б). Краткий курс, стр. 341—342.

В противоположность догматизму марксизм, марксистская теория познания, исходит из исторической обусловленности явлений, из признания неразрывного единства теории и практики.

Учение В. И. Ленина и И. В. Сталина об объективной истине, об объективном характере законов науки направлено не только против всякого идеализма, но и против метафизики и догматизма. Утверждая, что объективность познания проверяется и подтверждается практикой человека и человечества, что практика служит критерием истинности наших знаний, Ленин и Сталин разбивают всякий догматизм, всякую попытку оторвать познание от общественно-исторической практики.

Направляя удар непосредственно против метафизики и догматизма, Ленин указывает, что признание объективности человеческого познания, объективности истины вовсе не означает признания неизменной сущности вещей и неизменного сознания, а свидетельствует лишь «о соответствии между отражающим природу сознанием и отражаемой сознанием природой»².

Это положение Ленина нашло своё выражение в разработке им вопроса об абсолютной и относительной истине, то есть в разработке диалектики процесса познания, в доказательстве того подтверждаемого историей естествознания факта, что нет неизменных истин, а существуют относительные истины, из которых в процессе познания складывается абсолютная истина, равно как нет и неизменной практики, составляющей основу и критерий истинности наших знаний.

«Исторически условны контуры картины,— пишет Ленин,— но безусловно то, что эта картина изображает объективно существующую модель... Исторически условна всякая идеология, но безусловно то, что всякой научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) соответствует объективная истина, абсолютная природа. Вы скажете: это различие относительной и

² В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 124.

абсолютной истины неопределенно. И ответу вам: оно как раз настолько «неопределенно», чтобы помешать превращению науки в догму в худом смысле этого слова, в нечто мертвое, застывшее, закатенелое, но оно в то же время как раз настолько «определенно», чтобы отмежеваться самым решительным и бесповоротным образом от фидеизма и от агностицизма, от философского идеализма и от софистики последователей Юма и Канта»¹.

Ленинский вывод об исторической обусловленности научного познания отвергает не только махистский релятивизм, но и всякий догматизм, всякую попытку превратить изученные знания в догму.

Исходя из требования марксистской диалектики и развивая её, В. И. Ленин отстаивал гибкость понятий, которая обусловлена изменением исторической обстановки, развитием практики. Он беспощадно разоблачал малейшую попытку рассматривать научные понятия как нечто мертвое, законченное. В «Философских тетрадах» Ленин неоднократно указывает, что понятия не неподвижны потому, что развивается объективная действительность, которую они отражают. «Отражение природы в мысли человека,— пишет Ленин,— надо понимать не «мертво», не «абстрактно», не без движения, не без противоречий, а в вечном процессе движения, возникновения противоречий и разрешения их»².

Развивая марксистскую диалектику применительно к марксистской теории познания, Ленин боролся против изолированного, одностороннего, искажённого рассмотрения явлений общественной жизни.

Характеризуя высказывания Маркса и Энгельса по вопросам англо-американского и немецкого рабочего движения, Ленин указывал, что эти высказывания поучительны и с научной точки зрения представляют собой «образчик материалистической диалектики, умение выдвинуть на первый план и подчеркнуть различные пункты, различные стороны вопроса в применении к конкретным особенностям тех или иных политических и экономических условий»³. О диалектической гибкости понятий, об умении подчеркнуть, выделить те стороны вопроса, которые соответствуют историческим условиям, определяются этими условиями, Ленин говорит и в работе «Наши упрямители». Здесь он показывает, что в самом марксизме различные стороны становятся преобладающими, выдвигаются на первый план в зависимости от различных исторических условий. И не субъективные

желания, а совокупность исторических условий определяет преобладание интереса к той или иной стороне марксизма. В наше время, например, в связи с задачами постепенного перехода от социализма к коммунизму, огромный интерес приобрела экономическая сторона учения марксизма-ленинизма, развитая дальше товарищем Сталиным в его труде «Экономические проблемы социализма в СССР».

Критикуя Инессу Арманд за формалистическое истолкование положения «Манифеста Коммунистической партии» о том, что рабочие не имеют отечества, В. И. Ленин указывал, что весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каждое положение рассматривалось лишь исторически, лишь в связи с другими, лишь в связи с конкретным опытом истории.

В труде «О диалектическом и историческом материализме» товарищ Сталин, характеризуя марксистский диалектический метод, вскрывает антинаучную сущность метафизики, являющейся философской основой всякого догматизма. Обосновывая огромное значение положений марксистского диалектического метода для понимания истории общества, для практической деятельности марксистской партии, товарищ Сталин нанёс сокрушительный удар по талмудизму и начётничеству. Товарищ Сталин показал, что марксистский диалектический метод требует расценивать каждое общественное явление, каждое общественное движение в истории с точки зрения породивших его условий. Догматики и начётчики думают, что одну и ту же формулу, одну и ту же цитату можно в любое время применить к любым другим условиям. Это в корне противоречит требованиям марксистского диалектического метода. Такой неисторический подход к пониманию явлений общественной жизни неизбежно приводит к вульгаризации и опощлению марксизма.

Товарищ Сталин учит, что всё зависит от условий, места и времени. Без исторического подхода к общественным явлениям история, как наука, вообще не может существовать. Всякий, кто отступает от историзма при оценке общественных явлений, рискует властью в грубейшую ошибку.

Развивая марксистский философский материализм, товарищ Сталин обосновал неразрывную его связь с практической деятельностью марксистской партии. Отсюда важнейший вывод о неразрывном единстве теории и практики.

«Значит,— пишет И. В. Сталин,— связь науки и практической деятельности, связь теории и практики, их единство должно

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 14, стр. 123.

² В. И. Ленин. Философские тетради, стр. 168. 1947.

³ В. И. Ленин. Соч., т. 12, стр. 322.

стать путеводной звездой партии пролетариата»¹.

Эти указания товарища Сталина, направленные своим остриём против догматизма и начётничества, приобретают особо важное значение в условиях постепенного перехода от социализма к коммунизму.

* * *

Огромное значение и актуальность борьбы против догматизма и начётничества в наше время товарищ Сталин глубоко и всесторонне обосновал в своём гениальном труде «Марксизм и вопросы языкознания», являющемся образцом творческого развития марксизма. Крупнейшую роль в новом поступательном движении нашей науки внедрённые сыграли замечательные положения товарища Сталина о борьбе с талмудизмом и начётничеством. В настоящей статье автор ставит своей задачей показать, как велико значение этих указаний для развития советской науки.

В своём ответе А. Холопову товарищ Сталин указывает, в чём заключается существо догматизма и начётничества. Талмудисты и начётчики исходят из того, что допустимо цитировать произведения того или иного автора в отрыве от исторического периода, о котором трактует цитата. Эти люди полагают далее, что те или иные выводы и формулы марксизма, полученные в результате изучения одного из периодов исторического развития, правильны для всех периодов развития и потому должны остаться неизменными.

Рассуждая как типичный догматик, А. Холопов ссылается, например, на две различные формулы товарища Сталина о судьбах развития национальных языков. В докладе на XVI съезде ВКП(б) товарищ Сталин говорил, что в период победы социализма в мировом масштабе, когда социализм окрепнет и войдёт в быт, национальные языки неминуемо сольются в один общий язык, который, конечно, не будет ни великорусским, ни немецким, а чем-то новым. Вторая формула была дана И. В. Сталиным в труде «Относительно марксизма в языкознании», где делается вывод о том, что скрещивание двух языков даёт не какой-то новый, третий язык, а сохраняет один из них, то есть один из языков обычно выходит победителем.

Сличив эти две формулы товарища Сталина, догматик пришел к заключению, что между этими формулами имеется противоречие, а чтобы устранить это «противоречие», надо отбросить одну из формул как неправильную. Им даже и в голову не пришла мысль, что обе эти форму-

лы правильные, но не абсолютно, а каждая для своего времени: первая — для периода до победы социализма в мировом масштабе, вторая — после этой победы.

Начётчики и талмудисты на каждый случай жизни стараются найти цитату из произведений классиков марксизма, хотя бы эта цитата относилась к совершенно другой обстановке. Подобный подход к общественным явлениям характерен для догматизма и в других областях теории и практики. Так, догматики и начётчики считают, что переход от старого качества к новому в любых условиях возможен только в форме «взрыва». Эти люди механически заучили действие закона перехода от старого качества к новому путём взрыва в антагонистическом обществе и автоматически переносят его в условия социалистического общества.

Вскрывая ошибку догматиков и начётчиков, товарищ Сталин показал, что закон перехода от старого качества к новому путём взрыва не всегда применим к общественным явлениям.

Товарищ Сталин указывает, что этот закон «обязателен для общества, разделённого на враждебные классы. Но он вовсе не обязателен для общества, не имеющего враждебных классов»².

Иллюстрируя это важнейшее научное положение, товарищ Сталин пишет, что в течение 8—10 лет мы осуществили в сельском хозяйстве нашей страны переход от буржуазного, индивидуально-крестьянского строя к социалистическому, колхозному строю.

Это была революция, ликвидировавшая в деревне старый, буржуазный хозяйственный строй и создавшая там социалистический строй. Но этот революционный переворот совершался не путём взрыва, то есть не путём свержения существующей власти и создания новой власти, а путём постепенного перехода от старого, буржуазного строя в деревне к новому.

«Начётчики и талмудисты, — пишет И. В. Сталин, — рассматривают марксизм, отдельные выводы и формулы марксизма, как собрание догматов, которые «никогда» не изменяются, несмотря на изменение условий развития общества. Они думают, что если они заучат наизусть эти выводы и формулы и начнут их цитировать вкривь и вкось, то они будут в состоянии решать любые вопросы, в расчёте, что заученные выводы и формулы пригодятся им для всех времён и стран, для всех случаев в жизни»³.

Товарищ Сталин учит, что марксизм как наука не может стоять на одном месте, а

¹ История ВКП(б). Краткий курс, стр. 109. 1945.

² И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 28, 29. 1950.

³ Там же, стр. 54.

развивается и совершенствуется. Он обогащается новым опытом и новыми знаниями, а поэтому не признаёт неизменных выводов и формул, обязательных для всех исторических эпох и периодов. Именно поэтому марксизм является врагом всякого догматизма и начётничества.

Ленин и Сталин постоянно напоминали указание Маркса и Энгельса о том, что их учение не догма, а руководство к действию.

«Было бы смешно требовать, — говорит И. В. Сталин, — чтобы классики марксизма выработали для нас готовые решения на все и всякие теоретические вопросы, которые могут возникнуть в каждой отдельной стране спустя 50—100 лет, с тем, чтобы мы, потомки классиков марксизма имели возможность спокойно лежать на печке и жевать готовые решения»¹.

Как известно, Маркс и Энгельс полагали, что при социализме государство отомрёт.

Стоя на почве творческого марксизма, товарищ Сталин развил дальше марксистскую теорию государства применительно к новым историческим условиям. Опираясь на многолетний опыт существования Советского государства, товарищ Сталин пришёл к выводу, что при наличии капиталистического окружения, когда победа социализма осуществилась только в одной стране, страна победившего социализма не должна ослаблять своё государство, а, наоборот, обязана всемерно усиливать и укреплять его, усиливать органы государства, органы разведки, армию, чтобы устоять перед капиталистическим окружением, защищать страну от нападения извне.

Опыт Великой Отечественной войны со всей силой показал правильность сталинского вывода. О необходимости дальнейшего укрепления социалистического государства и его армии говорит также современная международная обстановка, когда американско-английские поджигатели готовят новую войну против Советского Союза и стран народной демократии. Об этом наглядно свидетельствуют процессы контрреволюционных вредителей и ставленников американско-английского империализма, происходившие в последние годы в странах народной демократии. О необходимости всемерного повышения бдительности и усиления борьбы с ротозейством и беспечностью свидетельствует и раскрытие банды врачей-убийц, являвшихся наёмными агентами американской и английской разведки.

Говоря о фазах развития и функциях со-

¹ И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 643. 11-е изд. 1952.

циалистического государства в условиях капиталистического окружения, товарищ Сталин выдвинул положение о том, что государство сохранится и в период коммунизма, если не будет ликвидирована опасность нападения извне. Государство не сохранилось и отомрёт, если капиталистическое окружение будет ликвидировано и заменено окружением социалистическим.

Таким образом, имеются две различные формулы о судьбах социалистического государства.

«Начётчики и талмудисты могут сказать, — замечал товарищ Сталин, — что это обстоятельство создаёт невыносимое положение, что нужно одну из формул отбросить, как безусловно ошибочную, а другую, как безусловно правильную, — распространить на все периоды развития социалистического государства»².

Эти путаники неспособны понять, что обе эти формулы правильны, но не абсолютно, а каждая для своего времени. Формула товарища И. В. Сталина о социалистическом государстве имеет силу, когда социализм победил в одной стране и существует капиталистическое окружение. Формула Энгельса об отмирании государства действительно будет тогда, когда капиталистическое окружение будет ликвидировано и социализм победит во всём мире.

В своём гениальном труде «Экономические проблемы социализма в СССР» товарищ Сталин, творчески развивая марксизм, нанёс новый удар по догматизму и начётничеству, по субъективному идеализму и волюнтаризму. В нашей философской и экономической литературе имели хождение взгляды, ничего общего не имеющие с марксизмом, хотя и выдававшиеся за марксизм. Так, например, считалось вполне марксистским утверждение, что в социалистическом способе производства нет никаких противоречий, что противоречия между производственными отношениями и характером производительных сил присущи только капиталистическому способу производства. Указание товарища Сталина о полном соответствии производственных отношений характеру производительных сил при социализме понималось многими философами и экономистами в абсолютном смысле, т. е. будто бы при социализме нет никакого отставания производственных отношений от роста производительных сил. Такого рода утверждения были результатом догматического подхода к марксистской теории, результатом отрыва теории от практики. В этом, как и в некоторых других вопросах теории, сказалось неумение наших философов и экономистов проникать вглубь явлений, в самую суть про-

² И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 51.

цессов экономического развития общества, сказалось скольжение по поверхности. Некоторые экономисты догматически оперировали экономическими категориями, свойственными капитализму, при рассмотрении экономики социализма, заимствуя из «Капитала» Маркса такие понятия, как капитал, прибыль на капитал, рабочая сила как товар, прибавочный продукт и т. п.

Товарищ Сталин указал, что эти понятия при нашем строе звучат довольно абсурдно и что они не соответствуют социалистическим производственным отношениям, и поставил задачу перед советскими экономистами заменить старые понятия новыми, соответствующими новому положению вещей.

Неоценимое значение теоретических трудов товарища Сталина состоит в том, что они предупреждают от всякого догматического подхода к теоретическим вопросам, заставляя видеть глубинные процессы, происходящие в жизни и отражаемые в теории, в науке.

Товарищ Маленков в отчётном докладе Центрального Комитета XIX съезду партии сформулировал задачи, стоящие перед работниками теоретического фронта.

«Задачи нашего продвижения вперёд,— говорил тов. Маленков,— обязывают деятелей партии, работников в области общественных наук, в первую очередь экономистов, руководствуясь программными указаниями товарища Сталина, всесторонне разрабатывать вопросы марксистско-ленинской теории в неразрывной связи с практической созидательной работой»¹.

Эти указания XIX съезда партии, направленные против догматизма и субъективного идеализма, за творческое развитие вопросов марксистско-ленинской теории, являются программой деятельности для всех работников нашего теоретического фронта.

Товарищ Сталин учит, что важнейшим методом борьбы против догматизма и начётничества является критика и самокритика. Она стала новой диалектической закономерностью развития советского социалистического общества и не признаёт застоя, косности, рутины как в практике, так и в теории. Она вскрывает корни отставания и застоя в любой области деятельности советских людей, помогает им устранять все преграды на пути продвижения вперёд.

Критика и самокритика не даёт успокаиваться, самообольщаться успехами, зазнаваться от успехов, и в этом прежде всего сказывается её громадная роль и

¹ Г. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б), стр. 106.

в области развития теории. Критика и самокритика выступает как самое верное оружие борьбы против догматизма и начётничества — основных тормозов на пути творческого развития марксистско-ленинской теории и любой другой формы научного познания.

* * *

Указания товарища Сталина о необходимости борьбы против догматизма в научном познании имеют особо важное значение для развития советской науки. Это объясняется прежде всего той огромной активной ролью, которую играет советская наука в развитии советского социалистического общества, в построении коммунизма в нашей стране.

История не знает примера, когда наука была бы так неразрывно связана с практикой, как в социалистическом обществе. В буржуазном государстве, например, наука обслуживает капиталистическое производство и связана с ним постольку, поскольку это не противоречит интересам эксплуататорского класса, интересам монополистического капитала. Характерная особенность науки в буржуазном обществе — её оторванность от народа, от борьбы трудящихся против эксплуатации и угнетения.

Капиталисты только в том случае поддерживают развитие науки и техники, если это сулит им получение максимальной прибыли. Лежащая в основе капиталистического общества противоположность между умственным и физическим трудом способствует отрыву науки от жизни, от практики. Буржуазное государство, стоящее на страже интересов монополистов, ограничивает развитие науки, душит прогрессивную научную мысль, направляет науку на обслуживание войны.

Советское социалистическое общество развивается по пути строительства коммунизма не стихийно, а путём сознательного применения объективных законов общественного развития. Наука — фактор, который активно способствует общественному развитию. Наша партия и Советское государство основывают свою политику строго на законах науки. Так, опираясь на основной экономический закон социализма и учитывая требования объективного закона планомерного развития социалистического общества, наша партия намечает планы хозяйственного и культурного строительства, мобилизует и организует советский народ на выполнение намеченных планов.

Огромное значение нового труда товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» и решений XIX съезда партии состоит в том, что в

этих программных документах коммунизма дано глубокое теоретическое обоснование роли науки в борьбе за коммунизм и определены её практические задачи.

Раскрывая глубокий теоретический смысл значения науки в общественной жизни и объективный характер её законов, товарищ Сталин пишет: «Марксизм снимает законы науки,— всё равно идёт ли речь о законах естествознания или о законах политической экономии,— как отражение объективных процессов, происходящих независимо от воли людей. Люди могут открыть эти законы, познать их, изучить их, учитывать их в своих действиях, использовать их в интересах общества, но они не могут изменить или отменить их»¹.

Руководствуясь указаниями товарища Сталина, наша партия использует и применяет законы науки в своей практической деятельности, беспощадно борется против всяких тенденций волюнтаризма, против идеалистического толкования закономерностей развития нашего общества по пути к коммунизму.

В советском социалистическом обществе нет былой противоположности интересов между людьми умственного и физического труда, а это значит, что в условиях социализма созданы предпосылки для теснейшей связи науки с производством, с практической деятельностью людей.

Служа народу, советская наука помогает трудящимся сознательно строить новую жизнь, освещает путь их практической деятельности. Именно потому, что советская наука не отгораживает себя от народа, а служит ему, по выражению товарища Сталина, добровольно и с охотой, она стала самой передовой наукой. Именно такую передовую науку всемерно поддерживают наша партия, Советское государство и лично товарищ Сталин.

Учитывая огромную роль науки во всей жизни советского общества, легко понять, как опасен для нас догматизм, отрыв теории от практики. В условиях социалистического общества догматизм в любой, даже самой отдалённой от практики отрасли науки приносит огромный вред практической деятельности, задерживает наше продвижение вперёд. Такая, например, область науки, как космогония, казалось бы, чрезвычайно далека от практики коммунистического строительства. Однако и она имеет большое значение не только для формирования материалистического мировоззрения у советских людей, но и для геологоразведочной службы, помогая раскрывать закономерности рудообразователь-

ных процессов в земной коре. Если бы в советской космогонической науке восторжествовали догматические взгляды, как это имеет место в США и других капиталистических странах, то тем самым был бы нанесён ущерб строительству коммунистического общества.

Товарищ Сталин учит, что наука, теория должны освещать путь практике, ибо практика без науки, без теории слепа. Опасность догматизма в науке как раз и заключается в том, что, отрывая теорию от практики, он обрекает практику на блуждание в потёмках. С другой стороны, отрыв теории от практики делает теорию, науку пустой, бесплодной.

«Данные науки, — учит товарищ Сталин, — всегда проверялись практикой, опытом... Наука потому и называется наукой, что она не признаёт фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики»².

Наука для того и существует, чтобы обслуживать практическую деятельность людей, давать им знание объективных законов развития природы и общественной жизни, руководствуясь которыми они могут двигаться вперёд, к намеченной цели. В советском социалистическом обществе созданы все необходимые условия для того, чтобы наука могла выполнять эту свою служебную общественную роль. От советских учёных требуется, чтобы они тесно связывали свою научную деятельность с решением практических задач социалистического производства.

Знаменателен тот факт, что в последнее время содружество советских учёных с работниками производства всемерно расширяется и углубляется. Это указывает на дальнейшее укрепление связи нашей науки с практикой. Внедрение достижений науки в производство в то же время обогащает и самую науку опытом и творческой мыслью многомиллионной армии новаторов промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Советские учёные идут по пути творческого развития науки, ведя борьбу против догматизма, обрекающего науку на бесплодность.

Деятнадцатый съезд партии, определяя задачи партии в области внутренней политики, со всей силой подчеркнул необходимость развивать дальше передовую науку, поставил перед ней задачу занять первое место в мировой науке, направил усилия учёных на более быстрое решение важнейших научных проблем, на всемерное укрепление творческого содружества науки с производством.

¹ И. Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР, стр. 4. 1952.

² И. Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 540. 1952.

Огромное значение имеет вопрос о внедрении марксизма в науку; без этого она не может успешно развиваться. Революционный метод материалистической диалектики должен пронизывать все отрасли советской науки, ибо только при этом условии научное познание может действительно двигаться вперёд.

В труде «Марксизм и вопросы языкознания» товарищ Сталин поставил перед советскими языковедами как одну из важнейших задачу внедрения марксизма в языкознание. Это указание товарища Сталина имеет громадное значение не только для советского языкознания, но и для других отраслей советской науки. Серьёзные теоретические ошибки, допущенные некоторыми советскими учёными в биологии, в языкознании, в физиологии и в других отраслях знания, явились следствием того, что эти учёные не овладели марксизмом, не поняли существа марксизма-ленинизма. Поэтому некоторые из них и оказались в плену реакционных взглядов и теорий, привносимых в нашу науку из капиталистического мира. Наличие в нашей стране людей — носителей буржуазных взглядов, проникающих в советскую науку, — делает особенно актуальной задачей внедрение марксизма во все отрасли научного познания.

В докладе на XVIII съезде ВКП(б) товарищ Сталин указывал, что есть одна отрасль науки, знание которой обязательно для большевиков всех отраслей науки, — это марксистско-ленинская наука о законах развития общества, о законах строительства социализма и коммунизма.

Товарищ Сталин учит, что овладеть марксистско-ленинской теорией совсем не значит заучить все её формулы и выводы и цепляться за каждую букву этих формул и выводов.

«Овладеть марксистско-ленинской теорией, — указывает товарищ Сталин, — значит... уметь обогащать её новыми положениями и выводами, уметь **развивать её и двигать вперед**, не останавливаясь перед тем, чтобы, исходя из существа теории, заменить некоторые ее положения и выводы, ставшие уже устаревшими, новыми положениями и выводами, соответствующими новой исторической обстановке»¹.

Это сталинское положение имеет прямое отношение не только к специалистам в области общественных наук, но и к специалистам, работающим во всех других отраслях знания и прежде всего в области естествознания. Биология, физиология и другие науки о природе своими достижениями не только подтверждают правильность марксистско-ленинской теории, но и

обогащают её новыми фактами и положениями. Внедрение марксизма в ту или иную отрасль знания означает вместе с тем и развитие марксизма. Энгельс писал, что с каждым новым открытием в науке философский материализм приобретает новую форму. Говоря о новейших открытиях в области естествознания, В. И. Ленин подчёркивал, что приведение марксистского философского материализма в соответствие с новыми данными науки, обогащение его новыми выводами и положениями не заключает в себе ничего ревизионистского. Наоборот, только так, опираясь на новейшие данные науки и практики, и может развиваться марксизм.

Н. Я. Марр, например, нагородил целую кучу ошибок в советском языкознании прежде всего потому, что он не овладел марксистско-ленинской теорией, хотя и пытался безуспешно это сделать. На самом же деле Марр был вульгаризатором и упрощителем марксизма. Марр подходил к марксизму как к догме, он заучил несколько положений и выводов марксизма, в частности, положение о классовой борьбе, о скачках в развитии капиталистического общества, и пытался применить эти положения без учёта такого специфического общественного явления, как язык.

Своей «теорией» стадильности в развитии языка Марр догматически извратил марксистское положение о скачках в развитии общества, истолковывая его в том духе, что развитие любого общественного явления, в том числе и языка, совершается только путём «взрывов». Подобно буржуазным языковедам-идеалистам, Марр понимал язык как абстракцию, оторванную от исторического развития общества. Не случайно национальный язык Марр считал фикцией.

Ясно, что из такого догматического понимания марксизма Марром и его «учениками» ничего хорошего не могло получиться для науки о языке. Вульгаризация и упрощение марксизма марровцами при применении его к языкознанию не только не способствовали развитию языкознания, но завели эту науку в тупик, откуда она смогла выбраться на широкую дорогу творческого развития только благодаря основополагающим указаниям товарища Сталина.

С другой стороны, советские учёные, которые на основе овладения марксистско-ленинской теорией действительно внедряют марксизм в обновляющуюся ими отрасль науки, добиваются серьёзных успехов. Они обогащают марксизм новыми положениями и выводами, вытекающими из специфики данной отрасли науки и одновременно двигают вперёд ту отрасль знаний, которой каждый из них посвятил свою жизнь.

¹ История ВКП(б). Краткий курс, стр. 340.

Вспомним, как благотворно сказалось внедрение материалистической теории в агробиологию, начатое ещё известным русским учёным К. А. Тимирязевым и великим преобразователем природы И. В. Мичуриным. Продолжая и развивая эти идеи, выдающийся советский учёный Т. Д. Лысенко добился немалых результатов. Решая сложные проблемы агробиологии, он опирался на опытные данные многочисленной армии мичуринцев, на новую практику социалистического сельского хозяйства, руководствовался основными положениями диалектического материализма.

До последнего времени в науке о биологическом виде господствовала точка зрения, непосредственно вытекающая из эволюционной теории Дарвина. Дарвинисты исходили только из эволюции в процессе происхождения одних органических форм из других, но не признавали диалектической закономерности переходов из одного качественного состояния в другое. Развитие в живой природе понималось только как сплошная, непрерывная линия эволюции.

Т. Д. Лысенко доказал, что первопричиной появления одних видов из других, так же как и появления внутривидового разнообразия форм, является изменение условий жизни растений и животных. Процесс зарождения и развития новых видов из существующих ныне видов растений не прекращается и сейчас. Опыты показали, что при посеве твёрдой пшеницы часть растений очень быстро, за два — три поколения, превращается в другой вид — мягкую пшеницу. В некоторых колосьях твёрдой пшеницы можно обнаружить зёрна мягкой пшеницы, а в колосьях озимой пшеницы обнаруживались зёрна ржи. До последнего времени наука не могла определить первопричину засорения пшеницы рожью, хотя практики-растенисводы уже давно заметили это явление. Сейчас установлено, что первоисточником разных примесей и некоторых засорителей посевов, кроме механического привнесения примесей, является также порождение одними видами растительных форм других видов.

«Когда растения,— пишет Т. Д. Лысенко.— данного вида тем или иным путём попадают в условия, относительно неблагоприятные для нормального развития их видовой специфики, происходит вынужденное изменение, зарождение в организме растений данного вида зачатков другого вида, формированию специфики которого более соответствуют новые условия внешней среды»¹.

Этот вывод имеет не только теоретиче-

ское, но и большое практическое значение. В самом деле, зная первоисточники зарождения тех или иных видов растений и организуя соответствующие условия внешней среды, можно создавать новые полезные виды растений и в то же время не давать порождаться вредным (сорным) видам. Это и есть ответ науки на запросы сельскохозяйственной практики.

Заслуга Т. Д. Лысенко состоит прежде всего в том, что он разбил догматические, метафизические установки вейсманистов-морганистов, отрицающих решающую роль внешней среды в развитии организмов. Что же касается новой биологической теории академика Т. Д. Лысенко о видообразовании, против которой имеются ныне некоторые возражения (см. статьи Турбина и Иванова, «Ботанический журнал» № 6, 1952 г., изд. Академии наук СССР), то нужно сказать, что возражающие товарищи сами искажают марксистское понимание перехода количественных изменений в коренные качественные, отождествляя эволюционное развитие, в дарвиновском смысле, с учением товарища Сталина о постепенном переходе от старого качества к новому.

Одной из характерных особенностей морганистов-вейсманистов, орудовавших в советской биологии, было то, что они отгородились от народа, от задач социалистического сельского хозяйства, занимались только «чистой наукой».

Сессия ВАСХНИЛ, прошедшая в августе 1948 года под знаком победы мичуринского направления в советской биологической науке, показала со всей очевидностью, что «наука» морганистов-вейсманистов не только бесплодна, но и вредна для колхозно-совхозной практики: морганисты-вейсманисты опирались на реакционную, идеалистическую и метафизическую теорию неизменного, вечного наследственного вещества, на мифическую теорию генов.

В противоположность этому мичуринцы продемонстрировали на сессии блестящие практические результаты благотворного воздействия своей науки на колхозно-совхозную практику по направленному выведению новых видов растений и животных. Мичуринская наука служит интересам народа, опирается на правильные, материалистические позиции, исходит из основных принципов диалектического материализма в решении коренных теоретических вопросов агробиологии, обогащая практику и черпая из неё факты для новых теоретических выводов.

Формула Мичурина о том, что нельзя ждать милостей от природы, а их нужно взять у неё, стала руководством к действию мичуринцев-учёных и мичуринцев-практиков. В этом творческом подходе ко-

¹ Акад. Т. Д. Лысенко. Новое в науке о биологическом виде. Вестник АН СССР № 3 за 1951 год, стр. 74.

ренился невиданный успех мичуринского дела — целенаправленное преобразование природы на основе познания объективных законов её развития.

Никогда ещё биологическая наука не дала таких практических результатов, какие даёт мичуринская агробиологическая наука в наше время благодаря творческому развитию дарвинизма. Это стало возможным только потому, что Коммунистическая партия и Советское государство всемерно поддерживают и помогают учёным и практикам-новаторам прокладывать новые пути в науке. Это стало возможным только потому, что великий корифей науки товарищ И. В. Сталин даёт ценнейшие указания учёным-новаторам, поддерживает их смелые начинания, вооружает их острым оружием марксистско-ленинской теории, помогающей советским учёным побеждать врагов науки и консерваторов от науки и двигать вперёд, развивать советскую науку.

Ярким примером того, как партия и правительство помогают учёным-новаторам в их борьбе против догматизма и начётничества, является научная деятельность О. Б. Лепешинской. Смело и последовательно прокладывая новые пути в науке, Лепешинская опрокинула вирховианские догмы в области биологии и медицины.

Вирхов, как известно, утверждал, что любая клетка живого организма происходит только из клетки. Лепешинская на основе новых экспериментальных данных доказала происхождение клеток из доклеточного живого вещества. Последователи Вирхова в биологии и медицине пытались опровергнуть научные выводы учёного-новатора. Победа, естественно, оказалась на стороне Лепешинской, ибо она утверждала новое в науке, а консерваторы и догматики цеплялись за старое, отжившее свой век.

Эта победа нового в науке была одержана прежде всего потому, что учёного-новатора вдохновляла поддержка великого корифея передовой науки товарища И. В. Сталина.

Основополагающие указания товарища Сталина о необходимости борьбы с догматизмом обеспечили творческий характер дальнейшего развития учения великого русского физиолога И. П. Павлова.

Академик Павлов создал прогрессивное материалистическое учение о высшей нервной деятельности, открывшее широкие перспективы для нового развития медицины и психологии. Он совершил поистине революционный переворот в физиологической науке. Вот как сам Павлов писал о существе своей научной работы: «Можно с правом сказать, что неудержимый со времён Галлея ход естествознания впервые заметно приостанавливается перед

высшим отделом мозга или, общее говоря, перед органом сложнейших отношений животных к внешнему миру. И казалось, что это — ударом, что здесь — действительно критический момент естествознания, так как мозг, который в высшей его формации — человеческого мозга — создавал и создаёт естествознание, сам становится объектом этого естествознания»¹.

Многолетние труды самого Павлова и многочисленных его сотрудников были направлены на изучение деятельности организма, вызываемой воздействием на него внешней среды. Для дальнейшего развития медицины и психологии имела огромное значение разработка павловского принципа единства внешней среды и организма.

Только изучение влияния внешней среды на процессы, протекающие во внутренней среде, и влияния факторов этой среды на головной мозг позволяет познавать все сложные взаимоотношения, которые создаются в организме в конкретных условиях его существования, и в конце концов даёт возможность управлять сложными взаимоотношениями организма и среды. Это особенно важно для медицинской практики.

Однако на деле оказалось, что после смерти И. П. Павлова многие его ученики, возглавившие научные институты, лаборатории и клиники, топтались на месте вокруг вопросов, уже решённых самим Павловым, либо тянули науку назад, опояывая и подменяя павловское учение идеалистическими теориями, заимствовавшими из учений буржуазных физиологов.

Материалы научной сессии Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвящённой проблемам физиологического учения академика И. П. Павлова, состоявшейся в июле 1950 года, сыграли важную роль в борьбе с идеалистическими взглядами в этой области науки.

Материалы сессии показали, что некоторые учёные — академик Л. А. Орбели, академик И. С. Бериташвили, профессор Анохин и другие — не поняли или не хотели понять творческого характера павловского учения, стремились оторвать физиологическую науку от жизни, от медицинской практики, пытались подменить павловское материалистическое учение теориями американских физиологов, стоящих на позициях субъективного идеализма.

Марровцы превратили антимарксистское учение Марра о языке, его антинаучные формулы в непререкаемые догмы и создали для «инакомыслящих» невыносимые условия, которые товарищ Сталин назвал аракатеевским режимом в науке. Подобное положение сложилось и в области физиологии и медицины, где Орбели и его шко-

¹ И. П. Павлов Полное собрание трудов, т. III, стр. 95.

ла навязывали всем свои ошибочные взгляды, противоречащие материалистическому учению Павлова. В физиологической науке тоже господствовал аракчеевский режим, созданный школой Л. А. Орбели.

Гениальный труд товарища Сталина по вопросам языкознания нанёс сокрушительный удар догматизму и начётничеству в области научного познания.

Разгром марризма с его аракчеевским режимом в языкознании повлёк за собой и разгром школы Орбели в физиологии. Развернулась широкая борьба против догматизма, за творческую разработку павловского наследия.

Благотворно влияние материалистических идей на развитие советской астрофизики. В этой области знания советские учёные сделали крупный шаг вперёд, оставив далеко позади достижения буржуазной науки.

Буржуазные учёные-астрономы до сих пор придерживаются устаревших, реакционных по своим философским выводам гипотез Джинса и других, возрождающих в замаскированном виде обветшалую систему Птолемея. Советские астрономы, вооружённые марксистско-ленинским учением, сделали за последнее время ряд важнейших открытий, особенно в области исследования звёздных ассоциаций.

Советская космогония обогатилась новой гипотезой академика О. Ю. Шмидта о происхождении нашей планеты. Крупные достижения нашей астрономической науки свидетельствуют о её творческом характере, ломающем старые традиции и прокладывающем новые пути.

Товарищ Сталин учит, что «никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики»¹. Критика и самокритика в области научной работы — такой же испытанный большевистский метод, как и во всех других областях общественной деятельности. Свобода критики в научном познании вытекает из самого характера научного познания, из того факта, что абсолютная истина достигается не сразу, а через сложение ряда относительных истин. Поэтому любое научное открытие не исчерпывает всей глубины проблемы, а предполагает новые исследования в той или иной области, ибо развитие научного познания идёт от незнания к знанию, от менее полного знания к более полному.

Могучее оружие критики и самокритики применяется Коммунистической партией во всех областях нашей жизни и деятельности как метод борьбы против всего старого и отжившего, против консерватизма и космо-

сти, как единственно верный метод улучшения любого дела, как метод движения вперёд.

Разоблачая аракчеевский режим, созданный марровцами в языкознании, товарищ Сталин показал, что этот режим был установлен для того, чтобы глушить и убивать свободу критики в угоду замкнутой группе «учеников» Марра и во вред самой науке, в ущерб её развитию. Такое же положение было и в биологической науке и в физиологии.

Характерно, что эти кастовые группы, образовавшиеся в той или иной отрасли науки под флагом якобы «защиты» марксизма, преследовали даже самые робкие попытки критики.

Так, например, вейсманисты преследовали мичуринцев, уверяя при этом, будто тем самым отстаивают принципы диалектического материализма в биологической науке. «Ученики» Марра до дискуссии душили критику всех, кто пытался посягнуть на непрерываемость учения Марра, а во время дискуссии стали уверять, что развивать дальше советское языкознание можно лишь на базе «уточнений» якобы марксистской теории Марра. В области физиологии и медицины консерваторы от науки пытались оправдать свой отход от учения Павлова тем, что они якобы старались защищать диалектический материализм от механистического материализма Павлова.

* * *

Советский социалистический общественный строй, самый прогрессивный строй в мире, несовместим с застоём и топтанием на месте. Природа нашего строя такова, что без критики и самокритики он не может развиваться, ибо критика и самокритика является движущей силой развития советского социалистического общества.

Советская наука служит интересам народа, интересам строительства коммунистического общества. Она помогает Коммунистической партии, Советскому государству, нашему народу осуществлять грандиозный сталинский план преобразования природы, она обслуживает великие стройки коммунизма, является основой технического прогресса. Советская наука — это достоинство советского народа. Любое достижение наших учёных, любой вклад в науку, который делают советские учёные, становится народным достоянием.

Ставя интересы народа, интересы Советского государства превыше всего, советские учёные-новаторы решительно борются против недостатков и ошибок в научном познании, самокритично оценивают свои научные успехи, сами не боятся критики и смело критикуют ошибки и недостатки других.

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 31

Такие новаторы в науке, как Павлов и Мичурин, не только умели ломать старые традиции в науке, отбрасывать и критиковать всё старое и отжившее, но самокритично оценивали свои научные успехи, понимали действительную роль критики и самокритики в достижении нового, в преодолении устаревших взглядов в науке.

В «Лекциях о работе больших полушарий головного мозга» академик Павлов показывает, что его метод чужд всякого догматизма. Он специально останавливается на ошибках, допущенных им и его сотрудниками в ходе работы, и на тех проблемах физиологии мозга, которые остались нерешёнными. Раскрывая перспективу развития физиологической науки о мозге и виды трудности, стоящие на этом пути, Павлов писал: «В общем же этот новый отдел физиологии поистине плескательен, удовлетворяя двум, всегда рядом идущим, тенденциям человеческого ума: стремлению к захватыванию всё новых и новых истин и протесту против претензий как бы законченного где-нибудь знания»¹.

Значение критики и самокритики в научной работе состоит в том, что она помогает учёным смотреть вперёд, а не назад, идти от одного научного успеха к другому, преодолевать элементы догматизма и зачётничества в науке. Насколько действительна в наших условиях критика и самокритика в научной работе, можно видеть из того, что некоторые наши учёные, придерживавшиеся ранее устаревших и даже реакционных взглядов в науке, под благотворным воздействием критики и самокритики не только признали свои ошибки, но и активно включились в исправление допущенных ошибок, встали твёрдо на путь творческого развития науки.

В условиях капитализма пад буржуазными учёными довлел реакционная идеология. Идеологи империализма делают всё для того, чтобы скрыть пороки и язвы капиталистического общества.

Буржуазный учёный рассматривает сделанное им открытие как свою собственность и всеми силами защищает её от других учёных, считая их конкурентами, посягающими на его добычу. В качестве примера можно указать на немецкого бактериолога Коха, открывшего возбудителя туберкулёза. Сделав открытие, он сразу же поставил под сомнение другие взгляды в области микробиологии. Так, Кох активно выступил против известного русского учёного И. И. Мечникова, открывшего в крови человека белые кровяные шарики (фагоциты) и доказавшего их большую роль в осуществлении защитных функций орга-

низма против патогенных микробов. В своих воспоминаниях Мечников пишет, что Кох делал всё, чтобы опорочить его теорию.

Подобные факты превращения учёного-новатора в учёного-консерватора или даже реакционера не случайны в условиях капиталистического общества. Они вытекают из самой природы капитализма.

Огромное значение для развёртывания критики и самокритики в советской науке имеют постановления Центрального Комитета КПСС по идеологическим вопросам и особенно исторические решения XIX съезда партии. Эти решения всколыхнули весь научный мир, показали деятелям науки, литературы и искусства, что критика и самокритика служит самым верным методом преодоления недостатков и ошибок в их работе.

Проведённые по указанию и под руководством ЦК КПСС научные дискуссии по философии, биологии, физиологии, дискуссии по экономическим вопросам убедительно показали учёным, что метод свободной критики в науке является лучшим противоядием против догматизма и зачётничества, лучшим методом творческого развития науки.

Труды товарища Сталина по вопросам языка и по экономическим вопросам оказали и оказывают громадное воздействие на дальнейшее развитие всех наук, они способствуют всё большему внедрению марксизма во все отрасли научного познания, а вместе с тем и внедрению метода критики и самокритики в науку.

За последнее время широко практикуется проведение свободных научных дискуссий, охватывающих новые отрасли знаний. Всё больший круг научных вопросов подвергается критическому обсуждению. Опыт проведения открытых научных дискуссий как в форме собраний, так и в печати показывает, что многие из них были исключительно плодотворными, помогли решить коренные вопросы развития науки.

Однако в практике проведения дискуссий имеются и серьёзные недостатки. Иногда дискуссии принимают схоластический характер. Так, например, дискуссия по вопросам логики, длившаяся продолжительное время, не дала желаемых результатов, не решила коренных вопросов этой науки. То же самое следует сказать и о дискуссиях в области правовых наук или истории, не решавших коренных вопросов развития науки, и выродившихся в бесплодный, схоластический спор, вроде того, как спор о том, что такое вина и что такое виновность, или спор о том, что считать «наименьшим злом», который затеяли историки, вместо того чтобы разрабатывать во-

¹ И. П. Павлов. Полное собрание трудов, т. IV, стр. 325.

прос о прогрессивном характере присоединения нерусских народов к России.

На XIX съезде партии в выступлениях тт. Покрёмбышева и Багирова были подвергнуты острой критике такого рода бесплодные, схоластические дискуссии. В своих решениях съезд с особой силой указал на необходимость всемерного развития критики и самокритики, особенно критики снизу. Эти указания съезда — руководящий принцип для всех наших деятелей, в том числе и для всех работников науки, призванных всемерно развивать критику и самокритику в научной работе.

Обмен мнениями и свобода критики в науке не являются самоцелью, а служат действенным средством, помогающим науке отвечать на запросы практики, дающим возможность максимально приблизить все отрасли знания к решению задач коммунистического строительства.

Задачи, связанные со строительством коммунизма в нашей стране, интересы

дальнейшего развития народного хозяйства, сооружение гигантских гидроэлектростанций и каналов, преобразование природы и строительство высотных зданий поставили перед нашей наукой новые вопросы, которые она успешно решает и будет решать благодаря тесной связи научных учреждений и учёных с производством, с практиками-стахановцами, прокладывающими новые пути в науке и технике. Борьба за успешное выполнение пятого пятилетнего плана — почётная задача советской науки, многочисленной армии советских учёных.

В Советском Союзе наука бесчисленными путями связана с жизнью. Она служит миру, великому делу строительства коммунизма. Учёные Советского Союза, вооружённые марксистско-ленинским учением, борются за дальнейшее развитие знаний, выполняя сталинское указание — превзойти достижения науки за рубежом, занять первое место в мировой науке.



Бдительность — острейшее оружие советских людей

Советский народ под водительством партии Ленина — Сталина добился огромных успехов в хозяйственном и культурном строительстве. Могучей крепостью мира стала наша держава, возглавляющая лагерь социализма и демократии, победоносно идущая по пути к коммунизму. Советский Союз имеет сотни миллионов друзей во всех уголках земного шара, с энтузиазмом встречающих каждый успех строителей коммунизма. Но рядом с СССР попрежнему существуют враждебные ему империалистические державы, реакционнейшие правительства. Беспредельна их ненависть к коммунизму, к свободе и демократии, к СССР. Их усилия, направленные к тому, чтобы подорвать, затормозить наше строительство, ослабить Советское государство, не только не уменьшились, а возросли. Методы, которыми они пользуются, становятся всё более изощрёнными, коварными, подлыми. Только высокая бдительность всех советских людей, всех трудящихся СССР, может парализовать гнусные действия империалистической агентуры, наёмных шпионов и убийц, засылаемых в нашу страну разведками империалистических государств.

Принятый XIX съездом Устав КПСС обязывает члена партии соблюдать партийную и государственную тайну, проявлять политическую бдительность, памятуя, что бдительность необходима на любом участке и в любой обстановке. Это требование Устава находится в прямой связи с величайшими хозяйственными успехами, достигнутыми в послевоенный период. Как отметил в своём докладе тов. Г. М. Маленков, успехи Советской страны породили настроения беспечности, самодовольства и благодушия, привели к притуплению бдительности у некоторых наших работников, к забвению того факта, что капиталистическое окружение всё ещё существует, что наши успехи вызывают отчаянную злобу империалистов и ведут не к затуханию, а к обострению классовой борьбы.

Создатели нашего социалистического государства В. И. Ленин и И. В. Сталин всегда указывали на необходимость повышения революционной бдительности перед лицом враждебного капиталистического окружения и его агентуры внутри страны.

В 1921 году, подводя итоги осуществления политики советской власти, В. И. Ленин говорил, что первая заповедь, первый урок, который должны усвоить себе все рабочие и крестьяне, все трудящиеся, — это быть начеку, постоянно помнить, что мы окружены людьми, классами, правительствами, которые открыто выражают величайшую ненависть к нам.

В. И. Ленин, призывая трудящихся к безукоризненному выполнению советских законов, к повышению революционной бдительности и беспощадной борьбе с врагами нашего государства, говорил:

«...Надо быть искусным, осторожным, сознательным, надо внимательнейшим образом следить за малейшим беспорядком, за малейшим отступлением от добросовестного исполнения законов Советской власти... Малейшее беззаконие, малейшее нарушение советского порядка есть уже дыра, которую немедленно используют враги трудящихся...»¹.

В письме ЦК ВКП(б), изданном в связи со злодейским убийством С. М. Кирова, говорилось: «Надо помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за «крайнее средство», как единственное средство обреченных в их борьбе с Советской властью. Надо помнить это и быть бдительными»².

На февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году товарищ Сталин ещё и ещё раз призвал советский народ к политической бдительности.

«Для того, чтобы напакоstitь и навредить, для этого вовсе не требуется большое

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 515.

² История ВКП(б). Краткий курс, стр. 312.

количество людей, — говорил товарищ Сталин. — Чтобы построить Днепрострой, надо пустить в ход десятки тысяч рабочих. А чтобы его взорвать, для этого требуется может быть несколько десятков человек, не больше. Чтобы выиграть сражение во время войны, для этого может потребоваться несколько корпусов красноармейцев. А для того, чтобы провалить этот выигрыш на фронте, для этого достаточно несколько человек шпионов где-нибудь в штабе армии или даже в штабе дивизии, могущих выкрасть оперативный план и передать его противнику. Чтобы построить большой железнодорожный мост, для этого требуются тысячи людей. Но чтобы его взорвать, на это достаточно всего несколько человек»¹.

Исторический опыт показывает, что каждое агрессивное государство, прежде чем начать войну против другого государства, задолго, иногда за много лет до нападения, направляет в эту страну своих агентов — шпионов, диверсантов, провокаторов и убийц.

Готовясь к новой мировой войне, американско-английские империалисты стараются заблаговременно заслать в нашу страну, в Китай и европейские страны народной демократии шпионов, диверсантов, убийц. Так называемая тайная война, то есть шпионаж и диверсии, занимает большое место в агрессивной политике американского империализма.

Не гнушаясь никакими средствами и методами, разведывательные органы США, Англии и других капиталистических государств стремятся получить интересующую их информацию о Советском Союзе и странах народной демократии, подорвать экономическую мощь и обороноспособность стран социалистического лагеря.

Правительства американско-английского блока идут на всё, на любые подкупы и на любые подлоги, они не жалеют денег на засылку шпионов и диверсантов в страны социалистического лагеря. Правительство США в 1951 году официально ассигновало 100 миллионов долларов на финансирование действий шпионов, диверсантов и вредителей в СССР и странах народной демократии.

Жизнь полностью подтвердила ленинскую характеристику американского империализма как самого реакционного и наглого, самого кровавого и бешеного империализма.

¹ И. В. Сталин. Доклад и заключительное слово на пленуме ЦК ВКП(б) 3—5 марта 1937 г. Партиздат ЦК ВКП(б), 1938, стр. 27.

США превратились в международного жандарма.

Американский империализм выступает сейчас как самая реакционная сила на международной арене. Поэтому наиболее активную и наиболее наглую подрывную деятельность ведёт именно американская разведка.

Реакционное правительство Трумэна, начиная с 1946 года, осуществило ряд мероприятий по организации, расширению и активизации деятельности разведки США. Был создан единый разведывательный центр под названием «Национальное бюро разведки». В Европе и Азии американцы организовали новые шпионские центры, а существовавшие ранее активизировали. На Дальнем Востоке восстановлена и действует под различными названиями японская разведка, финансируемая и руководимая разведывательным отделом штаба американских войск. Японская разведка направляет свою подрывную работу против Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, всячески стремится проникнуть на территорию советского Дальнего Востока.

О том, какие размеры приобрела диверсионно-шпионская подрывная деятельность американской разведки, направленной против нового Китая, дают представление следующие факты.

Только за 1949 год органами безопасности Китайской Народной Республики было арестовано свыше двадцати тысяч профессиональных шпионов и диверсантов, состоявших на службе у американской разведки. Обнаружено и расшифровано девять тысяч мандатов и директив, присланных из Америки через Тайвань и Гонконг. У шпионов отобрали около двух тысяч тайных радиостанций американского производства, двести тысяч пакетов со взрывчаткой, большое количество снарядов замедленного действия и много другого различного оружия.

В Западной Германии под крылышком США возродилась немецко-фашистская разведка, которая ведёт шпионско-диверсионную работу против Германской Демократической Республики и советских войск в Германии и Австрии. На американскую шпионскую службу перешла вся бывшая агентурная сеть фашистского гестапо.

Особенно активную деятельность развернули израильская разведывательная служба и международная буржуазно-националистическая сионистская организация «Джойнт»,

являющаяся филиалом американской разведки.

Даже такой известный слуга американского империализма, как военный обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Болдуин, недавно отмечал, что «израильская разведывательная служба... даёт такие результаты — в виде фактов и анализов, — что они оказываются столь же полезными... а может быть, и более точными, чем результаты работы наших значительно более крупных органов».

9 февраля сионистские бандиты совершили подлое злодеяние, направленное против советской миссии в Тель-Авиве: при явном попустительстве полиции они произвели на территории миссии взрыв бомбы.

Несколько дней спустя телеграф принёс весть о том, что правящие круги Израиля готовятся открыто включить свою страну в агрессивный Атлантический блок.

Израильская правящая клика — такой же послушный исполнитель приказов американских империалистов, как и находящаяся в непосредственном услужении у американской разведки организация «Джойнт».

Что же такое «Джойнт»? Руководители этой организации всегда лживо утверждали, будто она занимается исключительно благотворительной помощью евреям в разных странах. На самом же деле факты срывают маску благотворительности с «Джойнта» и полностью раскрывают шпионско-диверсионное содержание всей её деятельности. В этом подлом деле организация «Джойнт дистрибушин комити» (сокращённо — «Джойнт») имеет большой опыт. Она была создана в США ещё в годы первой мировой войны. Как и другие сионистские буржуазно-националистические организации, «Джойнт» с первых же шагов стала проводником и выразителем интересов американо-английского империализма.

Сионистское движение отличается большой разветвлённостью. Оно объединяет различные политические организации, религиозные, так называемые культурно-просветительные и благотворительные и т. д. Их классовый характер совершенно одинаков: это буржуазно-националистические организации, являющиеся заклятыми врагами трудящихся. Сионисты подрывали и подрывают единство рядов пролетариата в борьбе против капиталистического рабства, в интересах колонизаторов вредят развитию национально-освободительного движения на Ближнем Востоке. В годы первой и второй мировых войн они помогали «своей» буржуазии наживаться на военных заказах.

Сионистские организации открыто и угоднически поддерживают внешнюю и внутреннюю политику властителей США, а «Джойнт» была прямо создана американской разведкой для ведения широкой шпионской, террористической и иной подрывной деятельности в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Советские люди помнят, как в 1921 году, прикрываясь лицемерными фразами о «помощи голодающим восточных областей России», пресловутая гуверовская «АРА» занималась политической, военной и экономической разведкой и шпионажем; одним из подсобных органов «АРА» была «Джойнт».

Органы безопасности Венгерской Народной Республики вскрыли преступные происки «Джойнта» в Венгрии. Недавний процесс Сланского — Клементиса разоблачил шпионские очаги сионистов в Чехословакии. Всю бандитскую деятельность «Джойнта» в странах народной демократии направляет специально созданный европейский отдел «Джойнта», во главе которого стоит матерый агент американской разведки, некий Шварц.

Недавно в Нью-Йорке был утверждён очередной бюджет «Джойнта» в объёме 25 миллионов долларов. Как указывает английская коммунистическая газета «Дейли уоркер», большинство этих средств расходуется по графе так называемых административных расходов, отнюдь не связанных с благотворительностью.

Усилил свою подрывную деятельность и Ватикан — этот международный центр шпионажа, один из наиболее злостных огрядов международной реакции. Ватикан активно поддерживает все агрессивные планы американского империализма. В ватиканском «восточном институте» и на специальных курсах в Риме готовятся тысячи священников и монахов для шпионской, диверсионной и террористической деятельности в странах социалистического лагеря.

За последние годы в странах народной демократии был раскрыт ряд заговоров, террористических и шпионских организаций, в которых главную роль играли представители католической церкви.

Процессы кардинала Мишсенти и архиепископа Гресса в Венгрии, главарей католических орденов в Чехословакии, шпионов и диверсантов, судимых в Румынии и Польше, показали всему миру, что религиозная деятельность верхушки католического духовенства служила ширмой для шпионажа.

Состоявшиеся в странах народной демократии судебные процессы над многочисленными шпионскими группами — агентами американской и английской разведок — показали, что империалисты США и Англии в борьбе против стран демократического лагеря превосходили по своей гнусности и подлости даже питлеровцев.

В качестве одного из важнейших орудий подрывной деятельности американские реакционеры используют дипломатический аппарат и корреспондентскую сеть своих агентств и газет. Разведчики направляются в СССР в качестве советников, секретарей, военных атташе, а то и просто клерков посольства.

Бывшая сотрудница американского посольства в Москве Аннабелла Бюкар в своей книге «Правда об американских дипломатах» весьма выразительно разоблачила шпионскую деятельность американских дипломатов в Советском Союзе.

Аннабелла Бюкар пишет: «Когда в качестве посла в Москву прибыл профессиональный разведчик генерал Смит, то многое из того, что осталось после Гарримана, который был разведчиком лишь по призванию, а не по профессии, ему не понравилось. С точки зрения Смита, в разведывательной работе посольства было много «наивного», и он её коренным образом перестроил. Смит заставлял каждого сотрудника посольства, вплоть до последнего клерка, заниматься разведывательной работой».

В книге английского офицера Ричарда Сквайрса «Дорога войны» подробно рассказано о шпионской деятельности бывшего американского военного атташе в Москве генерала Гроу. В руки Сквайрса попала фотокопия личного дневника этого шпиона-дипломата. В дневнике Гроу систематически, изо дня в день, вёл записи о своей деятельности на шпионско-«дипломатическом» поприще. Для сбора шпионских сведений Гроу рыщет по всем районам Москвы, выезжает в Псков, Орёл, Владимир, Муром, Шатуру, Ясную Поляну, Ростов-на-Дону и другие города СССР. После поездки в Шатуру Гроу записал: «Крупная электростанция, работающая на местном топливе, — хорошая цель». В Ростове внимание Гроу привлекает мост через Дон. Он отмечает: «Мост здесь — лучшая мишень на юге России». И так день за днём Гроу везде ищет лишь объект для бомбардировок и диверсий.

Для Гроу собирают шпионские сведения «дипломаты» и других государств: англича-

нин Поуп, канадский полковник Гимонд, греческий дипломат Сгурдеос, турецкий военный атташе Кер-Оглы.

Бывший английский авиационный атташе в Варшаве полковник Тэрнер, уличённый в шпионаже, на судебном процессе, состоявшемся в декабре 1950 года, среди шпионов, обладающих дипломатическими паспортами, назвал двадцать девять англичан, тринадцать американцев и трёх французов.

Немало фактов, характеризующих приёмы и методы работы разведывательной службы империалистических государств, содержится в изданных в последние годы книгах английского журналиста Ральфа Паркера «Заговор против мира», бывшего начальника отдела информации при французском посольстве в Москве Жана Катала «Они предают мир», французского прогрессивного писателя Рено де Жувенеля «Армия наёмников», «Тито — главарь предателей» и «Интернационал предателей». В этих книгах неопровержимо и обстоятельно доказано, что государственный департамент США и министерства иностранных дел Англии и Франции организуют шпионские разведывательные центры под «крышей посольств и миссий, что многие американские, английские и другие журналисты, дипломаты и сотрудники посольств — это самые настоящие шпионы с дипломатическими паспортами.

Многочисленные провалы американо-английских шпионов в СССР и странах народной демократии ещё больше озлобляют поджигателей войны. Империалисты не останавливаются ни перед какими препятствиями в своей подрывной деятельности, становятся ещё более коварными. Они не брезгуют никакими средствами для того, чтобы найти в Советском Союзе какие-нибудь очаги «влияния» или «питательную среду», чтобы выведать государственную и военную тайну. На языке шпиона «питательная среда» — это те люди, которые могут стать его жертвой, помочь ему вольно или невольно. Подобных людей враг ищет прежде всего среди тех, кто потерял чувство достоинства советского человека, чувство гордости за нашу социалистическую Родину, кто проявляет раболепие и низкопоклонство перед иностранщиной.

В СССР давно разбиты и ликвидированы эксплуататорские классы. Но ошибочно было бы думать, что с ликвидацией эксплуататорских классов международный империализм потерял всякую возможность вербовать свою агентуру внутри нашей страны. Ликвидировать эксплуататорский класс —

это значит сломить его сопротивление в открытом бою, лишить его экономической базы, источников развития, отобрать орудия и средства производства и превратить их в общественную, социалистическую собственность. Это и было осуществлено в нашей стране. Но ликвидация эксплуататорских классов не означает полную ликвидацию всех и всяческих враждебных элементов.

У нас ещё сохранились пережитки буржуазной идеологии, пережитки частнособственнической психологии и морали, сохранились носители буржуазных взглядов и буржуазной морали — ж и в ы е лю д и, скрытые враги нашего народа. Эти враги, поддерживаемые капиталистическим миром, вредили и будут вредить нам и впредь. Именно об этом убедительно говорит дело группы врачей-убийц, подлых шпионов, продавшихся американско-английским империалистам. Гнусные убийцы умели маскироваться и приспосабливаться, лгать и изворачиваться.

Вовси, Б. Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер находились на откупе у шпионско-террористической организации «Джойнт», свившей себе гнездо в США. Другие участники вредительско-террористической группы оказались, как сейчас установлено, старыми агентами английской разведки, служили ей с давних пор, выполняя её преступные и кровавые задания.

Наёмники иностранных разведок, используя своё положение деятелей медицины и злоупотребляя доверием больных, ставили им неправильные диагнозы, преднамеренно подрывали их здоровье и неправильным лечением губили людей. Эти преступники убили товарища А. А. Жданова и довели до смерти товарища А. С. Щербакова. Преступники старались вывести из строя руководящих военных работников и тем самым ослабить оборону страны. Арест террористов расстроил их злодейские планы, явился сокрушительным ударом по международной сионистской организации «Джойнт».

Никакой социальной опоры враждебные элементы внутри Советского Союза не имеют и не могут иметь. Они обращают свой взор к капиталистическому миру, и иностранные разведки охотно вербуют такого рода продажных, растленных типов.

Но наряду с кадровыми, специально обученными агентами, засылаемыми извне и вербуемыми на территории СССР из числа врагов народа и морально разложившихся элементов, иностранные разведки исполь-

зуют также ротозеев, болтунов, лиц, потерявших бдительность, не умеющих хранить государственную тайну.

Множество фактов, на первый взгляд малозначительных, представляют для разведчика большой интерес. Одно неосторожно оброненное слово порой становится для шпиона «ключом к той тайне, за которой он охотился долгое время. Известны, например, факты, когда шпионы для сбора сведений «устраивались» на работу в учреждения бытового обслуживания — ателье, парикмахерские и т. д.

Так, в одном из пограничных городов рядом с крупным заводом и воинской частью появилась женская парикмахерская. Как оказалось потом, это была ширма, за которой действовала шпионская группа. Важную секретную информацию шпионки-парикмахерши систематически выводывали от своих клиенток — жён некоторых ответственных работников завода и жён командиров.

Благоприятную для шпиона обстановку создают болтливые люди. Огромный вред Родине может причинить человек, не умеющий управлять своим языком.

Очень часто болтливые люди становятся невольными пособниками шпионов. Болливость чаще всего порождается желанием похвастаться своей осведомлённостью. При каждом удобном случае такой хвастун старается дать понять, что ему оказано особое доверие и то, что недоступно «простым смертным», дано знать ему. Такой хвастун готов поделиться (разумеется, «по секрету») с первым встречным и, разумеется, предупредив, чтобы тот «никому ни слова». О таких людях говорят, что им легче удерживать на кончике языка горячие уголья, нежели доверенную тайну.

В иностранных разведках существуют подробно разработанные инструкции для охоты за болтунами. Английская разведка в указаниях своим шпионам отмечает:

«Люди по болтливости разделяются на простых болтунов и хвастунов, болтунов темпераментных и болтунов простодушных. Всегда помни об этом». А вот как поучает своих агентов американская разведка: «Хвастовство — это слабость, свойственная в большей или меньшей степени каждому человеку. Ищите хвастунов, наберитесь терпения, часами выслушивайте этих болтунов, и вы получите нужную информацию».

Советский человек не должен забывать, что нет такой гнусности, на которую не пу- скались бы американско-английские развед-

чики. Вот почему от всех советских людей настоятельно требуется зоркость, высокая бдительность, умение во-время распознавать и обезвреживать коварного врага, в какую бы тогу он ни рядился, к какой бы хитрости ни прибегал.

По свидетельству Аннабеллы Бюкар, сотрудники американского посольства в Москве специально совершали поездки по Советскому Союзу. Возвращаясь, они составляли подробные доклады обо всём виденном и слышанном в пути, о всех встречах с советскими людьми, разговорах с ними, о сведениях, почерпнутых из этих разговоров.

Сотрудница американского посольства в Москве Луиза Люкке предприняла поездку во Владивосток якобы с дипломатической почтой, а в действительности с разведывательными целями. Ей было приказано завязывать знакомства в пути следования, выявлять военные объекты, расположенные вдоль сибирской магистрали.

Многие иностранные агенты, разоблачённые советскими властями, показали, что для них ценным источником информации были именно вагонные встречи. Агенты иностранных разведок разъезжают под самыми разнообразными личинами: то под видом «военнослужащего», то под видом «солидного инженера» или «ответственного работника». Это может быть по внешнему виду «колхозник», «рабочий», наконец, «домашняя хозяйка», едущая к родственникам. Шпионы прекрасно владеют искусством выпытывания — этому их специально обучают.

Известны случаи, когда секретные сведения делаются достоянием семейного круга. Муж, например, поделился «интересной новостью» с женой, которая «под строгим секретом» расскажет её подруге. Та, в свою очередь, выболтаёт тайну соседке, и в конце концов важные государственные сведения попадают в руки шпионов, а болтуны оказываются в роли предателей.

«В личном смысле,— указывал В. И. Ленин,— разница между предателем по слабости и предателем по умыслу и расчёту очень велика; в политическом отношении этой разницы нет, ибо политика — это фактическая судьба миллионов людей, а эта судьба не меняется от того, преданы ли миллионы рабочих и бедных крестьян предателями по слабости или предателями из корысти»¹.

Эти указания В. И. Ленина забывать нельзя.

Бдительность должна быть нашим по-

стоянно действующим оружием. Особо должна соблюдаться высокая бдительность в подборе кадров. Практика показывает, что нарушение ленинско-сталинского принципа подбора кадров по политическим и деловым качествам неизбежно ведёт к проникновению в государственный аппарат и в хозяйственные органы непроверенных, а то и чуждых людей.

Забвение бдительности при подборе кадров даёт возможность сомнительным элементам, проходимцам и аферистам, устроившись в советские учреждения, предприятия и торговые организации, где они выкрадывают секретные документы и расхищают социалистическую собственность.

Исключительно важное значение в борьбе против благодушия, беспечности и ротозейства, за сохранение партийной и государственной тайны имеет широкое развитие критики и самокритики как испытанного метода преодоления недостатков и ошибок в нашей работе. Чтобы своевременно вскрывать и пресекать проявления политической беспечности, недостатков в охране общественной собственности предприятий и колхозов, необходима широкая критика снизу.

Товарищ Сталин учит, что нам нужно поставить дело так, «чтобы бдительность рабочего класса развивалась, а не заглошала... Но для того, чтобы добиться этого, нам нужно развить критику наших недостатков снизу, нам нужно сделать критику массовой, нам нужно воспринять и провести в жизнь лозунг самокритики»².

Большую роль играют письма и заявления трудящихся, представляющие собой одно из важнейших выражений критики снизу. Письма и сигналы от рабочих и служащих помогли вскрыть ряд серьёзных недостатков в работе некоторых учреждений, колхозов, совхозов, помогли разоблачить и привлечь к ответственности отдельных руководителей, потерявших бдительность, виновных в разглашении государственной тайны, помогли вскрыть факты нарушения Устава сельскохозяйственной артели и разбазаривания колхозного имущества.

Воспитывать советских людей в духе революционной бдительности — это значит повышать их идейно-политический уровень, их теоретическую закалку, их моральную стойкость. Именно теоретическая закалка, политическая сознательность, правильное понимание каждым гражданином СССР происходящих событий и есть основа высокой и постоянной большевистской бдительности,

¹ В. И. Ленин. Соч., т. 30, стр. 329.

² И. В. Сталин. Соч., т. 11, стр. 36.

Мощным средством идейного воспитания советских людей в духе революционной бдительности может и должна стать наша художественная литература. Разоблачение скрытых врагов нашего народа — носителей буржуазных взглядов и буржуазной морали, — воспитание активной революционной ненависти к подлому врагу — одна из важнейших задач, стоящих перед советскими писателями и деятелями искусства.

Огнём сатиры должна выжигать наша литература всякие проявления беспечности и благодушия, пригвождая к позорному столбу всякого рода болтунов и ротозеев. Ротозейство — наш серьёзный враг. «Именно ротозейство наших людей и составляет питательную среду для шпионов и диверсан-

тов», — отметил в своём докладе о XXIX годовщине со дня смерти В. И. Ленина тов. Н. А. Михайлов. Советские писатели должны изобразить и подлинного героя нашей борьбы — бдительного, политически зоркого человека, который способен разоблачить любые происки и козни врага.

Политическая настороженность и бдительность — наше боевое, непобедимое оружие, и оно должно стать достоянием каждого советского гражданина.

Каждый гражданин нашей страны должен проникнуться сознанием личной ответственности за судьбу Родины, за надёжную охрану её безопасности.

Быть бдительным всегда, везде и всюду — святая обязанность каждого советского человека.



Буржуазный театр в тушке

Современное буржуазное театральное искусство США переживает глубокий упадок. В основе этого явления, мне думается, лежат две причины. Первая и основная та, что буржуазный театр служит доллару, призван своими хозяевами укреплять капиталистический строй, оправдывать эксплуатацию, ограбление народов, подготовку и развязывание новой войны. Во-вторых, деятельность буржуазных театров строится на тех же принципах, что и деятельность любого капиталистического предприятия, то есть в центре внимания оказывается не искусство, а погоня за прибылью.

Американский капиталист в памфлете М. Горького «Один из королей республики» говорит, что единственно разумный, на его взгляд, путь создания «хорошей», с его точки зрения, литературы заключается в следующем: «нанять поэтов, и тогда будут сделаны все книги, какие нужны для Америки... Вот и всё». По этому рецепту и строится современный театр в США.

Характеристику его следует начать с положения театральной культуры в столице США Вашингтоне. Она исчерпывается несколькими словами: в Вашингтоне нет ни одного театра. Самый этот факт и его причина весьма характерны для «американского образа жизни». Театр не относится к числу культурных потребностей привилегированной и чиновной знати столицы США. Культурные запросы и жажда зрелищ этой части واشингтонцев удовлетворяются ресторанами, барами, коктейль-холлами, пивными; много в Вашингтоне и домов терпимости; немало церквей; имеется несколько кино. Но театра нет ни одного — ни драматического, ни музыкального.

Правда, в Вашингтоне есть одно театральное здание, но уже много лет оно не используется по назначению. Владелец этого здания, махровый расист, не желает пускать в «свой театр» негров. Единственное театральное здание Вашингтона с не мень-

шей прибылью для его владельца стало сдаваться под свадебные вечера богачей, под балы с танцами и демонстрацией голливудских кинофильмов.

Центром театральной жизни США является знаменитый Бродвей. Театральный Бродвей — это не только 22-километровая магистраль в центре Нью-Йорка, но и все примыкающие к ней боковые улицы и переулки. И вот в этом районе, именуемом Бродвей, расположено ныне 32 американских театра. Как будто немало! Однако разберёмся в этой цифре.

1

Тридцать два театра на Бродвее вовсе не театры в том смысле, как это понимают советские люди. Со словом «театр» у нас прежде всего ассоциируется представление о театральном коллективе, об определённой театральной школе, об артистических традициях, о репертуаре данного театра. Мы говорим: «Художественный театр», «Малый театр», «Театр имени Вахтангова», «Театр имени Моссовета», «Театр Ленинского комсомола» — и с каждым из этих названий связываем представление об определённом художественном направлении, об известных режиссёрах, драматургах, художниках, о круге артистов, репертуаре. Такие представления и ассоциации совершенно невозможны применительно к театрам Бродвее.

Тридцать два театра Бродвее — это только 32 театральных здания, и ничего больше.

В США вообще нет самостоятельной и цельной театральной школы или системы.

Передовые американские артисты, в том числе Чарли Чаплин, после гастролей Московского Художественного театра в Америке и выхода на английском языке трудов К. С. Станиславского с завистью говорили о том, как счастлива советская

театральная молодёжь, воспитывающаяся на базе научно обоснованной школы.

Известно, что система Станиславского — это основа для практического овладения методом социалистического реализма советским театром. Искусство сценического переживания помогает режиссёрам и актёрам создавать на сцене правдивые, реалистические, социально-насыщенные художественные образы. Система Станиславского учит осмысленному, активному и целеустремлённому сценическому действию, добивается гармонического слияния воедино в процессе сценического творчества воли, ума и чувства актёра.

Этой реалистической школе советского театра диаметрально противоположен «модернизм» буржуазного театрального искусства. Понятие «модернизм» объединяет самые разнообразные формалистические направления в искусстве.

В послевоенное время на американском книжном рынке появилось немало «практических руководств по постановке пьес».

В этих руководствах популяризируются «новейшие» стили: символический, экспрессионистский, сюрреалистический, конструктивный. Всё это разновидности современного буржуазного модернизма в театральном искусстве, разновидности, для которых в равной мере характерна безидейность, гипертрофия формы и господство штампа.

Говоря о буржуазном западноевропейском и американском театре, К. С. Станиславский утверждал: «Прежде там были традиции. Сейчас там абсолютно ничего нет». Если в тридцатых годах, когда была дана эта убийственная характеристика буржуазных театральных школ, их содержание было равно нулю («абсолютно ничего нет»), то сейчас оно может определяться лишь отрицательными величинами: после войны буржуазный театр ещё больше деградировал. Талантливые люди на Западе и в Америке могут стать хорошими актёрами отнюдь не благодаря, а вопреки существующим в этих странах «новейшим» театральным системам.

Чтобы получить представление об особенностях модернистских направлений в современном буржуазном театре и их идейных истоках, остановимся на воззрениях некоторых теоретиков театрального модернизма в США и Западной Европе.

В основе этих воззрений лежат различные идеалистические теории современной буржуазной философии. Некоторые театроведы придерживаются модного реакцион-

ного философского учения — прагматизма. Американские прагматисты во главе с Джоном Дьюи утверждают, что «истина имеет лишь условный характер». Суть подобного учения очевидна. Она сводится к оправданию любой идеи и любого действия эксплуататоров-империалистов. В применении же к театру прагматисты стремятся вытравить из спектаклей жизненную правду, реалистический ход событий, заменив их надуманной идеалистической схемой, направленной к оправданию реакционных идей.

Известный теоретик американской буржуазной эстетики, Д. Паркер, утверждает, что искусство не должно отражать явлений реального мира, так как «искусство есть лишь орудие внутренней эстетической жизни отдельного индивида, форма эстетического эксперимента».

Теории американских прагматистов были восприняты и деятелями буржуазного театра в Англии и Франции.

Реальные, глубоко человеческие образы шекспировских пьес, развивающиеся в них события трактуются буржуазными режиссёрами, как плод «воображения» одного из действующих лиц пьесы.

Один видный английский режиссёр писал: «Я считаю, что пьеса должна быть вымыслом, а не действительностью, видением, а не жизнью. Пьеса должна быть обращена к подсознанию человека, а не к его разуму».

И вот режиссёрам и актёрам рекомендуется изображать на сцене события и людей в пьесах Шекспира, как события, происходящие, например, во сне умирающего героя (принца Гамлета, Брута и т. д.). По поводу того, как следует ставить шекспировского «Макбета», английский театральный журнал пишет: «В этой пьесе нет ничего, кроме воображения. Хотя в реальности и существовали Макбет, Дункан и действительно произошло убийство, но какое нам до этого дело!» Правду жизни, реальные факты буржуазные теоретики театра отбрасывают, заменяя их надуманными идеалистическими схемами.

Подвизаются в современном буржуазном театре и «семантики» — последователи другой разновидности субъективного идеализма — семантизма. сторонники этого учения отрывают язык от его реального содержания. Для них человеческая речь не имеет никакого отношения к объективной реальности, а представляет собой лишь совокупность условных знаков. Обществен-

ные противоречия семантики объясняют несовершенством языка. Если бы, к примеру, все условились называть капитализм социализмом, то всякие классовые «недо-разумения» якобы тут же исчезли. Применительно к театру эта разновидность идеализма отрицает за языком пьес и за смыслом актёрского текста всякое значение в спектакле: всё дело в темпе актёрских движений и в ритме (а отнюдь не в смысле) произносимых актёрами слов. Комбинируя ритм движений и темп речи, актёры могут-де достигать сильного воздействия на зрителей, совершенно независимо от смысла слов. Семантика в театре — проводники самого дешёвого трюкачества. Пьесы писателей-реалистов, в том числе драматургов-классиков, при их реалистическом представлении в театре зовут к борьбе с реакцией и мракобесием, рождают у зрителей мысли о свободе, чувство ненависти к эксплуататорам. Задача режиссёров и актёров буржуазного театра — нейтрализовать «вредные» идеи, выраженные в произведениях драматургов-реалистов. Добиваются они этого с помощью театрально-семантического метода «акробатического трюкачества». Французский теоретик театра и режиссёр Арно, сторонник семантизма, утверждает: «Чтобы воздействовать на зрителя, надо его ошеломить. А для этого и в отношении движения на сцене и в отношении речи усвойте необычайно быстрый, доводящий зрителя до головокружения сценический ритм, пусть он будет бешеным, иступлённым, дьявольски ускоряющим реакцию зрителя; доведите ритм речи до крайности, дайте ему волю, как сорвавшемуся с цепи бешеному псу, чтобы он действовал на слушателя, как медный купорос на нежную кожу». В результате этого «динамического воздействия», уверяет Арно, «зритель впадёт в транс и воспримет реальность, как акробатический трюк».

Реакционные идеалистические теории театрального искусства несовместимы, естественно, и с реалистическими взглядами на характер актёрского мастерства.

В книге американских авторов Фишера и Робертсона, посвящённой актёрскому мастерству, даются такие, например, советы: «Для изображения нервного субъекта актёр должен опустить плечи, дёргать головой, ломать руки, проводить рукой по волосам и тереть своё платье».

Это — возведённое в теорию, в программу актёрского исполнения штампованное

«искусство» театральных ремесленников. Вспомним, что говорил о подобного рода «искусстве» К. С. Станиславский:

«С помощью мимики, голоса, движений актер-ремесленник преподносит зрителям со сцены лишь внешние штампы... мертвую маску несуществующего чувства. Для такого внешнего наигрыша выработан большой ассортимент всевозможных актерских изобразительных приемов, якобы передающих внешними средствами всевозможные чувства, которые могут встретиться в сценической практике. В этих ремесленных приемах самого чувства нет, а есть только передразнивание, подобие предполагаемого его внешнего результата; духовного содержания нет, а есть лишь внешний прием, якобы его выражение... Всеми этими внешними приемами игры актеры ремесленного толка хотят заменить живое, подлинное, внутреннее переживание и творчество... Некоторые из этих штампов еще обладают какой-то театральной эффективностью, подавляющее же большинство их оскорбляет дурным вкусом и удивляет узостью понимания человеческого чувства, прямолинейностью отношения к нему или просто глупостью»¹.

Всё усиливающееся господство штампа в игре американских актёров — показатель полного падения мастерства и вырождения искусства на американской сцене.

Штамповая игра на сцене не требует ни осмысливания актёром своей роли, ни переживания, ни чувства. Поэтому американские теоретики театрального мастерства пребывают от актёра бездумного, чисто механического отношения к роли.

«Маститый» американский театровед Браун недавно с восторгом вспоминал в печати метод игры американской артистки Фиск, выступавшей на сцене в начале нынешнего века. Этот метод Браун рекомендует и современным американским актёрам. Состоит он в том, чтобы, «играя роль, упорно думать только о полдюжине пива, которые предстоит выпить после спектакля».

В США имеет ныне широкое распространение основанное на теориях «прагматиста-инструменталиста» Джона Дьюи утверждение представителей идеалистической буржуазной эстетики о том, что «искусство тождественно... религии», что будто бы «искусство есть проявление религиозного чувства» и что, в частности, «театр есть

¹ К. Станиславский «Работа актера над собой», ч. I, М.-Л., 1948, стр. 47—49.

учреждение светское только по форме, а по существу — религиозное». Так теоретики американского театра доходят до откровенной поповщины. Естественно, что подобные теории не могут стать источником подлинного творчества для режиссёров, актёров, театральных художников.

По словам американского режиссёра Майнера, режиссёр в театре Бродвея — менее всего творческий работник. Он лишь по возможности быстро создаёт спектакли, пользуясь выработанными практикой Бродвея стандартами. С течением времени сложилось два основных режиссёрских способа «ускоренной» постановки пьес: 1) постановки «по формуле». Этот способ означает применение режиссёром готовых стандартных технических приёмов и трюков, накопившихся в арсенале режиссёра за долгие годы работы над однотипными американскими пьесами, такими же, в сущности, «стандартными»; 2) постановки, учитывающие требования и желания театральной «звезды», участвующей в спектакле, что означает полное подчинение режиссёра воле «звезды».

Режиссёр ремесленно использует технические трюки, обилие которых способно сделать спектакль пёстрым, но не может вдохнуть в него жизненную правду. Актёрское исполнение основывается не на ансамблевости, а на произволе «звёзд». «Звезда» толкует пьесу, как находит для себя выгодным и нужным, и сообщает свои желания режиссёру. В результате — крайний индивидуализм в игре, полное отсутствие ансамбля.

2

Но вернёмся на Бродвей и заглянем за кулисы его театров.

Почти все театральные здания Бродвея принадлежат двум трестам, которые по баснословно высоким ценам сдают их в аренду. Арендатор заранее должен выплатить тресту обусловленную, как правило, крупную, сумму, а затем отдать 25 процентов сбора. Если у драматурга или у купившего пьесу «продюсера» (антрепренёра) нет денег для аренды театрального помещения, то они обращаются к современным американским «меценатам», которые в отличие от античного Мецената, покровительствовавшего искусству из бескорыстной любви к нему, получают за своё «покровительство» 50 процентов барыша. На Бродвее таких «покровителей» искус-

ства называют «театральными ангелами».

В большинстве случаев в роли подобных «ангелов» и «ангелиц» выступают состоятельные старухи, владельцы игорных и публичных домов, гангстеры, а также имеющие свободные средства рантье, предпочитающие вместо «стрижки купонов» рискнуть, но зато в случае удачи пьесы получить крупную прибыль.

Найти «театральных ангелов» не так просто, для этого нужна помощь посредников, хорошо осведомлённых о денежных делах людей, склонных к участию в театральном предпринимательстве. Из таких посредников и состоит «ангельские» агентства Бродвея. Крупнейшее из них — агентство «Театр Гилд Инг».

Зарождение нового спектакля происходит примерно так. Представители «ангельских» агентств устраивают в модном ресторане «в честь автора новой пьесы» роскошный банкет, на который приглашаются «театральные ангелы». На банкете зачитывается пьеса. «Ангелы» высказывают свои суждения, предъявляют свои требования, которые соответствуют, естественно, их вкусам и представлениям о том, что может обеспечить сбор. «Пусть ваша героиня пляшет голой перед солдатами», — вносит, например, своё «художественное» и одновременно «деловое» замечание «театральный ангел», он же владелец ночного увеселительного заведения. (Этот пример взят из описания подобного «театрального» банкета венгерским драматургом Имре Бекешем.)

В случае одобрения пьесы «театральные ангелы» дают деньги, необходимые для аренды помещения и для постановки спектакля.

После этого «продюсер» арендует театральное здание, покупает у драматурга пьесу и, соответственно числу действующих лиц, набирает театральную труппу. Самый набор труппы тоже весьма своеобразен. В интересах бизнеса важно пригласить одну, максимум две «театральные звезды», то есть актёров, уже имеющих громкое имя. Остальные актёры набираются во временную труппу по дешёвке и без разбора. Их задача — лишь подыгрывать знаменитой «звезде». Проявлять наличие таланта, играть сколько-нибудь вдохновенно актёрам, исполняющим второстепенные роли, попросту воспрещается: они не должны затмевать «звёзд», не смеют отвлекать от них внимания зрителей, не имеют права даже приближаться к части

сцены, именуемой «сферой вращения звёзд».

Само собой разумеется, что в американских условиях случайного выбора театрального помещения, случайного подбора артистов, случайной работы режиссёра с участниками данного спектакля не может быть и речи о подлинном искусстве.

Попытки создания постоянных театральных трупп (а такие попытки делались передовыми деятелями театра в Нью-Йорке) неизменно оканчивались неудачей. Эти труппы не выдерживали конкурентной борьбы «коммерческих» театров, поскольку они не имели необходимой материальной базы и поддержки.

3

Коснёмся теперь наиболее важной стороны театрального дела — репертуара.

Два типа пьес характерны для американского коммерческого театра. Это, во-первых, «развлекательные» пьесы откровенно пошлого, грубо эротического характера, призванные увести массы зрителей в сторону от социальных проблем, задурманить их сознание, оглупить их. Во-вторых, это «проблемные» пьесы, задача которых — распространять бредовую, чело-веконенавистническую идеологию американских расистов, пропагандировать реакционные, буржуазные идеи и мораль, содействовать разжиганию военного психоза.

Мальтузианство и расизм, космополитизм и геополитика — таковы идейные стержни «проблемной» американской буржуазной драматургии. Соответственно этим идейным установкам буржуазные драматурги пропагандируют добровольный уход из жизни, превосходство англо-саксонской расы, пренебрежение к суверенитету народов, идею мирового господства империалистов США.

О характере «развлекательных» пьес можно судить хотя бы по их названиям: «Респектабельная проститутка», «Всё ради любви», «Дай я тебе шепну», и т. д., и т. п. Часто в этих пьесах действуют привидения («фантомы»), ещё чаще гангстеры и сыщики.

Из числа «проблемных пьес» «гвоздём сезона» пресса Херста назвала, например, пьесу Т. С. Элиота «Приём с коктейлями». В первых актах этой драмы смакуются «мучительные переживания» любовного треугольника: жены, мужа и его любовницы. Врач-психиатр, к которому обратилась эта троица, убеждает супругов не

разводиться. Любовница, потрясённая добродетельными доводами врача, вступает в религиозный орден и отправляется в английскую колонию лечить «чумных туземцев». Неблагодарные «дикари-туземцы», подстрекаемые «иностранными агентами», восстают против владычества «добреньких» англичан и убивают любовницу, искупившую своей смертью «грех прелюбодеяния».

Приходит «справедливое» возмездие: английские войска — символ «цивилизации» — подавляют повстанцев. При этом, конечно, палачи в мундирах изображаются «благородными рыцарями».

Здесь, как видим, в один клубок переплелись мистика, «психоанализ», религиозный дурман и пропаганда расового превосходства англо-саксов и звериной ненависти к туземцам.

Одним из характерных для современной американской драматургии последних лет произведений является пьеса О'Нейля «Продавец льда грядёт».

Для подготовки успеха и повышения кассовых сборов пьеса эта рекламировалась прямо-таки неистово. В газетах и журналах помещались бесчисленные фотоснимки автора пьесы, артистов, занятых в ней, репродукции эскизов декораций и т. д. Было напечатано множество статей, в которых ширококвещательно утверждалось, что пьеса даёт ответ на острые социальные вопросы современной жизни, что она адресована к широким массам народа и подсказывает им решение важных жизненных проблем.

Что же оказалось на самом деле? Пьеса О'Нейля — это ещё одно безнравственное произведение, уводящее зрителя от социальных проблем, погружающее его в мир разврата и психопатологии.

Действие происходит в захолустье американском кабаке. Действующие лица — бродяги, пьяницы, проститутки.

В конце пьесы один из героев высказывает такую мысль:

«Материал, из которого должно быть создано идеальное общество; — это люди. Но нельзя же воздвигнуть мраморный храм из смеси грязи и навоза». Так автор грязной пьесы по своему образу и подобию характеризует человечество. Пьеса откровенно превозносит пьянство как единственное средство утешения.

Длительное время «гвоздём сезона» Бродвея была пьеса Клиффорда Одэтса «Большой нож». Одэтс предлагает недовольным существующим социальным порядком людям

ещё более радикальный выход — самоубийство.

Драматург Артур Миллер подвизался на Бродвее с пьесой, герой которой тоже кончает жизнь самоубийством. Но автор пьесы делает несколько иной вывод: если не хочешь погибнуть, — смирись, молчи, не рассуждай!

Но мало того, что людей оглуляют, одурманивают, хотят сломить их волю к борьбе, — из них стремятся воспитать прямых убийц. Убийство человека, по заверениям реакционных драматургов и режиссёров США, — это не преступление, а романтический героизм, норма поведения.

Десятки «чёрных пьес» (так называют в США пьесы, пропагандирующие убийство) заполняют сцены Бродвее. Театральные критики, захлебываясь от восторга, расписывают достоинства «чёрных пьес», смакуя сцены убийства, страдания и смерти людей. По поводу пьесы Перси и Денхама «Уединившиеся женщины» театральный критик Джон Мейсон Браун писал: «Спектакль вознаградит зрителей возбуждением от убийства...» Критик этот уверяет, что пьесы, в которых совершается убийство, «напоминают весёлые катания на роликах в компании со смертью».

Следует добавить, что убийство на сценах американских театров режиссёры стремятся показать как можно более натуралистически. Так, в пьесе «Ещё посмотрим!» герой-убийца вонзает нож в труп, который специально доставляется для каждого спектакля из анатомического театра или из морга.

Разжиганию военного психоза служат пьесы многих американских драматургов. Так, например, пьеса Вильяма Хейнса «Приказ командира» с развязной хвастливостью превозносила воинственный дух американских лётчиков, якобы высокие боевые качества американской армии. Герои пьесы самоуверенно восклицали, что весь мир вскоре будет у ног США. Однако серьёзные поражения американских агрессоров в Корее сделали невозможным дальнейший показ пьесы Хейнса, и её сняли с репертуара Бродвее. Несколько пьес хищного, агрессивного направления написал Эптон Синклер, ставший ныне ярким пропагандистом новой мировой войны. Клеветническая пьеса «Сила великана» повествует о бедствиях одного американского семейства, пострадавшего от атомной войны, якобы начатой «красными».

В другой своей пьесе, «И враг располагает этим», Эптон Синклер запугивает аме-

риканцев наличием секрета атомной бомбы в СССР и тут же оправдывает подготовку и применение американскими милитаристами атомного, химического и бактериологического оружия.

Драматургический и режиссёрский мажоризм спектаклей американские театральные деятели хотят скрыть бессмысленной роскошью декораций и костюмов, эффектными трюками и сложной, вернее, искусственно усложнённой сценической техникой. На это затрачиваются огромные средства. Но зато в случае успеха театральные бизнесмены «зарабатывают» на эффектных постановках миллионы долларов.

4

Особо следует сказать о том, как буржуазные режиссёры, художники и актёры преподносят публике пьесы классиков.

В постановке буржуазных режиссёров классические произведения отрываются от конкретно исторической почвы, на которой они созданы, лишаются их национальной характерности, события в них тракуются вне времени и пространства, исторические и литературные герои превращаются в безликих космополитов.

Английский журнал «Театр уорлд» с удовлетворением писал, что постановка пьесы Чехова «Вишнёвый сад» в лондонском театре была «весьма искусно англоязырована».

Эта пьеса Чехова была поставлена и на Бродвее. Постановщики ухитрились изменить не только название пьесы («Вишнёвый сад» переименовали в «Рошу глициний»), но и всех действующих лиц представить американцами. Действие изуродованной чеховской пьесы происходит в штате Луизиана, в семье разоряющегося плантатора.

Искажая классические произведения, буржуазные театры стремятся превратить реалистов-классиков в своих «союзников». С этой целью гуманные идеи классиков драматургии всячески вытравливаются, фальсифицируются, центр тяжести в решении спектакля переносится на формалистическое трюкачество.

В английских и французских театрах все действующие лица шекспировских пьес щеголяют в современных костюмах.

В Париже был поставлен шекспировский «Кориолан», которого ухитрились истолковать как фашиствующего «сверхчеловека».

Нередко классическая пьеса ставится исключительно ради того, чтобы дать блес-

нуть художнику-формалисту. Полнейший произвол модного художника-декоратора довлеет над всем спектаклем и до неузнаваемости искажает пьесу. Оправдываются слова К. С. Станиславского:

«В театрах, где «силён» художник, спектакль превращается в выставку декоративных полотен и живописных костюмов... Центр тяжести пьесы перемещается... Работа художника на сцене такого театра самодовлеет, сбивает с толку зрителей и совершенно изменяет самый подход к пьесе... Даже самый репертуар и выбор пьесы для постановки в таких театрах прежде всего зависит от того художника, которым располагают театры. Ему важен он сам, ему важно стилизовать, индивидуализировать, например, свое египетское впечатление в новомодном вкусе современных декадентов XX века... Но если не найдется специальной пьесы для современного крайнего, хотя бы кубистского или футуристического направления, он не стесняется по своему произволу, вразрез со здравым смыслом, превращать Островского, Шекспира, Моцарта, Гольдони в кубистов или футуристов»¹.

О том, какому формалистическому издательству подверглась реалистическая пьеса Шекспира «Двенадцатая ночь» на сцене английского театра «Олд-Вик», писал недавно театральный журнал «Театр ньюс леджер». Автор критической статьи рассказывает: «Посмотрев этот спектакль, я почувствовал себя несчастнейшим человеком... Трудно представить более плоское зрелище. Какие-то существа появлялись на сцене и без всякой видимой причины скакали и носились по ней. Оказывается, это были «жители Иллирии». Я мог только пожалеть о том, что они не остались у себя на родине. И чему радовались они на этой сцене, где всё так сумрачно и серо и где условные изображения деревьев и зданий были почему-то окутаны рыбачьими сетями? Таков был фон. Что же касается фигур, стоявших на авансцене, то они были поистине изумительны. Тут был Мальволио с красным носом (повидимому, Мальволио стал алкоголиком), и Фест, своим костюмом напоминающий мусорщика, и сэр Эндрью Эгчик, казавшийся глубокоим стариком. Знаменитая сцена пирушки превратилась в клоунаду, в которой всевозможные цирковые трюки с

лестницей подменили подлинное комедийное творчество».

Стоит здесь напомнить, что «Двенадцатая ночь» Шекспира (как и многие другие пьесы великого английского драматурга) в глубоко реалистическом плане, с пытливым и вдохновенным проникновением режиссёров и актёров в историческую обстановку и национальные особенности старой Англии ставилась и ставится на сценах Москвы, Ростова, Ярославля и многих других городов Советского Союза.

В то время как советские артисты с огромным уважением относятся к великому шекспировскому наследию и доносят до миллионов масс советских зрителей мудрые идеи и живые человеческие образы гениального английского драматурга, театральные дельцы превращают трагедию Шекспира «Макбет» в весёлую комедию с непристойными песнями и «западными танцами», а великолепную по глубине мысли и проникновению в человеческую психологию комедию «Укрощение строптивой» кощунственно превращают в пошлый фарс; «модернизировав» на современный лад даже её заглавие: пьеса идёт под названием «Поцелуй меня, Кэт!» Удивляться здесь, впрочем, не приходится: бизнесмены от драматического искусства проделывают с произведениями Шекспира такие же бесцеремонные «коптыги», какие бизнесмены от музыки проделывают с великими творениями Бетховена или Чайковского, перекладывая их на фокстроты и румбы.

О степени падения искусства в США свидетельствуют и такие примеры.

На одной из сцен Бродвея исполнялся «невиданный скрипичный концерт» (именно «невиданный!»). В чём же состояла особенность этого «номера»? Скрипач, оказывающаяся, играл на скрипке... стоя на голове.

Другой предприимчивый «продюсер» чрезвычайно широко рекламировал «небывалое во всей истории выступление баса». Чем же на этот раз ошарашили американского зрителя? Бас пел свои арии... плавая в большом стеклянном бассейне, установленном на сцене.

Дикая фантазия бизнесменов от искусства находит своё применение и в драматическом искусстве. Талантливый актёр Бобби Кларк, по воле автора и режиссёра пьесы «Вдоль Пятой авеню», более ста раз (за один спектакль!) падает на пол — со стула, со стола, с дивана, со шкафа, словом, откуда только возможно, и каждый раз ушибается и разбивается на потеху публики.

¹ Журнал «Театр» № 1 за 1952 год, стр. 24. Неопубликованные материалы К. С. Станиславского.

Кризис театрального искусства в США настолько глубок, деградация театра достигла таких размеров, что этого уже не может скрыть даже буржуазная пресса. Недавно газета «Нью-Йорк таймс» писала:

«Театральный Бродвей напоминает неврастеника. Это не искусство, а какая-то форма закулисного торгашества. Нет стабильности в управлении театром, в обеспечении работой артистов, драматургов. Всё театральное дело находится в состоянии напряжения, в атмосфере аварийности. Кризис театров Бродвея стал их нормальным состоянием».

Не менее печальное признание сделал недавно буржуазный театровед Эдуард Бернес в нью-йоркском журнале «Таймс»: «Если упадок театрального искусства в США будет продолжаться нынешними темпами, то через 10—20 лет в Нью-Йорке не останется ни одного театра».

Ассоциация нью-йоркских театров опубликовала красноречивые данные, также свидетельствующие о распаде и разложении американских театров. В театрах Бродвея количество постановок за последние 20 лет сократилось в три раза. Число театров Нью-Йорка за это же время сократилось более чем вдвое: в 1929 году было 75 театров, сейчас осталось 32. Безработица среди американских актёров приняла опромяные размеры. Бывают периоды, когда без работы остаются 90 процентов артистов США. Резко сократился и заработок актёров. Средний доход занятого актёра в США не составляет и четверти прожиточного минимума средней американской семьи.

Писатель Майкл Голд на страницах «Дейли уоркер» так обрисовал современное состояние американского театрального репертуара:

«Сегодня американский писатель либо должен петь гимн атомной бомбе либо за ним охотятся, как за человеком, объявленным вне закона. Из 25 современных пьес, поставленных в театрах, только одна затрагивает действительно человеческие проблемы, да и то её автор не американец, а иностранец — Бернанд Шоу. Все остальные пьесы — это фальшивые музыкальные комедии, избитые обозрения и пустая болтовня, лишённая мелодичности музыка и не вызывающий смеха юмор. Что может означать это насилие, отчаяние и нигилизм в нашей литературе, как не то, что авторы соннули под тяжестью неразрешимых противоречий отжившей социальной системы?»

В «Нью-Йорк таймс» недавно было опубликовано письмо американского драматурга Джеймса Тэрбера, в котором автор-пишет: «Американский театр стоит на пороге смерти. Это объясняется тем, что конгресс проводит расследование деятельности драматургов, как и других писателей. Эти расследования начались пять лет назад... Посложившая травля писателей вызвала серьёзный упадок американской литературы. Эта травля лишила американский театр радости и веселья... Там, где обвинения утратили здравый смысл, где людей подвергают судебному преследованию на основе одних лишь подозрений, писателю трудно что-либо создать».

Таково состояние театрального искусства в США. Но как и прочие компоненты пресловутого «американского образа жизни», оно усиленно экспортируется и насаждается в других странах. Примечательна в этом смысле история с пьесой «Трамвай, вызывающий желание» драматурга Теннесси Вильямса. Если можно говорить о каком-то содержании этой пьесы, то коротко оно сводится к следующему: женщина-маниак убеждена, что перед ней не может устоять ни один мужчина. Она едет в Нью-Орлеан, поселяется там у сестры, охотится за мужчинами, но вскоре сама оказывается соблазнённой мужем сестры и окончательно теряет разум. Комментарии, как говорится, излишни.

Между тем пьеса эта была объявлена прессой США «шедевром американской драматургии», а её автора даже сравнивали с Шекспиром. Вокруг неё была поднята дикая рекламная свистопляска. В исполнении кочующих групп пьеса обошла большинство городов США, а затем в порядке «обмена культурными ценностями» её вывезли в Европу. Но народы европейских стран выразили гневный протест против этой антихудожественной пошлятины. В Англии в палате общин группа парламентариев заявила протест в связи с появлением этой пьесы на английской сцене...

Не меньшее возмущение пьеса Вильямса вызвала в Западной Германии, Австрии, Швейцарии, во Франции. Даже редакция «Фигаро» писала: «Пьеса Т. Вильямса заполнена эксцентрическими, болезненными сценами, пьяными оргиями, воплями, пошлым эротизмом и развратом».

Но протесты не смущают американских бизнесменов, и театральная экспансия в Европу продолжается. Экспорт бродвейских пьес пользуется особым покровитель-

ством правящих кругов США. Они даже вынуждают европейские правительства освобождать американские пьесы от «налога за развлечение».

Театральный экспорт для американских правителей служит средством усиления американского влияния в странах Европы, средством пропаганды «американского образа жизни», пропаганды новой войны. Правящие круги США крайне заинтересованы в психологической подготовке европейского населения, в частности молодёжи, к массовым убийствам.

Пагубное влияние американского театра заметно сказывается на европейском театре.

Уже упомянутый нами театральный критик Браун с восторгом писал о том, что культивируемое в современных театрах США смакование убийств находит своих последователей и в театрах Западной Европы. Побывав в Англии, Браун одобрительно отозвался об её современных драматургах и актёрах. «Они, — писал критик, — вполне овладели высшей математикой убийства».

Английский театральный журнал «Драма» сетует на полную бессодержательность современной английской драматургии.

«Просмотрев ряд спектаклей и сядя за обзорную статью, — с горечью признаёт автор статьи, — я никак не могу вспомнить, что происходило в этих спектаклях — «Муж госпожи Тернер», «Шампанское Далиле», «Две дюжины алых роз», «Камень посредине», «Тень луны»... Кто был мужем госпожи Тернер? Какой лондонский Самсон заказал шампанское Далиле? Кто кому подарил две дюжины роз? Я также не могу припомнить ни одной строки из написанной в стихах пьесы «Камень посредине». Помню только, что заглавие так и осталось непонятным... Вообще всё слилось в смутное пятно. Увы! Где, где ты, английская драматургия былых времён?»

Страны Европы, оккупированные американскими империалистами, задыхаются от тлетворного, разлагающего влияния американской «культуры». Так, например, в Австрии национальные произведения решительно исключаются из репертуара. Концерты и постановки самодельных коллективов облагаются огромным налогом. Во имя чего это делается? Ответ дают цифры. С 1947 года в Австрию ввезено 585 американских гангстерских кинофильмов. За это же время в стране появились миллионы американских книг и десятки пьес, пропагандирующих войну, насилия, грабежи, убийства. В За-

падном Берлине, в американском секторе, зрителям долгое время преподносилась пьеса американского автора «Мы опять вернулись». Идея пьесы: нет смысла строить новую жизнь, так как война неизбежна и она всё равно уничтожит всё, что возрождается.

Однако и в США, и во Франции, и в Англии есть театры, где искусство живёт и развивается, несмотря на преследования властей.

Так, в Нью-Йорке, на Элдридж-стрит, в рабочем клубе создан Театр народной драмы, который всё глубже овладевает методом реалистической игры по системе К. С. Станиславского.

Театр имеет и своих драматургов. С успехом он ставит пьесы Говарда Фаста («30 серебряников»), Герба Тэнка («49-я параллель»), Альберта Мальца («Дело Моррисона»). По словам Говарда Фаста, «в народном театре содержится то богатое будущее, которого лишён Бродвей». Но в условиях «американского образа жизни» работать Народному театру становится всё труднее. Известен случай, когда в Калифорнии на заседании Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности сенатор Тонней обвинил четырёх руководителей «Актёрского театра-лаборатории» в страшном грехе. «Следователи разоблачили неопровержимый факт, — заявил сенатор: — Театром-лабораторией были осуществлены две постановки какого-то русского по имени Антон Чехов».

Бешеную злобу французской реакции и её американских покровителей вызывают пьесы передовых французских драматургов. Известно, какая судьба постигла во Франции пьесу Роже Вайяна «Полковник Фостер признаёт себя виновным».

Только любительские коллективы рабочих клубов ставят в Англии в неискажённом виде пьесы Шекспира и пьесы современных прогрессивных драматургов. Но деятельность английских рабочих клубов под нажимом оккупирующих Англию американских военных властей всячески ущемляется. Всему миру стало известно шумевшее в Англии дело рабочего любительского театра «Юнити». Театр поставил боевую сатиру, критикующую американских оккупантов и их английских прислужников. По требованию американцев, лондонские «блудители порядка» учинили допрос артистов и возбудили против театра судебное преследование...

Расправляясь с подлинно народным театральным искусством, американские и иные театральные бизнесмены лихорадочно ищут путей оживления своего буржуазного театра. Как спасти его от распада и развала, от пропасти, в которую он катится? Рецепты спасения, предлагаемые американскими реакционными театральными деятелями, поистине смехотворны. Они нередко заимствованы из крыловской басни «Квартет». Так, сочинитель реакционных, бредовых пьес американский драматург Торнтон Уальдер выступил с утверждением, что выход из кризиса будет найден в невиданном доселе устройстве сцены и зрительного зала.

Театральные бизнесмены ухватились за этот рецепт. В Нью-Йорке, на Бродвее, появился действительно невиданный доселе «Театр-арена». Сцена в нём расположена посредине зрительного зала, как в цирке. Театрального занавеса нет. Актёры действуют не среди трёх стен, как обычно, а на площадке, лишённой всяких стен. Зритель получает обещанное ему театральными «новаторами» «трёхмерное восприятие».

Американская публика, отдавая дань любопытству, некоторое время валом валила в «Театр-арену», но очень скоро охладела к нему. Сейчас этот театр испытывает такой же кризис, как и все другие театры США.

Психоз формалистического «новаторства» охватил и западноевропейские театральные круги.

Так, английский журнал «Театр ньюс лентер» поучал режиссёров: «Берясь за постановку старой пьесы, режиссёр не должен ограничить себя интерпретацией, — он должен переделывать общепринятое. Он должен тщательно исследовать, какая комбинация слуховых и зрительных потрясений может заставить это большое собрание наблюдающих белых лиц краснеть и бледнеть, ахать, вскрикивать и замирать в ужасе». Это неприкрытая проповедь режиссёрского трюкачества.

Известный французский режиссёр Жан-Луи Барро выступил с программной статьёй о задачах театрального искусства. Вопросов идейного содержания театрального искусства он даже не коснулся. Ещё бы! С точки зрения Барро, театральное искусство имеет две основы: «с одной стороны — дыхание, с другой — позвоночник». Эти свои теоретические положения Барро развивает следующим образом: «Дыхание рождает

голос и его звучание, позвоночник же — этот центр движения (самое пластическое животное — змея) — рождает движение». Дикция и мимика — к этому сводит Барро сущность театрального искусства. «Мимика — для глаз, дикция — для слуха... Если мимика и дикция действуют одновременно на зрителя, тогда актёр приходит к синтезу зрительных и слуховых ощущений... Играть — это значит управлять своим дыханием, своим голосом и своим телом... Толковать роль — это значит управлять самим собой, как инструментом, то есть не думать о том, что играешь».

Итак, играть, не думая, играть, превратившись в движущийся манекен, — таков завет этого «теоретика». Упомянувшийся французский режиссёр Арно вслед за американскими режиссёрами предлагает «убрать границу» между сценой и зрительным залом. По словам Арно, необходимо «обеспечить чисто материальный контакт, добиться, насколько возможно, физического слияния зрителя и актёра».

Совсем недавно, осенью 1952 года, некие предприимчивые американские дельцы Гимбел и Кэллмен предложили свою самую новейшую, оригинальную программу реконструкции театров Бродвея. В херстовской газете появилась их статья, в которой сказано: «Половина удовольствия, получаемого в театре, приходится на долю хорошего виски, помогающего сгладить впечатление от плохого спектакля». Поэтому, по мнению этих новоявленных театроведов, необходимо «организовать повсюду в театре и на улицах возле театра буфеты с бесперебойной продажей зрителям виски в неограниченном количестве; продавать виски, помимо буфетов, в гардеробе, в проходах между кресел, в фойе...»

Впрочем, возможно, что этот «рецепт» спасения театров Бродвея от кризиса навеян попросту интересами американских ликёрно-водочных фабрикантов?

Примечательно другое. Все поиски путей к спасению американского театра носят на себе печать так называемого «американского образа мышления», и в этом обречённость этих поисков. Не бизнесмены от театра, не торговцы искусством найдут выход из тупика, в который завела свой национальный театр буржуазия, а народы этих стран.

В. ЕРМИЛОВ

О драматической сатире Аугуста Якобсона

Эстонский драматург Аугуст Якобсон хорошо известен широкому советскому читателю и зрителю как автор пьес «Жизнь в цитадели», «Борьба без линии фронта», «Два лагеря». Острота борьбы двух лагерей — лагеря демократии, прогресса, мира, представляющего всё передовое человечество, и лагеря реакции, мракобесия, войны, чувствующего свою неизбежную близкую гибель и идущего на всё более чудовищные, неслыханные преступления, — такова главная тема драматических произведений А. Якобсона. Напряжённость политической борьбы, изображаемой драматургом, находит выражение в напряжённости и остроте драматического действия, в чёткости, определённости характеристик участников борьбы, в непримиримости столкновений. С полным основанием пьесы А. Якобсона могут быть названы драмами: их характеризует атмосфера действия, борьбы.

В пьесах «Шакалы» и «Ангел-хранитель из Небраски» А. Якобсон предстаёт в новом для него качестве — сатирика. *Драматическая сатира* — так охарактеризовал автор жанр этих своих пьес¹.

Обе пьесы посвящены разоблачению современного людоедского американского империализма, поставившего своей целью установление разбойничьего господства над миром. Хозяева современных США настолько пропитаны кровью и грязью, настолько чужды и враждебны всему человеческому, их власть несёт столько горя и страданий людям на всём земном шаре, что, кажется, гнев против этих выродков и извергов — гнев, kloкочущий в груди сатирика, несомним со смехом!

¹ А. Якобсон «Шакалы». Альманах «Дружба народов» № 2 за 1952 год. «Ангел-хранитель из Небраски». Журнал «Звезда» № 2 за 1953 год. Сборник пьес А. Якобсона выпускается издательством «Искусство».

Но есть гневный смех человечества над его смертельными врагами, над *человекоподобными*, над их безумной, дикой попыткой навязать свою власть борящемуся, создающему великие ценности, идущему вперёд человечеству! Есть гневный смех над уловками, ложью *человекообразных*, над их дикарским непониманием законов истории и нежеланием понять эти законы, над нелепостью всего их преступного «образа жизни».

Этот гневный смех и вдохновляет советскую сатиру, бичующую врагов человечества. Именно к такой сатире призывал советских писателей Горький. Он говорил, что современный буржуазный мир представляется ему *чудовищной трагикомедией*. В своих художественных произведениях и публицистике он глубоко раскрыл ту истину, что владыки насковзь прогнившего империалистического мира и их слуги «давно уже перестали быть людьми, а становятся все более хищными и кровожадными *животными*».

А. Якобсон в своих сатирических пьесах создаёт портреты типичных представителей этого мира, американских «сверхчеловеков». В пьесе «Шакалы» автор создал живую, острую сатирическую картину современной империалистической Америки, представив её быт и политические нравы в типичных образах и положениях. Драматург показывает повседневные дела поджигателей войны и человеконенавистническую «философию», проповедуемую ими, — философию джунглей, вполне соответствующую их гангстерской практике. Мы видим их жестокость, шакалью трусость, ненависть к силам мира и прогресса и панический страх перед этими силами, звериную борьбу между собою из-за доллара, их претензии командовать всем миром. Поистине, перед нами возникает чудовищная кровавая трагикомедия, где глав-

ную роль играет нажива, афера — бизнес, господствующий над всем, где убийство стало необходимой составной частью бизнеса, где всё продажно и всё погрязло в преступлениях, — перед нами предстаёт так называемый «американский образ жизни».

Пьеса отличается напряжённым драматизмом действия, острым развитием сюжета. Несомненным достоинством драматической сатиры А. Якобсона является большая жизненная убедительность, характерность в изображении поведения, манеры, языка, стиля общения между собою и с внешним миром различных типов двуногих хищников, изображённых автором. Он выводит на сцену опустошённые существа, живущие лишь убийством и для убийства во имя доллара, сохранившие от всего человеческого только форму, оболочку, видимость; это противоречие между «формой и содержанием», «цивилизованным» обликом и людоедской сущностью и является одним из источников особой, исполненной гнева, презрения и отвращения *драматической сатиры*. Нельзя не отметить в этой связи, что такое изображение врага, при котором видна и звериная сущность и человекообразное обличье, содействует воспитанию в читателе и зрителе умение разоблачать врага, в то время как упрощенное изображение, не желающее считаться с тем, что враг носит человеческую личину, способно лишь внушить ложное представление о лёгкости разоблачения врага, о лёгкости борьбы.

Вот мы присутствуем при встрече трёх старых друзей, школьных товарищей, преуспевших в жизни. Перед нами — главный герой пьесы, известный учёный, химик, профессор Стил, работающий над «важным изобретением»; его коллега Мак-Кеннеди — профессор и генерал, один из руководителей исследовательского отдела военного министерства, он же член правления Южного треста красивой промышленности; Эптон Брюс — один из директоров этого треста, принадлежащий к числу монополистических воротил.

Они ведут беседу в вилле профессора Стила, украшенной портретами Линкольна, Вашингтона, Рузвельта. Мак-Кеннеди и Брюс приехали сюда, в город южного штата Америки, где живёт их приятель Стил, для деловых переговоров. Военное министерство и трест заинтересованы в изобретении Стила. Но Мак-Кеннеди предаётся трогательным переживаниям дружбы, воспоминаниям детства и юности. сентимен-

тальным раздумьям о жизни, прожитой тремя друзьями. «Уже в начальной школе все мы трое постоянно были вместе, — умиляется он. — В колледже мы проделывали такое.. ого, только держись! А теперь все мы единодушно участвуем в решении судеб старушки земли... Сэм Стил, отпрыск старых пионеров прерий, занимается военными изобретениями. Эптон Брюс, прямой потомок благочестивых мормонов, технически осуществляет эти изобретения, а я, бывший в люди праправнук шотландских пастухов, даю всему этому практический ход. (*Поднимает бокал.*) За здоровье всех нас троих — ветеранов, творцов истории... выпьем до дна!»

Можно подумать, что перед нами и в самом деле три друга, видные деятели, растроганно оглядывающиеся при редкой радостной встрече, за бутылкой доброго вина, на долгую полезную жизнь, прошедшую в неустанных трудах. Перед нами встают отличные один от другого индивидуальные облики, характеры. Правда, как мы узнаем далее, это только внешние обличья. Но всё же это индивидуальные внешние обличья. Мы видим склонность Мак-Кеннеди к умилению, к некоторой отвлечённой риторике, словесной пышности, чувствительным излипаниям. Он восхищается своим другом, крупным учёным Стилом, он, кажется, влюблён в него! Из его уст так и сыплются по адресу Стила дружески-фамильярные словечки, вроде «старина, дорогой», выражения тревоги за его здоровье, восторги и комплименты по поводу его научных талантов. Он впадает даже в некую патетику: «Таковы уж, видно, все настоящие деятели культуры, обогащающие своими открытиями нашу великую эпоху!» Вот в каких выражениях провозглашает Мак-Кеннеди своё преклонение перед Стилом. А Стил кажется суровым, немногословным, несколько хмурым, всецело погружённым в свои открытия, целиком отдающимся своему труду серьёзным учёным. На тост Мак-Кеннеди он отвечает: «Ладно, так и быть, выпьем за собственное здоровье». Он не любит праздно терять время. Он торопит Мак-Кеннеди, разливающегося соловьём, скорее перейти к делу, для которого они собрались. Что касается Эптона Брюса, то тот хотя и не прочь порою пофилософствовать, но в духе, совершенно противоположном риторически-сентиментальным разглагольствованиям Мак-Кеннеди. В приятельской болтовне о том, о сём, завязавшейся между тремя друзьями перед

предстоящей им деловой беседой, Брюс норовит рассказать такие житейские истории, смысл которых сводится к тому, что всё в жизни обман, ловкая проделка, где друзья грабят друзей, жёны мужей и т. д. Мы видим, что этот грубоватый коротышка Брюс склонен к цинизму. Но, в конце концов, эта склонность пожившего дельца к рисовке своим грубым жизненным опытом ещё не означает, что перед нами обязательно преступник. Словом, пока всё как будто вполне «цивилизованно»... Но это и есть та внешняя форма, противоречие которой содержанию образует, как сказано, один из источников сатиры в пьесе.

В самом деле, каковы же столь превозносимые Мак-Кеннеди заслуги профессора Стила перед историей? И какая такая дружба связывает трёх собеседников?

Важное научное открытие, над которым трудится «деятель культуры» профессор Стил, оказывается «серебристо-серой пылью», предназначенной для массового уничтожения людей. В ответ на требование Брюса и Мак-Кеннеди ускорить окончание работы Стил предъявляет им ультиматум: для проверки его «препарата» ему необходим «настоящий материал». На данной, завершающей стадии «научной работы» его уже не могут удовлетворить обезьяны, над которыми он совершал свои опыты. Ему необходимы люди. «Предоставьте мне для экспериментов не обезьян, а партию корейцев или китайцев, набейте ими хотя бы один транспортный самолёт,— и я вам смастерю отличный способ стать господами положения на всём земном шаре!»—говорит профессор Стил.

Вот она, наука и политика американского империализма! Завоевать господство над всем миром при помощи ядов и атомной бомбы — такова премудрость авантюристов-палачей, вступивших в отвратительно-бесплодную, насильственную борьбу с самой историей.

А. Якобсон правдиво воспроизводит реальную американскую действительность сегодняшнего дня. Известно, что на американских санитарных кораблях у корейского побережья производятся смертоносные опыты над военнопленными; совершаются эти опыты и на территории США. Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи, в мае 1951 года 1 400 военнопленных были тайно отправлены из Кореи в США для испытания на них атомного оружия. В мае 1952 года в лагере № 77 на военнопленных,

требовавших возвращения домой, были испытаны огнемёты новой конструкции; 800 военнопленных были сожжены заживо. Учёные, обслуживающие хозяев современной Америки, усиленно «трудятся» над изобретением средств массового уничтожения.

В пьесе «Шакалы» правдиво рассказано о том, что не только политика, но и наука американского империализма стала бандитизмом; наряду с фигурами профессионального убийцы-гангстера, убийцы-бизнесмена, убийцы-политикана прочно вошла в быт современной империалистической Америки и фигура убийцы-учёного. Ассигнуя огромные средства на шпионскую и подрывную диверсионную работу против стран лагеря мира и демократии, американский империализм подготавливает «кадры», подобные недавно разоблачённым подлым убийцам и шпионам в облики врачей, растоптавшим знамя науки.

А. Якобсон выбирает типические фигуры и типические положения, характеризующие «американский образ жизни».

Характерна и вся ситуация, складывающаяся в связи с желанием Стила получить людей в качестве подопытного материала. Мак-Кеннеди ведёт по-торгашески двойную игру. Поддерживая Стила, он в то же время оказывает предпочтение другому «учённому». Стил негодует. «Чёрт побери,— говорит он Мак-Кеннеди,— в своём отделе научных изысканий вы оказываете предпочтение этому физическому и духовному уроду Стену Харди... Даёте ему возможность выращивать какие-то идиотские бактерии на их природной почве, а нам здесь приходится тратить энергию на всевозможных пресмыкающихся и грызунов. Почему?»

Давать возможность *выращивать бактерии на их природной почве* — это значит предоставлять некоему Харди людей в качестве материала для смертоносных опытов. Чудовищно звучит научная терминология в устах убийц под маской учёных. Чудовищно и то, что вокруг подобных «дел» завязывается обычное, будничное конкурентное соперничество, как вокруг любого обыкновенного, рядового бизнеса.

Убедившись в том, что препарат Стила эффективен, Мак-Кеннеди обещает ему предоставить группу корейцев и китайцев через три недели. Но Стилу, по некоторым обстоятельствам, некогда ждать. И он решает на собственные средства купить для своих опытов при посредстве гангстеров, связанных с секретарём губернатора штата, шесте-

рых негритянских юношей, приговорённых к смертной казни. Шестеро негритянских юношей приговорены к сожжению на электрическом стуле по обычному для американской действительности мерзкому обвинению в изнасиловании белой женщины — обвинению, которое могло зародиться лишь в развращённых человеконенавистничеством мозгах грязных расистов. На самом же деле этих юношей решено казнить за их активное участие в борьбе за мир...

Расчёт Стила основан на том, что никто не узнает об этом бизнесе, все будут думать, что шестеро негров погибли на электрическом стуле, в то время как они умрут в лаборатории профессора Стила в качестве подопытного материала. Если в Соединённых Штатах Америки любой убийца имеет возможность с поощрения шерифов и губернаторов вполне спокойно и безнаказанно застрелить негра, повесить его или сжечь живьём, то почему дипломированный убийца не может купить негра для смертоносных опытов у тех же шерифов и губернаторов?

За изобретение профессора Стила, за «серебристо-серую пыль» идёт борьба между двумя монополистическими объединениями. С Южным трестом красильной промышленности, интересы которого представляют Брюс и отчасти Мак-Кеннеди (впрочем, последнего Брюс подозревает в «предательских» связях с конкурентами), соперничает другой трест — Красильное объединение. Его представители шантажируют Стила, требуя, чтобы он продал «пыль» их объединению; в противном случае они угрожают раскрыть ставшую им известной тайну давнего прошлого Стила, обнародование которой может привести профессора на скамью подсудимых в качестве простого уловника. Опорой Красильного объединения является знаменитый гангстер Джо Твист, а шантажные переговоры со Стилом ведёт по поручению Джо Твиста смиренный человек, елейный святоша Гидеон Смит, баптистский проповедник, возглавляющий теософско-спиритический кружок. Фигура этого посредника между живым и загробным миром весьма примечательна: в качестве спирита он вызывает духов с того света, а в качестве помощника гангстера помогает отправлять людей в царство духов, — так сказать, двойной спиритизм! Таковы омерзительные гримасы «американского образа жизни».

Стил после колебаний, в страхе, соглашается на требования шантажистов, решив, таким образом, «предать» Южный трест.

Об этом становится известно Брюсу и Мак-Кеннеди через Курта Шнейдера, «научного сотрудника» Стила, приставленного к нему в качестве шпиона Южного треста. Наряду с другими типами, выведенными в «Шакалах», Шнейдер — также весьма выразительная фигура для нынешних фашизирующихся США: химик, доктор, «научный работник» гитлеровской армии, прошедший школу профессиональных убийц в гестапо.

«Предательство» Стила является дополнительным аргументом для Брюса и Мак-Кеннеди в пользу решения о «ликвидации» их друга. Они и без того решили покончить со своим «старинной Сэмом» по той простой причине, что этого требует бизнес: секрет «серебристо-серой пыли» можно узнать при помощи Шнейдера, а этот «деятель культуры» потребует гораздо меньше долларов за свои услуги, чем профессор Стил за своё изобретение. Услуги Шнейдера являются довольно многосторонними: в качестве учёного шпиона он выведывает секрет «изобретения»; в качестве специалиста по убийствам он руководит «ликвидацией» своего «научного руководителя» Стила, производя эту операцию с профессиональным умением. Он делает свои приготовления к смертельной инъекции «медленными, спокойными движениями, как подобает хорошему врачу». Целовое убийство, убийство-бизнес! Эта сцена пьесы с особенной ясностью обнаруживает своеобразие того сатирического жанра, который разрабатывает автор «Шакалов». Мы наблюдаем поедание одного мерзкого смертоносного существа другими, ужимки, повадки, жесты, слова разговаривающих шакалов, убивающих друг друга убийц.

Трогательность дружеских излиний Мак-Кеннеди и особенно его заботу о здоровье Стила («какой ты жёлтый, бледный, худой!» — восклицает Мак-Кеннеди) можно оценить в полной мере, если учесть, что Мак-Кеннеди проявляет эту заботу тогда, когда Брюс и он уже решили убить Стила. Присутствуя при «ликвидации» Стила, Мак-Кеннеди остаётся верен себе, своей манере. Он приглашает своего друга сесть на стул, который должен стать местом казни профессора: «Спокойствие, милый друг! И сядь, пожалуйста, сядь!» Стил кричит: «Негодяи!» Мак-Кеннеди увещевает его: «Школьный товарищ, друг, к чему такие грубые выражения?» Стил возмущается: «Бан-ндит!» «Всё ты перебиваешь меня, Сэм, старина», — по-приятельски укоряет его Мак-Кеннеди.

Эта сцена — образец острой, правдивой сатиры. Что может быть отвратительнее и

смешнее, чем моральное негодование одного убийцы против другого! Что может быть смешнее и нелепее, чем слезливая мольба Стила, обращённая к его «школьным друзьям»: «Сжальтесь!» Что может быть смешнее и ужаснее, чем употребление *человеческих* слов, понятий, оперирование человеческими представлениями, ссылки на человеческие чувства со стороны существ, у которых выветрилось, опустошилось человеческое содержание и осталась лишь одна человекоподобная оболочка! Что может быть смешнее, чем ответ Мак-Кеннеди на высказываемое Брюсом подозрение, что он, Мак-Кеннеди, связался с конкурентом Южного треста — с Красильным объединением: «**Мак-Кеннеди** (*внимательно разглядывая одну из трубок*): «Брось, старина. Я был бы абсолютно аморальным человеком, если бы обманывал трест и, главное, тебя! (*Суёт в карман трубку, затем вторую и третью*)».

Да, да, эти Мак-Кеннеди разговаривают о морали! В этом и заключено самое смешное и самое отвратительное. Выразительны и все мелкие детали, которые даёт А. Якобсон, они полны острого сатирического содержания. Только что не без амбиции отвергнув высказанное Брюсом подозрение в аморальности, Мак-Кеннеди суёт одну за другой в карман трубки из ценной коллекции, принадлежащей Стилу. Казалось бы, «мелочь»! Но если вспомнить, что Мак-Кеннеди считает возможным убрать к себе в карман эти трубки Стила потому, что сейчас произойдёт убийство их владельца, то «мелочь» окажется не такою уж мелкой. И эта ремарка (о трубках) очень на месте рядом с репликой Мак-Кеннеди, столь решительно отводящей упрёк в аморальности. И есть в этом настоящая жизненная правда: все эти господа, считающие себя сверхчеловеками, или, вернее, желающие, чтобы их считали сверхчеловеками, — жадные мелкие твари, — какие бы чины, звания, титулы они ни носили — генералов, профессоров, директоров. Безвозвратно миновали времена трагических преступников, времена Макбетов! На смену им пришла холодная гадина, машинка для убийства, автомат бизнеса в человеческом облики. Вот почему современный капиталистический лагерь и может дать тему не для трагедии, а лишь для трагикомедии.

Не выходя за стены дома одного из поджигателей войны, драматическое действие «Шакалов» раскрывает обстоятельства, характерные для всего лагеря поджигателей. Разве, к примеру, елейные речи Мак-Кенне-

ди, уговаривающего «дорогую старину» Стила вежливо отнестись к предстоящей ему «ликвидации», не воспроизводят в миниатюре столь же дружеские увещания, обращаемые американскими боссами к своим союзникам: спокойной, без грубых слов и «не перебивая», примириться со своей ликвидацией — экономической, политической, государственной, юридической — всесторонней ликвидацией! Кстати сказать, Эптон Брюс, этот типичный представитель хозяев современной Америки, хвастает тем, что США отовсюду вытесняют Англию: «У двоюродного брата Джона Буля, — говорит он про английского друга с тою же ласковостью, с какою Мак-Кеннеди относится к своему школьному другу Стилу, — мы выхватим жирный кусок в Иране...»

Закон джунглей — это закон зоологической войны всех против всех, закон взаимного поедания одного паука в банке другим. Действие этого закона распространяется и на дружеский союз Стила, Брюса и Мак-Кеннеди, и на все дружеские союзы, заключаемые между собою империалистическими разбойниками, их правительствами, их дипломатами.

Изобильная реакционную, отсталую, противоречащую объективному ходу истории, отжившую действительность, существующую лишь благодаря грубому насилию и обману, сатира, настоящая, передовая, глубокая сатира всегда раскрывает такие внутренние противоречия этой действительности, которые свидетельствуют о несостоятельности, нелепости самых основ, законов этой действительности, обращающихся против неё же самой! Так в «Ревизоре» вся тяжесть «образа жизни» городничего и других чиновников, в основе которого лежит ложь, обман, обрушилась на них самих: поистине, это не унтер-офицерская вдова, а сама подлость — пошлость всего строя, всего режима высекла себя самоё! Так был «одурачен городничий». И это комическая сторона всякого реакционного общества, реакционного класса, реакционного режима, это то *комическое*, которое и свидетельствует о несостоятельности, нелепости, изжитости реакционного строя, реакционного класса. Задача сатиры — раскрыть этот внутренний комизм нелепости. Следует лишь помнить, что понятие *комического* вовсе не всегда совпадает с понятием *весёлого*. Внутренний комизм, основанный на глубоком внутреннем противоречии того или другого явления, часто присущ явлениям безобразным, оттал-

квивающим, отвратительным, никак не могущим, вызывать весёлость. Если логическое мышление научно формулирует природу противоречий тех или других явлений, то для художественного мышления эти противоречия предстают в эстетических категориях — трагического, драматического, комического, трагикомического, сатирического; всякое противоречие для художественного мышления является источником трагедии, комедии, сатиры. Внутренние противоречия реакционных формаций, реакционных режимов отличаются бумеранговым характером: они бьют по лбу самих представителей, защитников этих формаций и режимов.

Так и закон джунглей, превозносимый всеми этими мак-кеннеди, брюсами, стилями, оборачивается против них самих: такова логика этого закона! Семнадцатилетний сынок профессора Стила, куклуксклановец Гарри, по иронии судьбы, точнее, по иронии закона джунглей, становится жертвой «серебристо-серой пыли», первым «подопытным человеком», на котором проверяется действие препарата, изготовленного его отцом. Гарри подслушал разговор о препарате и украл коробочку «пыли», чтобы отравить ею своего соперника по спорту. Но свинцовая коробочка раскрылась в кармане у Гарри, и вот он корчится в предсмертных мучениях. Так папаша Гарри неожиданно для себя получил тот «настоящий материал» для своих опытов, который он хотел получить!

Мак-Кеннеди восхищался, наблюдая в лаборатории Стила действие «серебристо-серой пыли» на обезьян.

«Мак-Кеннеди. Не смейся, Брюс! Ты пожалеешь, что не видел того, что я сейчас видел. (Словно про себя.) Как... там... шатались... и ворочались эти обезьяны! Один... один... никак не мог подняться на ноги, всё летел кувырком... У двоих... языки свесились изо рта... Вот так. (Показывает рукой, снова вытирает лоб, повторяет.) Да, даю слово, Сэм, ты получишь этих корейцев или китайцев! Получишь!»

Но Стил получил своего собственного сына! Это ему, юному куклуксклановцу, предстоит теперь участь обезьяны, извивающейся в страшных муках... Мамаша Гарри, супруга профессора Стила, мечтала получить пропуск на казнь Бена, одного из шестерых негритянских юношей, приговорённых к смерти на электрическом стуле, сына своей служанки. Теперь она без всякого пропуска имеет возможность наблюдать казнь своего собственного сына.

Ситуацию, создающуюся в связи с самоотравлением сынка профессора Стила, следует признать драматической, но, несомненно, и сатирической ситуацией. Драматизм тут в том, что существа, которые внешне выглядят людьми, неизмеримо хуже зверей! А сатира заключена в том, что убийцы и дельцы, которым кажется, что так как они хитрее, коварнее всех, то поэтому они и призваны управлять всем миром, оказываются жертвами собственной хитрости и подлости! Реакция всегда «секла» самоё себя, как высек себя когда-то Антон Антонович Сквозник-Дмухановский... Подлость реакции, мракобесия коварна, дьявольски хитра, но, вместе с тем, она и глупа! Русская передовая сатира в лице Гоголя и Щедрина всегда разоблачала и подлость, и глупость реакции, пытающейся противостоять ходу самой жизни.

А. Якобсон в своей драматической сатире подчёркивает преступность, коварство, неслыханную низость и, вместе с тем, неслыханную глупость, нелепость всех стремлений, замыслов, претензий «командиров» нынешней Америки. Вот мечтания современных американских Хлестаковых, высказываемые устами Мак-Кеннеди: «Когда-то римские патриции говорили: «Ubi bene, ibi patria («Где хорошо, там отечество»). А дети и внуки наши, быть может, скажут: «Ubi terra, ibi America («Где земля, там Америка)». Так подчёркивается, что космополитизм является оборотной стороной разбойничьего империализма, мечтающего о превращении всего земного шара в колонию американских монополистов. Американскому Хлестакову вторит американская Коробочка, супруга профессора Стила, рыхлая, глупая Дорис, зловещая в своей тупой бесчеловечности. «Учёные» речи Мак-Кеннеди она переводит, так сказать, на житейский, обывательский язык: «На всём свете только Соединённые Штаты Америки — что в этом плохого? Поедешь в Европу — там Америка, как и здесь. Поедешь в Азию — там тоже Америка, как и здесь. Поедешь в Африку, в Австралию... всё равно куда... всюду Америка, как и здесь. А теперь... какие-то китайцы, русские и... бог знает кто... делают, что хотят... Куда это годится?»

Старушка высказалась! Но при всей анекдотической глупости, это её высказывание, по сути, мало чем отличается от того, о чём ежедневно кричит американская печать и что возвещают американские поли-

тики, а также всевозможные «геополитики» и прочие фашисты на американский лад. Делец Брюс, в свою очередь, переводит мечты о «всемирных США» на свой язык бизнеса. «...Как чертовски мало нужно для этого! — восклицает он. — Хватило бы полсотни тысяч самолётов — часть из них с атомными бомбами, с фарфоровыми банками для микроскопических тварей... Газы определённого состава... Всё! И после того, как этот здоровенный нокаут будет произведён и все необходимые очистительные работы будут закончены, достаточно в каждый мало-мальски стоящий городишко послать партию хороших американских полицейских с резиновыми дубинками и два — три электрических стула...»

Брюс излагает мечты Уолл-стрита и связанной с Уолл-стритом военщины о блицкриге на американский лад. Можно назвать блицкриг нокаутом. От этого дело не меняется.

Старый доктор Армстронг, прогрессивный деятель, отвечает на эти рассуждения Брюса: «Да... Но ещё неизвестно, как получится с этим вашим могучим нокаутом».

Художественные достоинства, талантливость сатиры А. Якобсона определяются в первую очередь именно типичностью выведенных драматургом характеров, рассуждений, положений. Брюс и Мак-Кеннеди глубоко характерны для современной империалистической Америки. Брюс — откровенный циник. Мак-Кеннеди — ханжа, сохранивший для удобства обмана ухватки, манеру поведения, отчасти фразеологию обычного, «мирного», либерального дипломированного лакея буржуазии. Если Брюс ограничится заявлением, что нужен «здоровенный нокаут», т. е. истребление возможно большего числа людей, то Мак-Кеннеди обязательно добавит к этому: «Справедливость и благородная цель всегда побеждают». Слияние этих двух голосов и характеризует политику, идеологию, прессу империалистической Америки. «Бас» прямо, во весь голос орёт о том, что нужно убивать, убивать, убивать! «Тенор» вторит: да, да, да, потому что это справедливо, гуманно, демократично!

Американский фашизм пока ещё не решается совсем отказаться от словесной игры в демократию. Эта кощунственно циничная игра представляет собой такую же чудовищную ложь, как портреты Линкольна, Вашингтона в доме Стила, — в том доме, о котором доктор Армстронг говорит, что тут даже стены пахнут смертью!

А. Якобсон изображает фашизацию, происходящую в США. Он даёт немало убийственных штрихов, характеризующих подлинную сущность современной американской «демократии». Вот, например, сообщение, о котором возвещает уличный газетчик: «Шестерых негров, приговорённых к смерти на прошлой неделе, казнили ночью на электрическом стуле... Пресса протестует во имя демократических принципов, что её сотрудников не допустили на казнь...» Трудно более метко охарактеризовать сущность современной американской демократии палачей!

Ни с чем не сравнимый страх охватывает двуногое зверьё, изображённое в пьесе, при одной мысли о народе, о прогрессивных силах, о борцах за мир. Когда в доме Стила появляются борцы за мир, которым удалось освободить негритянских юношей, томившихся в лаборатории, и разоблачить тайну «серебристо-серой пыли», — в какую труху, в какую, поистине, пыль превращаются сверхчеловеки, претендующие на мировое господство, расплзающиеся на глазах от панического страха!

Положительные герои пьесы А. Якобсона, борцы за мир, и среди них прежде всего Аллан О'Коннел, не просто говорят хорошие речи, а *действуют*, ведут реальную борьбу. Драматург подчёркивает, что борцы за мир разоблачают преступления врагов человечества, срывают покров тайны с их злодеяний.

А. Якобсону свойственно стремление поднимать диалоги представителей двух враждующих лагерей на уровень больших политических и философских обобщений, выражающих остроту борьбы. Как и в своих предшествующих пьесах, драматург в «Шакалах» развёртывает, кроме непосредственно политической борьбы, и борьбу двух мировоззрений. Автор не упрощает идеологической аргументации врага, он даёт возможность Мак-Кеннеди высказать «философию» джунглей, пытающуюся найти опору в учении Дарвина, — один из весьма характерных и распространённых ходов современной растленной буржуазной «мысли». О'Коннел раскрывает вздорность, антинаучность этой попытки использовать имя великого английского учёного для оправдания закона джунглей.

Именно потому, что положительные персонажи пьесы являются активными участниками реального действия, реальной борьбы, драматургу удалось создать убедительный, жизненно-правдивый, действенный

образ Аллана О'Коннела. Это фигура, характерная для прогрессивных сил Америки. Фронтвик, для которого участие во второй мировой войне было участием в борьбе против фашизма, а не в драке монополий, мужественный человек, О'Коннел принадлежит к тем людям, которые умеют делать выводы из уроков истории. Он не забыл ни о преступлениях гитлеризма, ни о Нюрнберге. Он полон ненависти к поджигателям новой войны, полон веры в победу сил мира. Он глубоко понял преступность той лжи, которую поджигатели стремятся опутать народы, понял необходимость планомерной, упорной борьбы против поджигателей и учит этому своих товарищей.

На авансцене драматической сатиры А. Якобсона — отрицательные персонажи, враги. Но автору удалось создать такую атмосферу в пьесе, такое окружение вокруг врагов, что мы ясно ощущаем весь накал борьбы, силу народного возмущения и гнева, силу стремления человечества к миру. Вот почему слова О'Коннела, бросаемые им в лицо врагам: «Народы сильнее вас», — звучат так полномерно, с такой убедительностью.

Доктор Армстронг принадлежит к тем слоям американской интеллигенции, которые сохранили верность традициям подлинной американской демократии. О'Коннел, Армстронг — это и есть действительные представители своего народа.

А. Якобсон даёт острые штрихи, показывающие всю глубину морального одичания врагов человечества.

Вот у профессора Стила проскальзывает что-то вроде родительского инстинкта, впрочем, существующего и у животных. Он случайно ловит жадный, изучающий взгляд Курта Шнейдера на корчащегося в предсмертных мучениях сына профессора. Шнейдер спешит воспользоваться случаем проверки препарата на «настоящем материале». Стил бросает реплику Шнейдеру: «Наблюдениями занимаетесь? С-скотина!»

Как будто нечто человеческое сохранилось у Стила? Но какая цена этому! У Стила нет никакого права негодовать на бестактность, так сказать, нечуткость своего «научного сотрудника», использующего агонию Гарри Стила для своих наблюдений. Ведь Стил и сам использует смерть своего сына для деловых целей! Он решил спекулировать на смерти Гарри, решил разом убить двух зайцев: удовлетворить требование Красильного объединения и вместе с тем уйти от кары за эту изме-

ну со стороны Южного треста. План его заключается в том, чтобы разыграть «душевный перелом», последовавший в результате тяжёлого удара — смерти сына, — изобразить себя человеком, ушедшим под влиянием постигшего его потрясения в теософско-спиритические увлечения и сблизившимся на этой почве с вышеупомянутым Гидеоном Смитом. Не зная, что Брюсу и Мак-Кеннеди известно через Курта Шнейдера, что сей баптистский проповедник является агентом конкурирующего объединения и гангстера Джо Твиста, не зная также, что Брюсу и Мак-Кеннеди известно о его, профессора Стила, сговоре с Красильным объединением, не допуская мысли о том, что секрет препарата может стать известным Брюсу и Мак-Кеннеди помимо него, изобретателя, считая себя поэтому господином положения, могущим диктовать условия, Стил требует пожертвований от Южного треста на богоугодные дела — на поддержку теософско-спиритического кружка Гидеона Смита, вообще выколачивает доллары в пользу конкурентов треста и в своих собственных.

Вместе с гневной, уничтожающей сатирой в пьесе А. Якобсона немало сатирического юмора, раскрывающего также и чудовищную пошлость, скуку, глупость всего дикого «американского образа жизни». Театр ни в коем случае не должен утратить этот юмор! В зрительном зале должен раздаваться смех, например, в таких моментах, как причудливое слияние двух хоров: хора Армии спасения с хором Живой рекламы. Хор Армии спасения распевает благочестивые куплеты, вроде следующего:

Нас снабдил отец небесный,
Братья во Христе,
Бомбой атомной чудесной,
Братья во Христе.

Кстати сказать, эта смесь христианства с атомной бомбой весьма характерна. Ведь доказывает же в ряде статей американский журнал «Бюллетень учёных-атомников», что религия вполне одобряет бросание атомных бомб в страны, «чуждающиеся американского и христианского образа жизни».

Одновременно с хором Армии спасения хор Живой рекламы изощряется в расхваливании некоего Мартина Морриса, который торгует, кажется, всем на свете.

«Живая реклама (глубокий бас поёт в сопровождении хора):

Чей ношу я с давних пор
Чудный головной убор?

Хор: Морриса Мартина...
...Живая реклама (продолжает свою песню):

Чью резину я жую,
Чтоб рассеять грусть свою?

Хор. Морриса Мартина»,— и т. д.,
вплоть до следующего:

«Живая реклама (продолжает пение):

Коль повеситься хотите,
За веревкой к нам зайдите.

Хор. Моррис похоронит вас»...

Хор Живой рекламы врывается в промежутки между куплетами, исполняемыми хором Армии спасения, и это слияние двух по-разному гнусавых, наглых, неотвязчивых, крикливых «хоров» остро воплощает всё убожество, всю бездарность, всё гнусавое духовное нищенство, всю скуку «американского образа жизни». Вот где сатира А. Якобсона вызовет,— если, конечно, театр талантливо, верно, изобретательно, весело, может быть, и в гротесковой манере поставит эту картину,— вот где сатира вызовет у зрителя уже не тот особый, внутренний смех над уродливостью людей и положений, о котором мы говорили выше, а прямой, весёлый, открытый смех над глупостью и убожеством врага! Такой же смех должно вызвать и описание спиритического сеанса. Гидеон Смит, который стал вхож в дом Стила благодаря тому, что сумел вовлечь в свой теософско-спиритический кружок жену Стила Дорис, рассказывает ей об очередном сеансе. Ей очень досадно, что она не могла присутствовать на этом сеансе: он был сенсационным! В самом деле, подумать только: от тела мисс Липман, которая и на этот раз была медиумом, отделился не кто иной, как Иисус Христос. «Да, сам Христос. В длинной белой одежде, босой... И остановился возле сенатора Говарда и адвоката Смайльса. «Вложите свои персты в мои раны, сенатор Говард и адвокат Смайльс,— сказал он.— И почувствуйте, как моя святая кровь сочится из них... сочится...» — сказал он... И адвокат Смайльс спросил: «Скажите нам, спаситель: когда начнётся священная война с русскими и китайскими коммунистами?» — «Вам нужно поспешить с этим, адвокат Смайльс»,— ответил он»...

Замечательна деловитость Христа. Время — деньги. Неплохи также приятельские отношения Христа с адвокатом Смайльсом, озабоченный совет сына божьего: «Вам нужно поспешить с этим, адвокат Смайльс...»

И ведь вся эта дичь — самая доподлинная правда американской действительности! При том мракобесии, невежестве, которые столь поощряются и насаждаются правительством, прессой, «учёными», писателями, кинематографом, в современных Соединённых Штатах чрезвычайно распространены всевозможные, в том числе самые идиотские, суеверия, теософские, спиритические кружки и т. п.

Так встаёт перед нами в драматической сатире А. Якобсона широкая, правдивая картина того кошмарного и бездарного «образа жизни», который американские империалисты стремятся навязать всем народам мира.

Пьеса «Ангел-хранитель из Небраски» и посвящена тому, как именно американские «сверхчеловеки» навязывают свой образ жизни другим странам, какую «культуру», какие нравы несут они с собою. Жанр этой пьесы иной по сравнению с жанром «Шакалов». Если «Шакалы» являются острым сатирическим драматическим памфлетом, то «Ангел-хранитель из Небраски» представляет собой сатирическую комедию. Здесь преобладают краски сатирического юмора.

А. Якобсону удалось создать яркий, остро выразительный, обобщённый образ *хамства по-американски*, как выразилась недавно одна из французских буржуазных газет в связи с тем, что американский журнал «Лайф» назвал Францию не более и не менее, как уличной девкой. С другой стороны, перед нами предстают столь же яркие сатирические образы *лакейства в проамериканском стиле*. *Американское хамство и проамериканское лакейство* — таковы два главных объекта пьесы.

Хамство по-американски представлено в образе Теодора Натана Трумэна, «культурного наблюдателя», одного из бесконечного множества всякого рода чиновников и иных агентов, направляемых правительством Соединённых Штатов в маршаллизованные страны. Действие пьесы происходит, по всем признакам, в одной из скандинавских стран. *Проамериканское лакейство* представлено фигурами правых социалистов.

Тов. Г. М. Маленков указывает в докладе на XIX съезде партии: «Правые социалисты Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Австрии и других стран идут по стопам своих собратьев и весь период после второй мировой войны яростно борются против миролюбивых и демократических сил народов. Современная правая социал-демократия, в дополнение к своей старой роли прислуж-

ников национальной буржуазии, превратилась в агентуру иностранного американского империализма и выполняет его самые грязные поручения в деле подготовки войны и в борьбе против своих народов»¹.

Пьеса А. Якобсона отлично раскрывает холуйскую природу правых социалистов, их беспримерное угодничество перед американским хозяином. В «Ангеле» немало настоящего остроумия, метких характеристик, некоторые из которых поднимаются на высоту памфлетных афоризмов, заслуживающих использования в современной политической борьбе. Разве, например, не является острым афоризмом эпитафия к первой картине: «Мой дом — ваша крепость, сэр!»? Английская поговорка «Мой дом — моя крепость» ныне явно устарела и для английских и для других маршаллизованных «друзей» Соединённых Штатов! «Мой дом — ваша крепость, сэр!» — эта формула отлично передаёт лакейскую готовность деятелей из породы *проамериканских пресмыкающихся* отдать на полное разграбление свои страны и народы американским монополистам, полностью отказаться от какой бы то ни было самостоятельности, от государственного и национального суверенитета. Правые социалисты, для которых не существует ни чести, ни нации, ни родины, ни дома, космополиты, для которых доллар представляет собою единственную реальность, дошли до последней степени бесстыдства в своём низкопоклонстве перед американским боссом.

Беспредельное хамство американских хозяев и беспредельное угодничество их правосоциалистических лакеев — это и есть главная тема драматической сатиры «Ангела-хранителя из Небраски». Тонко, с большим чувством меры и очень уместно, оправданно с точки зрения темы, образов, положений своей пьесы, автор использует гоголевскую традицию. А. Якобсон не повторяет, а как бы *намекает* на ситуацию «Ревизора», на неожиданное своеобразное сходство ситуации своей пьесы с ситуацией бессмертной комедии. Это сближение с «Ревизором» само по себе является сатирическим моментом, сатирическим ходом пьесы, служит целям жестокого разоблачения. Казалось бы, что общего между чиновниками глухого провинциального городка николаевской России тридцатых годов прошло-

го столетия с западноевропейскими правосоциалистическими политиками пятидесятых годов нашего века! Какая даль отделяет Бобчинского и Добчинского от Самуэля Сунне и Гуннара Ханзена — правосоциалистических деятелей из пьесы А. Якобсона! Но вот, оказывается, эти господа так же спорят между собой на тему: «Кто первый сказал «э»?» (эта фраза служит эпитафией ко второй картине пьесы), как спорили друг с другом Бобчинский и Добчинский! Сатирическая острота сближения ситуации «Ангела» с ситуацией «Ревизора» заключается в том, что этим подчёркивается глубина холопского падения проамериканских угодников, добровольно поставивших себя и стремящихся поставить свои страны и народы, с их вековыми национальными, культурными, политическими традициями, в положение глухого провинциального захолустья, подобострастно склоняющегося перед далёкой столицей. Для маршаллизованной челяди Вашингтон является столицей мирового «надгосударства»! И каждый посланец из Вашингтона, любой маленький трумэн является для этой челяди «столичной штучкой».

Такое использование гоголевских мотивов, являющееся творческим преломлением, оправданным реальным своеобразием самой действительности, следует признать вполне правомерным. Оно отлично служит сатирическому заострению, подчёркивает внутреннюю сущность отношений. Эти отношения специфичны, далеки от механического воспроизведения гоголевских персонажей и положений. Теодор Натан Трумэн не просто новоявленный Хлестаков, хотя в нём и много хлестаковщины. Иван Александрович лгал и хвастал самозабвенно, вдохновенно, даже не имея в виду практических расчётов. Теодор Натан и лжёт и хвастает, но он делец, ни на минуту не забывающий о бизнесе, стремящийся из всего извлечь наживу.

Иван Александрович Хлестаков навёл трепет на окружающих, но его хамство было, так сказать, дилетантским, подражательным. Хамство Теодора Натана Трумэна — массивное, сознательно культивируемое, возведённое в систему, «колоссальное» хамство, употребляя его любимое выражение. Американская манера класть ноги на стол здесь оказывается символической.

Уже список действующих лиц пьесы вызывает улыбку: наряду с обычными указаниями профессий, социального, семейного положения персонажей, в качестве деловой справки сообщается: «Теодор Н. Трумэн —

¹ Г. М. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). Госполитиздат, 1952, стр. 23.

сверхчеловек из Омахи». «Полковник Смайльс — сверхчеловек из Линкольна». Много сверхчеловеков развелось в Соединённых Штатах.

Действие начинается с взволнованного ожидания в доме Самуэля Сунне, владельца и главного редактора социал-демократической газеты, появления вновь прибывающего в город сверхчеловека, господина Трумэна, американского «культурного наблюдателя». Супруга Самуэля Сунне госпожа Ингеборг ожидает заморскую штучку с тем же трепетом, с каким ожидала незабвенная Анна Андреевна появления в её доме господина ревизора; госпожа Ингеборг так же боится показаться провинциалкой. Гостиная суетливо украшается цветами. В столовой всё готово для банкета. Гость задерживается! Но вот наконец настает долгожданный миг... И начинает развёртываться типичная феерия в современном американско-проамериканском стиле.

Автор даёт живую картину своеобразного *быта*; мы получаем наглядное представление о том, как ведут себя, как говорят американские наблюдатели, ревизоры, инспекторы, гаулейтеры в странах, которые они считают своей европейской провинцией, как держатся с американскими хозяевами послушные им политики.

Особенность пьесы заключается в том, что за её «первым планом» — *бытовым* — виден «второй план» — *политический*. С такою же бесцеремонностью, с какою ведёт себя мистер Теодор Натан Трумэн в доме Самуэля Сунне, вытесняя из него хозяев, ведут себя господа Трумэны и во всех чужих домах, городах и странах. С таким же раболепством выполняют их волю господа и госпожи Сунне.

Бразильский писатель Жоржи Амаду рассказал в своей статье «В защиту национальной культуры» («Правда», 28 февраля текущего года) о двух продавшихся американцам бывших людях, композиторе и поэте. Для оплаченной долларами песни Вила-Лобоса поэт Мануэл Бандейра написал позорный текст. Он приглашает приехавших в Бразилию американских генералов — поджигателей войны: «Пройдите в дом — он вам принадлежит, входите и располагайтесь, отдавайте приказание, мы здесь для того, чтобы вам повиноваться». Космополитические лакеи всюду одинаковы!

Он самодоволен, мистер Теодор Натан, он любит шутить, он очень ценит свои шутки. А собравшиеся дамы и господа! Как подо-

бостранно смакуют они милые остроты столичной штучки! С каким трепетом они ловят каждое слово напивающегося ангела! И опять-таки из далёкой дали насмешливо кивают знакомые тени, возникает в памяти знаменитый «лабардан», звучат реплики смешных и страшных человечков, восторженно внимающих своему идолу, своему «ревизору»...

«Господин Трумэн,— а в Америке есть моря?» — спрашивает одна из провинциалок.

«Теодор Натан, О yes, missis, конечно, есть. Несколько. Но не простые моря, а океаны. До сих пор было три, а теперь... гм... их стало больше!»

Городской советник Меллер (*круглый, подвижной, отвешивая поклон за поклоном*). Хе-хе-хе... насчёт океанов... это хорошо сказано! Просто замечательно сказано! Я, разрешите заметить, руковожу школьным сектором... Фамилия моя Меллер. По специальности географ, почему я особенно ценю и понимаю подобные остроты!»

Подобными географическими остротами занимались и гитлеровские претенденты на планету...

Так, в бытовом рисунке, в домашнем разговоре за бокалом вина, в застольных шутках перед зрителем предстаёт сущность политических взаимоотношений между американскими хозяевами и их покорными слугами. Подобострастный смешок «преподавателя географии», вся картина, живописующая эти изнывающие от восторженного низкопоклонства лакейские фигуры и в центре — упивающийся своей «колоссальностью» сверхчеловек из Омахи, — всё это создаёт поистине живописную сцену. Речь Самуэля Сунне, правосоциалистического «теоретика», благодаря своей сатирической заострённости, передаёт типичную фразеологию правой социал-демократии, рисует типичный облик правосоциалистического «лидера» типа какого-нибудь Спаака. Кстати, смешно, что свои нелепые речи Самуэль Сунне произносит неожиданно сильным, грудным голосом, как будто в самом деле ему есть что сказать! «Глубокоуважаемые дамы, уважаемые господа,— говорит он.— Я и мой дом, то есть, я и моя супруга — переживаем сегодня знаменательный, радостный день. К нам,— людям, чьё мышление опирается на принципы демократического социализма, приехал в гости гражданин самой демократической на нашей планете великой державы. Родство идей — уважаемые

дамы и господа — это великое родство. Я и моя супруга... и наше нынешнее городское управление... и наше нынешнее правительство... все мы, общественные деятели наших дней, являемся по существу пролетариями. Да, братья, большой, упорной работой мы поднялись из низов, создали себе надёжную экономическую базу, при этом сохраняя абсолютную верность своему социал-демократическому происхождению, своей социал-демократической партии. И, поскольку это так, мы можем сегодня сказать: отныне и рабочий класс имеет свой зажиточный слой, своих капиталистов... да! И еще мы можем добавить к этому: работодатели — плоть от плоти, кость от кости самих рабочих... да. И оба они сидят... на одной и той же ветке... да. И мы всеми силами души должны следить за тем, чтобы врагам нашего социал-демократического рабочего движения, врагам исконных еврейских порядков, врагам культуры и цивилизации — ком-му-нис-там... не удалось перепилить эту ветку... да! *(Небольшая пауза; патетично продолжает.)* И в точности то же самое можно сказать о нашем великом союзнике, чей представитель присутствует здесь среди нас в качестве культурного наблюдателя. *(Аплодисменты.)* Кто такие, например, Форды, как не выходцы из народа? Кто такие Рокфеллеры, как не выходцы из народа?.. Вот это я и называю настоящим рабочим движением — накапливать, накапливать и накапливать, пока не разбогатеешь... да. Пока все не разбогатеет, от первого до последнего, да! Все, да! И вот таким-то образом, мы, социал-демократы, р-рреволюционеры и пролетарии, постепенно заберём в своих руки и капиталы, и государственное управление... да. *(Пауза; кашлянув.)* Итак, уважаемые дамы и господа... Разрешите мне поднять первый бокал за нашего дорогого гостя! И разрешите пожелать от всего сердца, чтобы он своими глазами увидел, как много мы делаем для того, чтобы *наше* государство и *наш* народ были полезны *их* государству... во всех его стремлениях, во всех его неустанных поисках вечных истин!»

Разве в этой «социалистической» речи не передана сущность той проповеди, — в каких бы формах она ни выражалась, — которую ведут в своих газетах, «теоретических» трудах, брошюрах, речах правые социалисты? Тут и общность интересов работодателей и рабочих, сидящих на одной ветке, и замечательное в своём роде понятие «пролетарских капиталистов», и спекуляция

на пролетарском происхождении, и преклонение перед американским демократическим долларом, и туманно-высокопарная, столь характерная для правых социалистов фразеология на тему о «вечных истинах» и их бескорыстных поисках. Недаром свои высказывания господин Самуэль Сунне подкрепляет цитатами из писаний такого столпа социал-демократической «мысли», как покойный Блюм. «Например, такой лозунг, — цитирует Сунне, — «Полемическая фаза», то есть классовая борьба, — «обществом уже изжита; вместо неё наступила мирная фаза», — иначе говоря, — «фаза сотрудничества между трудом и капиталом». *(Пишет пальцем в воздухе.)* Леон Блюм!.. Или возьмем такое характеризующее наш сегодняшний день определение, которое я лично считаю наиболее глубоким... *(Декламируя.)* «Понятие пролетарий, это в наши дни всего только абстракция». *(Снова пишет пальцем в воздухе.)* Ле-он Блюм! Речь Самуэля Сунне сливается с писаниями Леона Блюма — не поймёшь, где кончается один и где начинается другой.

Господин Сунне мог бы подкрепить свои высказывания и совсем современными авторитетами. В феврале текущего года на заседании норвежского стортинга все лидеры буржуазных парламентских партий выступили с горячими похвалами только что одобренному проекту так называемой «рабочей программы» рабочей партии (так называется социал-демократическая партия, стоящая у власти в Норвегии). Лидеру парламентской фракции буржуазной партии «Венстре», как он заявил, «особенно понравилось, что из программы рабочей партии выброшено всё, что касается диктатуры пролетариата, интересов рабочего класса, сотрудничества с Советским Союзом». Итак, из рабочей программы рабочей партии выброшено всё, что касается интересов рабочего класса. Такая холопская откровенность кажется каким-то фарсом, гротеском. Но это гротеск, придуманный самой действительностью, таковы на самом деле омерзительные шуты современной правой социал-демократии. Так сатирическое преувеличение и заострение подтверждается реальной действительностью. Очень удачна в речи Самуэля Сунне фраза о том, что накапливание капиталов не мешает сохранять «абсолютную верность социал-демократической партии». Что верно, то верно! Перед исполнителем роли Самуэля Сунне открываются настоящие сатирические возможности.

Не менее яркие сатирические возможности, в совершенно ином роде, открываются перед исполнителем роли мистера Трумэна. Присвоение фамилии незадачливого президента мистеру Теодору Натану не может не вызывать улыбки.

Теодор Натан тоже оказывается, как увидим, весьма незадачливым. Но дело не только в этом. Академик Е. Тарле в статье «Заговор против человечества» («Правда», 19 февраля текущего года) подчеркнул, что характерной чертой современных империалистических политиков является «полнейший, невиданный прежде отказ от сдерживающих этических принципов. Больше всего это сказывается в Америке и в её высших правителях. Здесь «лидеры» во главе с Трумэнном, Даллесом, Ачесоном, Риджуэем уже давно разрешили себя от всех уз и отбросили прочь все фиговые листочки. Даже Гитлер и Гиммлер не знали, что можно в таком виде, как Трумэн, или Гувер, или Гарриман, или Даллес, столь принужденно разгуливать по арене всемирной истории». Говоря о романе Н. Шпацова «Заговорщики», Е. Тарле пишет, что автор этого романа «вполне согласно с исторической действительностью рисует своего «Фрумэна» именно человеком, вполне освободившимся от стеснительной дани лицемерия. Как две капли воды, похожи его Гарри «Фрумэн» и Трумэн, ещё превосходящий в цинизме героя романа «Заговорщики».

Наделяя героя своей пьесы фамилией Трумэн, А. Якобсон изображает фигуру, вполне принужденно разгуливающую без всякого фигового листка. Фамилия Трумэна становится воплощением всесветного, космополитического американского хамства, «колоссальной» свиньи, кладущей ноги на чужой стол всюду, где она может это сделать. И так как черты образа Теодора Натана отвечают чертам образа однофамильца, то этот сатирический приём является не внешним, а вполне оправданным сущностью дела. Правда, А. Якобсон подчёркивает в своём Трумэне лишь некоторые черты того явления, которое символизируется в пьесе этой фамилией. Жанр сатирической комедии не может вместить всю мерзость, всё то злое, преступное, палаческое, что связано с фигурами «лидеров» американского империализма: для этого требуется тот жанр драматической сатиры, в котором написаны «Шакалы».

Что касается Теодора Натана, то он, оказывается, тоже пролетарский капиталист: «Мы, американцы,— отвечает он на речь

Самуэля Сунне,— пролетарские капиталисты. Возьмите хотя бы меня. Колоссально демократическая, пролетарская биография». Далее он рассказывает чрезвычайно типичную биографию современного американского политического «деятели», так сказать, характерного трумэна, сделавшего карьеру при помощи видного гангстера, при посредстве таких «типично-американских» приёмов, как физическая «ликвидация» своего политического противника. «А сейчас я один из тех, кому приходится наводить порядок в Европе и в других отсталых частях света...» — заявляет мистер Трумэн. В общем, он горячо поддерживает предложение мистера Самуэля Сунне «выпить за меня, как настоящего американца, представителя Соединённых Штатов и Объединённых наций! Ура!

Гости (встают). У-ра! За здоровье американских благодетелей!»

А. Якобсон владеет умением дать возможность самим персонажам исчерпывающим образом сатирически охарактеризовать самих себя, не нарушая при этом стиля и тона субъективно вполне серьёзных, с точки зрения этих персонажей, высказываний.

Провинциалы расспрашивают «столичного жителя» об Америке подобно тому, как Марья Антоновна и Анна Андреевна подобострастно расспрашивали Ивана Александровича Хлестакова о столичной жизни. Вопросы провинциалов робки и почтительны, ответы заморской штучки «колоссальны» и сногшибательны.

«Городской советник Брант. Культурная жизнь Америки, я думаю, после войны поднялась на высокий уровень..

Теодор Натан. Поднялась. Колоссально поднялась! Недаром наши ребята кровь проливали на полях сражений! *(С набитым ртом перечисляет.)* Французские, голландские и итальянские картины. Греческие статуи. Китайские идолы. Сервизы бывших корейских императоров». Один сержант «ухитрился отправить домой папаше и мамаше такой ковёр из корейского храма, что лисынмановского посла скрючило от зависти. А ведь это был простой сержант!»

Вот как поднялась культурная жизнь в Америке. Простой сержант — и тот сумел так повысить свой культурный уровень!

«Госпожа Брант. А как у вас музыкальная жизнь? Думаю, что и она протекает... оживлённо.

Теодор Натан. Оживлённо, оживлённо. Наши громкоговорители заглушают даже

уличный шум. Многие иностранцы не выдерживают. Лопается барабанная перепонка. Глохнут. (*Ест, пьёт*).

В некотором сатирическом заострении, перед нами истинная картина культурной жизни и культурного уровня бизнесменской Америки. Недавно американский бизнесменский «литературный» журнал, стремясь прельстить интеллигенцию, с дикарской наивностью в духе Теодора Натана хватался тем, что существуют такие американские капиталисты, которые прочитывают более десяти книг в год! Вот какие культурные. Если при этом учесть, что «десять книг» — по преимуществу гангстерски-алкоголически-порнографические романы и рекламные издания фирм, то мы вполне можем оценить оживлённость этой культурной жизни.

Первая картина заканчивается эффектом в современном американском стиле. Мы помним, что Антон Антонович почтительнейше просил Ивана Александровича оставить гостиницу и поселиться в его доме. Мистера Теодора Натана об этом просить не надо.

Теодор Натан (*привалившись к спинке стула, берёт бокал с вином и затем неожиданно кладёт ноги на стол, умищая их между тарелками; деловито, громко*). По дороге из гостиницы я подумал... и решил... (*Пьёт*.) Здесь недурная местность... (*Пьёт; тоном приказа*.) Мистер Сунне, будьте любезны сегодня же послать человека за моим багажом. Всем государствам мира приходится ограничивать свою суверенность в интересах борьбы с коммунизмом, отдельным индивидам также нельзя уклоняться от этого. (*Строго*.) Или вы с этим не согласны, а?

Самуэль Сунне (*услужливо отодвигает посуду, чтобы ногам гостя было свободнее; с поклоном*). Нет, упаси боже! Согласен! Согласен! Большая честь для меня самого... и для моего дома... и для нашей партии. При случае передайте и вашему начальству: я от души рад. (*Протянув руку вперёд, произносит торжественно*.) My home is your castle, sir. Дом мой — ваша крепость, сэр.

Жест Самуэля Сунне, предупредительно отодвигающего посуду, чтобы американским ногам было свободнее на столе, является удачной находкой, отлично выражающей в гротесковом духе сущность отношений между американскими господами и проамериканскими холопами. Столь же удачна в своём роде классическая фраза: «Мой дом — ваша крепость, сэр». Ведь именно это и говорят американским хозяевам все право-социалистические лидеры, подобные, напри-

мер, шведскому социал-демократу Густаву Фаландеру, выступившему недавно в парламенте с требованием такого изменения шведской конституции, «которое устанавливало бы, что шведский государственный суверенитет может быть подчинён государственной (т. е. американской) власти». Точно с таким же предложением выступил недавно в стортинге представитель норвежского социал-демократического правительства, министр иностранных дел. Об этом же мечтают финские р-революционеры и пролетарские капиталисты типа Фагерхольма. Повсюду правые социалисты выступают активнейшими проводниками национальной измены, отказа правящей буржуазии от своего дома в пользу «солидного» хозяина. Для продажной западноевропейской буржуазии вместе с её «социалистической» агентурой это является сделкой, на которую она возлагает все свои надежды — и по части сохранения своих монопольных прибылей, и по части своего охранения от народного гнева, — словом, все надежды возлагаются на заморского «ангела-хранителя». Но ангел-то и оказывается не только сугубо хамоватым, но и весьма ненадёжным во всех отношениях... Иллюзорность надежд на этого весьма своеобразного ангела-хранителя и раскрывается в ходе пьесы А. Якобсона.

В пьесе довольно динамически развёртываются все те блага, которые несёт с собой американская помощь. Автор отбирает характерные черты американского хозяйничанья во всех маршаллизованных странах.

Самуэль Сунне и Гуннар Хансен — городской голова, фабрикант и одновременно социал-демократический партийный туз, ярко выраженный пролетарский капиталист — из кожи лезут вон, чтобы угодить заморским хозяевам. Нужен аэродром — они предоставляют американцам в своём городе не один, а два аэродрома. Для этого надо выбросить из домов жителей окраины «Думаю дать жителям окраины, которых придётся выселить, четырёхнедельный срок — и ни днём больше! Как полагаешь?» — говорит правый социалист правому социалисту. «Правильно! Четырёх недель за глаза довольно!» — отвечает правый социалист правому социалисту. Не преподнести ли в подарок ко дню рождения сверхчеловеку из Линкольна, полковнику Смайльсу, некий сюрпризик? Дело в том, что полковник Смайльс восторженно отозвался о некоторых экспонатах из нашего городского музея, особенно тех, которые относятся

к наиболее древнему периоду нашей истории... Кто у нас здесь, в провинциальном городишке, обращает внимание на такие вещи! А там, на великой родине мистера Смайльса, в самом сердце мирового государства, эти экспонаты громким голосом расскажут о нашем народе и нашей культуре... Что ты думаешь об этом, а?» — спрашивает правый социалист правого социалиста. «Согласен! От всей души согласен!» — отвечает правый социалист правому социалисту. Что им за дело до национальных сокровищ! Мистер Теодор Натан выразил пожелание «заарендовать», т. е. приобрести ни за что, исключительно за «американский авторитет» и мифическую помощь строительные участки на окраине, где живут шахтёры, фабричные рабочие, ремесленники. Разумеется, всех их также предстоит выбросить из их лагун. «Твой квартирант, — говорит правый социалист правому социалисту, — желает заарендовать строительные участки на окраине города. Ради укрепления дружеских связей с Америкой это было бы недурно... Сегодня надо будет принять решение по этому вопросу...» «Прекрасно, прекрасно! Обсудим, решим!» — отвечает правый социалист правому социалисту.

Подобно Петру Ивановичу, мечтавшему, чтобы государь знал о том, что он, Пётр Иванович, живёт в таком-то городе, Самуэль Сунне мечтает о том, чтобы о его существовании узнали «в кругах ООН», и мистер Теодор Натан Трумэн идёт ему навстречу в этом его желании. А вот как спорят между собою два правых социалиста о том, кто первый сказал «э». «Человеком, который высказал пожелание, чтобы американцы прибыли сюда помогать нам строить социализм, был я!» — доказывает Самуэль Сунне. «Это был я, чёрт побери!» — возмущается несправедливостью правого социалиста правый социалист. Этот холопский спор становится особенно отвратительным, когда речь заходит о том, кто из них первый сказал «о практической необходимости Электрического Стула и Резиновой Дубинки», как о важнейших факторах американизации образа жизни.

Два шута гороховых, спорящих о том, кто из них лучший холоп и лучший палач, — такова на самом деле сущность правых социалистов. Ведь гордился же Носке званием кровавой собаки буржуазии! Носке был псом у *своей* буржуазии. Нынешние же правые социал-демократы являются кровавыми псами у иностранного хозяина. Это делает

их вдвойне отвратительными. Так дуэт лакеев превращается в чудовищно мерзкий дуэт палачей. И уже совсем в далёкую даль отходят тени смешных в своей нелепости энтузиастов пошлости и подобию страсти, Петров Ивановичей, — тени, появившиеся в пьесе «Ангел-хранитель из Небраски», как видим, не столько для того, чтобы подчеркнуть *родство*, сколько для того, чтобы оттенить своей сравнительной невинностью всё *различие* между теми низкопоклонниками, которых вывел на всенародное осмеяние Гоголь, и современной, особой, невиданно гнусной космополитической породой пресмыкающихся. Здесь от сатирического юмора должен произойти переход к сатире гневной, сатире, представляющей собой моральную казнь врагов человечества.

Драматург показывает, что американские гангстеры и палачи несут с собою электрический стул и резиновую дубинку, неслыханное усиление репрессий и террора, полицейского гнёта, унижения и безработицы в результате катастрофического сокращения мирного производства. Дары заморских ангелов-хранителей Европе — голод, упадок, деградация во всём — деградация хозяйственная, политическая, моральная, культурная.

«Хамство по-американски» обрисовывается перед нами как страшный палаческий «новый порядок», и облик представителя этого «порядка», мистера Теодора Натана, уже возникает перед нами не только как живое воплощение циничной гангстерски-бизнесменской наглости, — мы видим в нём вдохновителя палачей. Он хвастается тем, что американские «ребята» принесли с собою типичные проявления американского режима; ставит в образец высокого морального уровня американских «парней» (характерная лжедемократическая, гангстерски-фамильярная манера: «наши ребята», «наши парни») доблесть американских моряков, которые «вздёрнули на фонарный столб одного матроса-мулата с голландского торгового корабля», он называет это событием, которое «составляет своего рода исторический перелом» в быту «американизируемых» стран. Это самая настоящая правда об Америке Трумэнов и Даллесов, которые крайне заинтересованы в том, чтобы привить яд гангстеризма, воспитать *любовь к убийству* всюду, где они хозяйничают (об этом сознательном, систематическом воспитании любви к убийству правдиво рассказывает А. Якобсон в пьесе «На грани дня и ночи»). Холуйство перед американ-

цами — это холуйство перед палачами; вот почему Самуэль Сунне и Гуннар Ханзен сладострастно любят присланным начальнику полиции «заокеанским подарком» — резиновыми дубинками. «Ну, как? Хороши?» — спрашивает правый социалист правого социалиста. «Хороши-и!» — отвечает правый социалист правому социалисту.

«Самуэль Сунне... И представить только: целых пятьсот штук! Сразу видно, что нас поддерживает под локоток состоятельный друг... Хе-хе-хе!..» Оба они с наслаждением ощущали дубинки руками.

«Самуэль Сунне (особым тоном, смакуя каждое слово). Эластичные! Пл-лотные! Глад-кие! (Деловито.) Между прочим, это замечательно тем, что, во-первых, человечно, гуманно... именно то, чего мы, социал-демократы, добиваемся в своей политической борьбе».

Ещё раз мы убеждаемся в том, что драматург поступил правильно, выдвинув в качестве представителя буржуазии, лакействующей перед американскими хозяевами, именно правых социалистов: их лакейство особенно мерзко.

Расчёт на поддержку «состоятельного друга» и руководит американизированной буржуазией со всеми её партиями — партиями национальной измены. Но со времени провозглашения американской помощи прошёл уже, хотя и не слишком большой, однако вполне достаточный срок для того, чтобы «состоятельный друг» уснед основательно саморазоблачиться! И всё яснее становится призрачность возлагаемых на него надежд. Пьеса А. Якобсона показывает, как терпят крах эти надежды. Самуэли Сунне и Ханзены рассчитывали на то, что «состоятельный друг» даст им возможность пожить, с одной стороны, и поможет держать в повиновении народ, с другой стороны, — вообще поможет упрочить положение. Сатира А. Якобсона и направлена на разоблачение авантюристичности этих ожиданий.

Что касается выгоды, то комическая история изгнания мистером Теодором Натаном господина Самуэля Сунне и из его дома и из его предприятия, история разорения господина Сунне в результате его приобщения к авантюрам мистера Теодора Натана имеет символический смысл. Конечно, существуют в европейских странах значительные круги монополистической буржуазии, получающие огромные прибыли от национальной измены, от участия в американской подготовке к новой мировой войне, в гонке вооружений. Но тревога, возникшая в бур-

жуазном мире в связи с безумной американской авантюристической политикой, неудержимой наглостью американского империализма, страх и грызня всё сильнее в империалистическом лагере. Жалкая судьба Самуэля Сунне, потерявшего всё в результате своего доверия к «состоятельному другу», ожидает всех тех, кто связал свои расчёты с этим другом. И сатирик имеет полное право на весёлое издевательство над авантюризмом всех тех, кто видит в американском друге прочную опору. Хороша эта опора! Крах авантюристических предприятий «самого» мистера Теодора Натана Трумэна, его бесславный конец также имеют символически обобщающее значение. Сатира имеет право на преувеличение и заострение образов и положений, на предвидение хода событий, на такое обобщение фактов действительности, при котором то, что существует в жизни в качестве характерной или ведущей тенденции, изображается сатириком как уже совершившееся, развившееся полностью, до своего логически и исторически неизбежного конца. Именно так обстоит дело с крахом мистера Теодора Натана Трумэна.

И здесь выступает на авансцену тема *народа*, играющая в пьесе «Ангел-хранитель из Небраски» большую роль.

Это *народ* опрокинул авантюристические расчёты мистера Трумэна! *Народ* не захотел читать газету, перешедшую под руководство американского босса. *Народ* не захотел читать романы из серии «Необычайные приключения знаменитых гангстеров», на которой «культурный наблюдатель» Соединённых Штатов рассчитывал сделать превосходный бизнес. Это *народ* разрушил план другого, ещё более «колоссального» бизнеса Теодора Натана, — его аферы со «строительными участками», для осуществления которой предполагалось выбросить из жилищ рабочих, шахтёров, ремесленников. Народ встал на защиту своего *дома*, своей земли. И появление в финале пьесы Теодора Натана Трумэна, избитого, грязного, с заплывшим глазом, распухшей челюстью, в изорванном костюме, со штаниной, оторванной до колена, вследствие чего на волосатой ноге красуется лишь подвязка, вызывает неудержимый хохот. Вот он, — как говорит о мистере Теодоре Натане один из персонажей пьесы, — «мистер сверхчеловек и покоритель вселенной!» Куда девалась его самоуверенность! Он получил хороший нок-аут в хорошем плебейском стиле, причём самое весёлое заключается в том, что вла-

дыка мира был ~~збит~~ женщинами и детьми, которых мистер Теодор Натан предполагал выбросить из их домов, с той земли, на которой они живут. Его «колоссальная» авантюра закончилась его колоссальным поражением. И с улицы раздаются голоса — молодо, воинственно:

Гангстер, уходи скорее,
а не то дадим по шее!
А не то своих увечий
ты и дома не залечишь!

Рабочие грозятся разрушить ратушу, если утверждённый отцами города жульнический договор с мистером Трумэном на «аренду строительных участков» останется в силе.

А. Якобсон обобщает многообразные проявления народного гнева в разных странах против гангстеров из Соединённых Штатов — молодого, сильного, непрощающего, беспощадного гнева! Да, непрочны, обречены на неизбежный провал все эти американские гангстеры, при всей «колоссальности» их авантюры! У них и у самих идёт конкуренция, один вытесняет другого, как вытеснил провалившегося мистера Теодора Трумэна другой предприимчивый мистер. А главное, нельзя решать вопросы, связанные с родным «домом», с родной землёй, без народа! «Вот видите, друзья, — говорит один из героев пьесы, — мы тут объявили пролетариат, как таковой, абстракцией, а эта абстракция взяла да и отлупила нашего сверхчеловека...» Сверхчеловеки из Омахи, Линкольна, Вашингтона с каждым новым днём будут всё более убеждаться в том, что народ не абстракция, а весьма неприятная для них реальность, — причём такая реальность, без которой нельзя решить ни одного существенного вопроса. Что касается подопечных, возлагающих свои надежды на ангелов-хранителей, то они с каждым новым днём будут всё глубже убеждаться в том, что ангел подвёл их и тут: они рассчитывали, что состоятельный хозяин поможет им держать в узде их народы, а оказывается, что именно в результате ангельской помощи происходит новое, грозное обострение борьбы, растёт могучий гнев народа.

Нет, народ не скажет: «Мой дом — ваша крепость, сэр!» Народ сумеет защитить свой дом, свою землю, красоту своей родины. В этом смысле поэтически обобщающее значение имеет эпизод с цветами, которыми садовник и его племянник, безработный Ола (ставший безработным в результате

того, что, как он говорит, «наши отечественные косилки и сеялки никому больше не нужны: все склады до потолка забиты американскими машинами»), украшают комнаты в доме господина Сунне, встречающего заморского гостя. Эти цветы принадлежат не Сунне, — они принадлежат старику-садовнику, его племяннику: они принадлежат народу. И когда мистер Теодор Натан пытается приказать садовнику и его брату, чтобы они оставили эти цветы и декоративные растения в его комнатах, предлагая за это оплату в «американских долларах» и популярно разъяняя этим «туземцам»: «Я американец! А-ме-ри-ка-нец! И я буду жить здесь... И я нахожу, что эти деревца... кустики... цветочки... вполне пригодны, чтобы украсить мои комнаты», — то старый садовник и его племянник дают хороший урок заморскому пришельцу. Народ не предаст, не продаст красоты своей родины; придёт время, и он рассчитается с теми, кто отдавал её на расхищение жадным и наглым заокеанским *ангелам-грабителям*. Крах мистера Трумэна, предполагавшего, что он может свободно положить свои сверхчеловеческие ноги на вселенский стол, и убедившегося в том, что это не так просто сделать, потому что настоящие хозяева земли не сунне и ханзены, а *народы*, — этот крах — с той лишь разницей, что он будет окончательным и бесповоротным! — ждёт всех трумэнов, больших и маленьких, как бы они ни назывались.

Так сатира рассказывает о правде настоящего и будущего, разоблачает гниль, преступления, внутреннюю слабость владык старого мира, идущего к своей гибели, и их лакеев, утверждает народ, утверждает грядущее торжество народов.

Нельзя не приветствовать талантливую сатиру А. Якобсона, её основное направление, стремление драматурга сделать темой, предметом сатирического разоблачения внутреннее уродство, нелепость самой природы отношений внутри империалистического лагеря, внутреннюю непрочность этого лагеря. В самой сущности отношений между американскими хозяевами и их сателлитами, в самом современном положении империалистической буржуазии с её социал-демократической агентурой заложены такие противоречия, которые, при всей трагичности этих противоречий, если рассматривать их с точки зрения тех страшных несчастий, которые они несут народам, обладают ещё и особым, отвратительным комизмом, комизмом нелепости, комизмом, вытекающим из

противоречия между целями и результатами, когда всё, что предпринимается для усиления и упрочения империалистического лагеря, ведёт и не может не вести к его ослаблению, к его краху,— особым комизмом, который можно назвать *комизмом обречённости*. Наша сатира должна уметь глубоко раскрывать внутренние противоречия, присущие самому современному положению империалистического лагеря. И то, что А. Якобсон стремится к этому, добиваясь положительных идейно-художественных результатов, является его несомненной и реальной заслугой перед нашей литературой.

Не всё способно удовлетворить нас в сатирических пьесах А. Якобсона. Думается, что пьесе «Ангел-хранитель из Небраски» порой не хватает художественной цельности. Драматургу не всегда удаётся достаточно ясно определить переходы от одного сатирического настроения к другому, от одной грани сатиры к другой. Сатира знает такие ситуации и положения, где преобладают презрение, насмешка над моральным ничтожеством, внутренней пустотой, нелепостью, пошлостью врага,— этим ситуациям и положениям соответствует свой сатирический юмор, вызывающий прямой, непосредственный смех. В многогранной области сатиры есть и другие грани, есть положения, где преобладает гнев. Этим положениям соответствуют другие краски, вызывающие иное чувство, когда смех застывает в душе зрителя, читателя, потрясённого невообразимым моральным падением врага. Это не значит, что смех совсем ушёл,— нет, он остаётся где-то в глубине, ибо враг остаётся всё тем же презренным, пошлым, ничтожным существом,— но *этот* смех не выходит наружу, не раздаётся в зрительном зале; он как бы останавливается в горле, чтобы превратиться в восклицание протеста, в выражение нашего возмущения, нашего гневного изумления тем, что на свете может существовать такое мерзкое уродство; он, этот внутренний, грозный смех, возникает из особого источника — из того особого противоречия, которое обнажает перед нами сатирик: из противоречия между *человекоподобной видимостью* и бесчеловечной, *противо-человеческой сущностью* врага. Если в пьесе «Шакалы» драматургу всегда удаётся соблюдать различие между двумя указанными гранями сатиры, и переходы от одной к другой всегда остаются художественно ясными, то в пьесе «Ангел-хранитель из Небраски» это удаётся автору не во всех слу-

чаях. Вспомним сцены, которые мы выше охарактеризовали, как дуэт лакеев, переходящий в дуэт палачей. Различие между двумя этими моментами, переход одного положения в другое, качественно отличное, не обозначен драматургом с необходимой художественной ясностью. И потому здесь возникает опасность, что театр перенесёт тот сатирический юмор, тот открытый, прямой смех, который вполне закономерен для первого положения, во второе. Между тем гимн двух социалистов в честь электрического стула и резиновой дубинки должен вызывать у зрителей и читателя прямое возмущение и гнев, несоместимые с юмором, который окрашивал предшествующую ситуацию.

В «Ангеле-хранителе из Небраски» большую роль играет сюжетный мотив, связанный с «рогоносительством» господ сунне и ханзенов: супруги этих господ с такою же готовностью уступают во всём сверхчеловекам из Штатов, с какою их мужья распахивают перед американскими «парнями» двери своих домов. Этот мотив пьесы усиливает тему лакейства, ибо супруги сунне и ханзенов проявляют свою холопскую природу теми способами, какие имеются в их распоряжении. Вместе с тем, положение рогоносцев заостряет, подчёркивает общую постыдную унижительность положения господ ханзенов и сунне. Таким образом, нет никаких оснований возражать против этого мотива. Но всё же он слишком разросся.

Жаль, что в пьесе не получился самый финал. Концовка не завершает художественно всю пьесу в целом и кажется несколько жидковатой по сравнению с идейно-художественным содержанием произведения. Да и вряд ли правильно придавать обобщающее значение уходу от госпожи Сунне её домашней работницы как символическому обозначению того, что «народ бросает своих прежних руководителей и находит новых».

Правые социалисты давно уже не могут претендовать на роль руководителей народа, а отход от них тех слоёв народной массы, которых им удавалось и ещё удаётся обманывать, находит выражение во множестве неизмеримо более значительных повседневных фактов.

Эти недостатки вполне могут быть преодолены автором.

Талантливая и острая драматическая сатира А. Якобсона — серьёзный успех нашей всесоюзной драматургии, нашей реалистической, партийной сатиры.

Проблема тишичности в советской литературе*

4

Важными вехами в истории советской литературы стали произведения, отразившие закономерности, основные этапы народного движения к социализму.

Так, в 20-х годах верно изобразить истинное значение социалистической революции удалось тем художникам, которые глубоко поняли смысл и характер великих исторических событий. Писателям, стоявшим на мелкобуржуазных позициях, эта задача оказалась не по силам, ибо они видели только внешние стороны пролетарской революции — взбудораженную Россию, стихийные проявления народного гнева. В их произведениях воспевалась бессознательность борьбы, действовали массы, не признающие организованного начала, руководители, стоящие над массой. Сущность социалистической революции передана только теми художниками, которые отразили главное, коренное — её созидательные цели, организованный характер. В произведениях Горького и Маяковского, Серафимовича и Фурманова, Шолохова и Фадеева социалистическая революция изображена как начало великой эры созидания новой жизни, школа воспитания миллионов, как великий процесс приобщения широчайших народных масс к сознательному историческому творчеству.

Глубоким историзмом мышления, проникновением в сущность общественного развития отмечены и лучшие книги, отразившие другое время — годы строительства и победы социализма в нашей стране, период Великой Отечественной войны и наши дни. Проникновение в сущность жизненных явлений, сила художественного обобщения — вот что определило огромный успех таких вышедших за последние годы произведений, как «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Счастье» П. Павленко, «К новому берегу» В. Лациса.

* О к о н ч а н и е. См. журнал «Знамя» № 2 за 1953 год.

Небезинтересно подробнее остановиться на новом романе Лациса. Значение этого произведения прежде всего определяется тем, что писатель отразил существеннейшие черты периода ломки всего старого и поворота к колхозному строю в Латвии. Главное достоинство романа, сказано в письме группы читателей в редакцию «Правды», состоит не в изображении отдельных героев, а в том, что главным и подлинным героем романа является латышский народ, простые трудовые люди из народа, ещё вчера запуганные и забытые, а сегодня воспрявшие духом и творящие новую жизнь. Роман Лациса — это эпопея латышского народа, порвавшего со старыми, буржуазными порядками и строящего новые, социалистические порядки.

Чем объяснить, что некоторые из самых ярких и значительных литературных произведений, в том числе «Тихий Дон» и «К новому берегу», были враждебно встречены частью критиков? Эти критики находились в плену ложной теории, что типическое — это только часто повторяющееся, наиболее распространённое. Они понимали типическое как какое-то статистическое среднее. Этой схоластической теории не соответствовал образ Григория Мелехова, судьба которого механически не совпала с судьбой миллионов середняков, — его объявили «нетипичным».

Следуя ложным представлениям о типическом как среднестатистическом, критики-леваки всячески порочили и роман Лациса, объявляли случайным, незначительным эпизод, в котором изображается разрыв Айвара с выросившей его кулацкой семьёй. Они не учитывали, что этот не часто встречающийся в жизни эпизод, тем не менее, очень хорошо отражает характерный процесс общественной жизни. В письме группы читателей в редакцию «Правды» особо подчёркивалось, что разлом семейного быта кулаков и подкулачников в период роста колхозного движения не случайное явление и не простой эпизод, а закон жизни. Отли-

чительная черта этого периода состоит в том, что он ломает старые порядки, старые устои, старые нравы и обычаи, подымает брата на брата, детей против отцов, разлагает и разбивает семьи, в том числе и кулацкие семьи. Изобразив этот процесс, В. Лацис показал себя большим мастером типизации характерных жизненных явлений.

Основная тенденция советской литературы связана с глубоким проникновением художников в сущность изображаемых событий. Эта тенденция сильна, плодотворна, она успешно развивается. Но это не значит, что в нашей литературе нет явлений, к которым надо отнестись критически.

Авторы отдельных произведений, стоящие на ложных идейно-творческих позициях, дают неверное, искажённое освещение типических явлений действительности. В их книгах остаются нераскрытыми закономерности изображаемого процесса, а особенности его развития нередко предстают в ложном свете. Всё это приводит к смещению исторической перспективы, а следовательно, и к серьёзным политическим просчётам. И это понятно, ибо проблема типичности есть всегда проблема политическая.

В. Гроссман опубликовал в 1952 году свой новый роман «За правое дело». В романе есть яркие сцены, хорошо написанные эпизоды, передана общая атмосфера военного Сталинграда. Но отдельные удачи заслонены крупными недостатками, серьёзными пороками.

В. Гроссман не дал обобщённой картины событий всемирно-исторического значения, не показал сущности этих событий, источников нашей победы. В романе нет глубокого осмысления великой Сталинградской битвы, явившейся закатом немецко-фашистской армии, нет изображения тех сил, которые решили исход грандиозного сражения. Автор не показал руководящую и организующую роль Коммунистической партии в борьбе советского народа с фашистскими захватчиками, не осветил героическую деятельность советского рабочего класса, большую и умелую работу командования Советской Армии, подготавливавшего разгром трёхсоттысячной фашистской армии.

Более того, В. Гроссман обнаружил непонимание сущности исторического процесса. Вместо того, чтобы раскрыть социальный, классовый характер исторической борьбы, он следует реакционным, идеалистическим представлениям о том, что история извечно повторяется, что человечество движется не

вперёд, а по замкнутому кругу, причём в людях на первый план попеременно выдвигаются то добрые, то злые начала. Эта идеалистическая теория об извечной циклической повторяемости периодов и явлений нашла откровенное выражение в порочной пьесе В. Гроссмана «Если верить пифагорийцам», опубликованной в 1946 году. В слегка замаскированном виде автор воспроизводит ту же теорию и в своём новом произведении. Один из персонажей романа, академик Чепыжин, объясняя причины прихода фашизма к власти, говорит: «Гитлер изменил не соотношение, а лишь положение частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, неизбежный при капитализме, мусор, дрянь всякая, всё, что таилось и скрывалось, всё это фашизм поднял на поверхность, всё это полезло вверх, в глаза, а доброе, разумное, народное — хлеб жизни — стал уходить вглубь, сделался невидимым...» Извечность злых и добрых начал В. Гроссман усматривает и в отдельных людях. Без опровержения остаётся в романе следующее утверждение того же Чепыжина: «...В человеке намешано всякой всячины, многое в нём под спудом, скрытое, тайное, неверное. Часто человек, живущий в нормальных общественных условиях, сам не знает погребов и подвалов своего духа. Но случилась социальная катастрофа, и полезла из подвала всякая нечисть, зашуршала, забегала по чистым светлым комнатам. Мукá книзу пошла, а мусор поднялся наружу. Меняется не соотношение, а положение частей в моральной, духовной структуре человека».

Такого рода рассуждения не только не помогают, но и мешают читателю понять истинную сущность фашизма, являющегося не порождением немцев «вообще», а порождением германского империализма, вскормленного американскими и английскими монополиями.

Не показав сущности исторических событий, В. Гроссман не сумел нарисовать настоящих героев Сталинграда, воплощающих типичные черты советского народа. В романе отсутствуют образы советского патриота, чьи героические дела и высокие моральные качества, с особой силой проявившиеся в годы Великой Отечественной войны, поразили весь мир. В произведении много персонажей, но ни один из них не является воплощением яркого и типичного образа героя Сталинградской битвы, ни в одном из них не олицетворены ведущие черты народного характера.

Оставаясь на своих идеалистических позициях и недооценивая, по сути дела, роль народных масс, как подлинник творческой истории, В. Гроссман не выполнял, да и не мог выполнять своей основной задачи — показать типичных представителей борющегося народа. Рядовым солдатам — беззаветным борцам за Родину — он не уделял необходимого внимания. Вавилов появляется только в начале книги, а затем мы встречаем его лишь в момент гибели. Усуров и Мулярчук изображены людьми некультурными и недисциплинированными.

Обеднены и приращены и многие другие советские люди, выведенные в романе. Это не герои-победители, бесстрашные в бою, привлекающие красотой своей души и благородством побуждений, а мелкие, незначительные люди, которые не способны проявить себя в большом деле и погружены в собственные индивидуалистические переживания. Можно ли считать типичными образы советских офицеров, нарисованные в романе, если в них подчеркнута прежде всего моральная ущербность. Полковник Новиков вообще не показан в действии, во время пребывания в Сталинграде он занимается преимущественно устройством своих личных дел. Автор уверяет, что Новиков — умный и талантливый офицер, но читатель этому не поверит, так как хорошо знает, что отстаиваемый полковником малейший отступлен уже давно применялся на практике. Нельзя признать типичным и образ батальонного комиссара Крымова. Перед автором стояла важная задача — отобразить характерные черты одного из тех офицеров-коммунистов, которые политически воспитывали бойцов, готовили их к победе. Эта задача оказалась невыполненной, в романе облик политработника получил искажённое освещение. В. Гроссман уделяет особое внимание личной неудачливости своего героя, подробно расписывает его несчастную любовь к Жене. Но мы не видим главного — реальных дел Крымова, его работы среди бойцов, не видим его в общении с людьми. Дело ограничивается описанием того, как батальонный комиссар переезжает из одного пункта в другой, как он созерцает отступление наших войск, рассуждает о любви и т. д. и т. п.

Типичные герои Отечественной войны — отважные советские солдаты, командиры и политработники, самоотверженные труженики тыла не оказались в центре романа В. Гроссмана. Кому же уделил писатель

основное внимание? Как ни странно, главную роль он отвёл людям мелким и незначительным, обывателям и путаникам, неправомочно претендующим на то, чтобы философски осмыслить происходящее. Все сюжетные линии произведения стянуты к семье Шапошниковых, но Шапошниковы не имеют ничего общего с типичной советской семьёй. Подстать этим сереньким, бесцветным людям и родственник Шапошниковых профессор Штрум. За исключением упоминаний о средствах, добываемых Штрумом для приобретения аппаратуры, о его поездке на челябинский завод — в книге не говорится, чем занимался во время войны этот крупный, по аттестации автора, учёный. Зато В. Гроссман не пожалел места для описания любовной интрижки профессора, для его длинных и вредных рассуждений о войне, фашизме, извечной повторяемости явлений и т. д. Штрум — достойный ученик Чепыжина, почтительно выслушивающий все его бредни и присоединяющийся к ним. И этот-то человек «абстрактного ума» осмысливает в романе исторические события, и именно его автор пытается выдать за передового советского учёного! Надо ли говорить о том, что В. Гроссман создал образ фальшивый, нарисовал ситуацию ложную и надуманную.

Не показав сущности исторических событий, типичных советских людей, В. Гроссман стал на путь прямого искажения жизни.

Идейные и творческие ошибки писателей, как правило, связаны с отступлением от жизненной правды. Изображение правды жизни — большая и ответственная задача, стоящая перед художниками-реалистами. Чтобы выполнить её, надо не только неустанно повышать своё мастерство, искать наилучшие художественные средства для изображения типичных жизненных явлений, но и стоять на передовых идейных позициях, не отступать от марксистско-ленинского мировоззрения.

Не зная и не понимая объективных законов общественного развития, не вникая в те процессы, которые происходят в действительности, писатель не может увидеть и раскрыть жизненные закономерности. Вот и появляются произведения, в которых за передовое, прогрессивное выдаётся то, что является случайным, даже вредным. Известно, например, что в некоторых колхозах увлекались организацией подсобных предприятий, и это уводило колхозников от решения главных задач. К сожалению, в ряде

книг это отрицательное явление выдаётся за новаторский почин (С. Воронин «На своей земле»).

Мастерство типизации — понятие широкое, включающее как отношение писателя к изображаемым фактам, так и его идейную зрелость, выбор определённых художественных средств и т. п. Задачам типизации служит и язык произведения — и авторская речь и языковая характеристика персонажей. Этим задачам подчинено и сюжетное построение книги, ибо многое зависит от того, какие события автор выдвинет на первый план, какими рамками он ограничит развитие сюжета...

Поверхностное изучение материала, непродуманное отношение к построению произведения нередко приводят к тому, что главное, основное оказывается в книге заслонённым мелким, частным, второстепенным.

Многие авторы ограничиваются описанием фактов, лежащих на поверхности. В их произведениях отсутствуют широкие обобщения, свежие мысли, художественные открытия. Вместо этого регистрируются внешние приметы жизни, фиксируются отдельные наблюдения. Надо сказать, что недостатки ряда литературных произведений связаны именно с описательностью, отсутствием художественных обобщений, образов, которые могли бы стать типическими.

Это относится и к такому произведению, как роман Ефима Пермитина «Горные орлы», не так давно выпущенному издательством «Советский писатель». В романе подробно и ярко рассказано о жизни глухой алтайской деревни в двадцатых—тридцатых годах, намечены острые конфликты, сильные и сложные характеры. Но жизнь людей в годы победы колхозного строя нарисована уже бледнее, а когда автор, обойдя период Отечественной войны, обратился к нашим дням, мастерство художника вообще изменило ему. Пятая часть — это подкрашенная фотография сегодняшнего дня колхоза «Горные орлы». Здесь ничего не происходит, характеры остановились в своём развитии, страсти потухли. Эта часть напоминает протокол, в котором торопливо излагается, как иностранная делегация, посетившая колхоз, осматривает фермы, конюшни и т. д. Легковесное описательство сочетается здесь с бездумной идилличностью, местами даже слащавостью.

Думается, что в определённом смысле недостатки романа Е. Пермитина показаны

тельны. Время от времени у нас появляются книги, в которых события прошлого изображены яркими красками, во всей их сложности и противоречивости, а расцвет социалистических отношений в стране изображается бледно и торопливо, регистраторским тоном.

Элементы описательности появляются и в книгах, авторы которых увлекаются частными деталями, не отличают детали типичной от детали нехарактерной. Реалистическое искусство предполагает правдивость художественной детали, имеющей большое значение для обрисовки каждого образа. Но есть разница между деталью характерной и частной, неужной. Тургенев однажды тонко заметил: «Кто все детали передаёт — пропал, надо уметь схватывать одни характеристические детали». Эти слова сохраняют своё значение и для нашего времени. Серыми и скучными оказываются произведения, загромождённые второстепенными деталями. А ведь отбор характерных штрихов — верный признак художественной зоркости и высокого вкуса писателя. Маяковский всякий раз неустанно искал то единственное слово, которое только и выразит сущность предмета. Он писал:

Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь,
единого слова ради,
тысячи тонн
словесной руды.

Многие недостатки нашей поэзии объясняются тем, что некоторые поэты плохо знают жизнь, плохо обобщают увиденное, не умеют раскрыть в своих произведениях мысли и чувства народа. Они ограничиваются описанием внешних примет жизни, не поднимаясь до обобщённого изображения больших дел, высоких чувств, благородных стремлений строителей коммунизма. Борьба за повышение уровня поэтического мастерства неразрывна с борьбой против холодного описательства, рассудочности, риторики.

Не заслонять главное, существенное случайным, второстепенным, не подменять обобщение описанием, характерную деталь частным штрихом — об этих требованиях не может забывать писатель-реалист. «В искусстве не должно быть ничего тёмного и непонятного, — писал Белинский, —

его произведения тем и выше так называемых «истинных происшествий», что поэт освещает пламенником своей фантазии все сердечные изгибы своих героев, все тайные причины их действий, снимает с рассказываемого им события всё случайное, представляя нашим глазам одно необходимое, как неизбежный результат достаточной причины»¹.

Извлекать из фактов существенное учил писателей Горький — непримиримый враг натурализма. Горький отмечал, что «факт — ещё не вся правда, он — только сырьё, из которого следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства. Нельзя жарить курицу вместе с перьями, а преклонение перед фактом ведёт именно к тому, что у нас смешивают случайное и несущественное с коренным и типическим. Нужно научиться выщипывать несущественное оперение факта, нужно уметь извлекать из факта смысл»².

Стоящая перед литературой задача создания ярких художественных типов ко многому обязывает всех литераторов. Она обязывает полным голосом заявить о вреде поверхностной описательности, мешающей раскрыть сущность социально-исторических явлений. Она обязывает к тому, чтобы рисовать широкую картину действительности, изображать жизнь во всей её полноте и многосторонности.

Для авторов ряда художественных произведений, вышедших в последние годы, характерно стремление к широкому и многостороннему изображению действительности, выявлению её ведущих закономерностей. Этим стремлением отмечены некоторые книги на международную тему, например, «Буря» и «Девятый вал» И. Эренбурга. Она отчётливо сказалась и в романах «Белая берёза» М. Бубеннова, «Товарищи по оружию» К. Симонова³.

«Товарищи по оружию» — знаменательная веха на пути К. Симонова как художника. Роман свидетельствует о широком творческом кругозоре писателя, о его умении осмысливать и обобщать явления действительности. Рассказывая о памятных событиях 1939 года — боях на Халхин-Голе, вступлении наших войск в Западную Ук-

раину и Западную Белоруссию, — К. Симонов показывает начало нового исторического периода. Книга пронизана ощущением назревающей бури, предстоящего столкновения двух сил — великой социалистической державы с капиталистическим миром в лице фашистской Германии и империалистической Японии. В схватках с врагами мира, социализма и прогресса складывается несокрушимое боевое содружество советских людей. Фронт борцов за свободу и счастье народов будет всё расти и шириться; об этом свидетельствуют сцены, в которых показаны китайские коммунисты, бойцы героической интернациональной бригады в Испании.

К. Симонов даёт и батальные картины, и бытовые сцены, он рассказывает о личной жизни героев, их беседах, встречах, размышлениях. Действие происходит и на берегах Халхин-Гола, и в московской квартире, и на дорогах Западной Белоруссии, и в лагере для интернированных бойцов за демократическую Испанию. Завязываются нити событий всемирно-исторического масштаба, персонажи книги оказываются в самом центре назревающих событий. Тем понятнее желание читателей как можно лучше узнать этих людей, глубже заглянуть им в душу.

В романе К. Симонова хорошо охарактеризована обстановка, в которой действуют его герои. Есть страницы, свидетельствующие о растущем мастерстве писателя в изображении психологии людей (например, взаимоотношения Артемьева и Нади, Полянина и Козырева и т. д.). Но рядом с такими страницами встречаются и написанные сухо, рационалистично или же заполненные перечислением поступков персонажей. В изображении чувств, мыслей, настроений людей К. Симонов порою излишне скуп, он не использовал всех возможностей для того, чтобы выделить и заострить наиболее существенные черты действующих лиц романа. Проникнутая большими мыслями и верными обобщениями, книга намного выигрывает, если автор, готовя её к отдельному изданию, углубит характеристики своих героев.

Для того, чтобы нарисовать типическую картину реальной жизни, художник должен показать её во всех гранях и противоречиях. Творческая удача немислима без глубокого раскрытия типических характеров, действующих в типических обстоятельствах. Важно и другое: чтобы писатель, воспроизводя типические характеры, столь же серьёзное внимание уделил и тем об-

¹ В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трёх томах, том III, стр. 675.

² М. Горький. О литературе. Госполитиздат. М. 1937, стр. 109.

³ В ближайших номерах журнала будет опубликована статья, посвящённая разбору романа К. Симонова. (Прим. редакци и.)

стоятельствам, которые их сформировали, в которых действуют люди. Обе эти стороны одного и того же вопроса не отделены друг от друга.

В реалистическом искусстве развитие каждого характера должно быть глубоко мотивировано обстоятельствами, формирующими человеческую личность. Но не все писатели всерьёз заботятся о такой мотивировке.

Это в известной мере относится к пьесе Георгия Мдивани «Новые времена», обладающей рядом несомненных достоинств.

Заслуга Мдивани — внимательное отношение к новому в жизни. Руководителями колхозов и даже бригадами сейчас всё чаще выдвигаются специалисты сельского хозяйства: агрономы, зоотехники и агротехники. Об этом явлении действительности и рассказано в пьесе «Новые времена». Здесь поставлена проблема, которая не может не взволновать зрителей, — как происходит обновление кадров колхозных руководителей. Герой пьесы, председатель колхоза Агафонов, — хороший практический работник, но у него нет необходимого общего образования, агрономических знаний. Он это понимает и решает уступить свой пост другому, а сам намерен идти учиться.

Нелёгкое решение для человека, много лет находящегося на руководящей работе, человека самолюбивого и волевого! Советские люди, ставящие общественное выше личного, научившиеся критически оценивать свои возможности, способны на такое решение, и в этом нас вновь убеждает пьеса Мдивани.

Но эта пьеса могла быть значительно сильнее, если бы драматург показал всю глубину сложившейся драматической ситуации и в соответствии с ней лучше мотивировал поступок Агафонова. Зритель видит и то г размышлений Агафонова, но не знает, какие события заставили его задуматься о своей неполноценности как руководителя. Работа в колхозе спорится, председатель хорошо справляется со своими обязанностями; он не признаёт подхалимов, реагирует на критику. Агафонов первым задумался, как выйти из трудного положения, связанного с тем, что сырая весна задержала начало пахоты: раньше специалистов-агротехников он предложил прорыть кюветы для стока воды с полей. Не происходит ничего серьёзного, что убедило бы нас в слабости, непригодности председателя колхоза. Отказываясь от своего поста, сам Агафонов ссылается главным образом на

предугадываемые будущие недоделки. Когда речь заходит о том, что его пока не ругают, он говорит:

«Скоро и обо мне услышишь. Ветер переменится... И перестанут меня хвалить... Такое будут писать... аж, перья полетят!.. Ох, как будут писать!..»

Степан Макарович. Глупости говоришь. За что тебя ругать?

Агафонов. Стало быть, есть за что, отец. Правда, пока это не видно... то-есть ещё не всем видно, но я-то знаю, за что меня бить надо... Скоро и другие узнают, и тогда... пойдёт писать губерния».

Примерно такой же разговор происходит у Агафонова с братом, которому он заявляет: «...Собственно говоря, пока я ещё крепко держу вожжи в руках, но... (Развёл руками.) Скоро мне трудно станет... ох, как трудно станет!..»

Хотелось бы пожелать автору, чтобы он, продолжив работу над пьесой, ярче обрисовал намеченную в произведении подлинно драматическую ситуацию.

Оценивая лучшие достижения нашей литературы, критикуя её недостатки, необходимо добиваться главного — широких художественных обобщений, верной типизации жизни.

Поднимаясь к новым идейно-художественным высотам, советские писатели возглавляют борьбу всего демократического лагеря мировой литературы с растленным буржуазным искусством, с реакционными эстетическими теориями.

Изображение типических явлений действительности, смысла общественного развития не в интересах наёмников империализма, стремящихся скрыть жизненные противоречия. Их произведения, проникнутые человеконенавистническими идеями, развивающие низменные инстинкты, пропагандирующие насилие и войну, являются прямым и грубым искажением жизни. Декадентское искусство опирается на кантианство, на теории Ницше, Бергсона, Фрейда, на те взгляды и теории, которые отрицают закономерности общественного развития, отрицают познавательное и общественное значение искусства. Вместо обобщений — комплекс «непосредственных восприятий», вместо характеров — нюансы мимолётных настроений, вместо характерных ситуаций — капризная игра случая — всё это в искусстве декаданта должно заменить познание закономерностей мира.

Нужно сказать, что декадентские, формалистические течения сливаются с натура-

лизмом. Все эти направления объединяет страх перед познанием законов объективного мира.

Этого не хотят понять некоторые критики, которые определяют натурализм как «сниженный, неполноценный реализм». Известно, что натуралисты пытаются выдать себя за реалистов. Но никакая личность не может скрыть противоположности их методологических позиций позициям реалистического искусства. Натурализм враждебен всякому обобщению, типизации, его задача — констатировать, фотографировать отдельные факты, не осмысливая их и не оценивая. В центре изображения натуралисты ставят мелкое, частное, обыденное, многократно встречаемое. Они непримиримые противники типичного, общезначимого, принципиально не признают активно преобразующей роли искусства, выступают против героических образов, против права художника преувеличивать, заострять образ. Разоблачение формалистов, декадентов, натуралистов всех мастей является первоочередной нашей задачей.

Советские литераторы призваны творчески развивать важнейшие положения эстетики, в том числе вопрос о сознательном преувеличении, заострении образа.

5

Способы типизации действительности многообразны. Наша советская литература — литература многонациональная, и это проявляется в богатстве её национальных форм, в специфических художественных средствах, служащих задаче типизации. Это тема специальных исследований. Свои особые средства изображения характерных явлений имеет каждый литературный жанр. Но какой бы мы ни взяли вид художественного произведения, во всех случаях сознательное преувеличение, заострение образа не исключает типичности, а полнее раскрывает и подчёркивает её.

Типический образ уже по самой своей природе — явление крупное, значительное. Ряд отдельных черт сосредоточен в одном образе с большой силой концентрации, представлен в сгущённом виде.

Типичный характер — это большой, сильный характер, в котором наиболее отчётливо, выпукло выражены черты определённой эпохи, класса, нации. Опыт великих реалистов учит нас изображать сильные характеры, людей опромного порыва, кипучего действия, больших страстей.

В художественном образе с наибольшей полнотой представлены черты людей определённого социального типа. Избирая Чапаева главным героем своего романа, Д. Фурманов руководствовался стремлением отобразить то обстоятельство, что Чапаев «полнее многих в себе воплотил сырую и геройскую массу «своих» бойцов. В тон им пришёлся своими поступками. Обладал качествами этой массы, особенно ею ценными и чтимыми... Многие были и храбрее его, и умней, и талантливее в деле руководства отрядами, сознательнее политически, но имена этих «многих» забыты, а Чапаев живёт и будет долго-долго жить в народной молве, ибо он — коренной сын этой среды и к тому же удивительно сочетавший в себе то, что было разбросано по другим индивидуальностям его соратников, по другим характерам».

Полнота воплощения характерных черт людей данной категории в образе литературного героя — одна из предпосылок того, что этот образ может стать типическим.

Далее. Художественный образ становится ярким и рельефным, когда писатель заостряет ведущие черты характера своего героя, подчёркивает их средствами художественного изображения. Это относится как к положительному, так и к отрицательному образу. Горький писал:

«Мы знаем, что люди — разнообразны: этот — болтлив, тот — лаконичен, этот — назойлив и самовлюблён, тот — застенчив и не уверен в себе; литератор живёт как бы в центре хоровода скупцов, пошляков, энтузиастов, честолюбцев, мечтателей, весельчаков и угрюмых, трудолюбивых и лентяев, добродушных, озлобленных, равнодушных ко всему и т. д. ...»

Драматург имеет право, взяв любое из этих качеств, углубить, расширить его, придать ему остроту и яркость, сделать главным и определяющим характер той или иной фигуры пьесы. Именно к этому сводится работа создания характера...»¹.

Слова Горького о заострении характера раскрывают специфику работы художника над образом. Это относится как к реалистам прошлого, так и к писателям, стоящим на позициях социалистического реализма. Выделяя и заостряя основные черты характера своих героев, М. Шолохов создал в «Поднятой целине» отчётливые, прямо-таки скульптурные типические обра-

¹ М. Горький. О литературе. Изд-во «Советский писатель», 1937 г., стр. 153—154.

зы. Тем более досадно, что вопрос о заострённости художественного образа как характерной черте творческого метода Шолохова почти не разработан в нашей критической литературе. Не будем касаться деда Шукаря,— этот пример говорит сам за себя. Вспомним хотя бы Нагульнова. Всеми средствами художественного изображения подчёркивает автор его угловатость, необузданный темперамент, отсутствие у него гибкости, привычки взвешивать и обдумывать свои поступки. И навыки старого кавалериста, и хищный вырез ноздрей, и глаза с мутной наволочкой, и звенящий, срывающийся на крик голос, и бурная реакция на малейшее с ним несогласие — во всём видна горячая натура Нагульнова. Заостряя ведущие черты характера своего героя, делая их наиболее отчётливыми, выпуклыми, Шолохов достигает особой выразительности образа.

И, напротив, невыразительность ряда литературных героев часто объясняется тем, что они лишены заострённости характера. Иногда за «типического» человека выдаётся серая, невзрачная личность. Писатель словно боится, как бы его герой не оказался очень уж самобытным, и всячески приближает его к некоему эталону «среднего человека».

Для того, чтобы создать художественный тип, необходимо нарисовать яркий характер, и нарисовать его с большим мастерством, в разных гранях, в основных, определяющих чертах. Без глубокой разработки характера невозможно создать полноценный художественный образ, а намётка образа, схема характера никогда не станут основой для создания типа. Кстати, недостаточно глубокая разработка характера, его невыразительность нередко бывают связаны именно с тем, что писатель, стремясь дать характер в многообразии его черт, понимает это многообразие неправильно, как арифметическую сумму различных качеств. Поэтому он не определяет основной «стержень» характера, ту его черту, которая является главной, ведущей, как бы цементирующей все остальные. Так, например, Ю. Лаптев в своём новом романе «Путь открыт» сделал попытку показать людей в различных областях жизни, в многообразии чувств и переживаний. Однако, наделив своих героев многими чертами, писатель не сумел с художественным заострением показать в каждом из них объединяющие, ведущие черты характера; образы получились расплывчатыми.

Между тем умелое заострение образа помогает с наибольшей силой раскрыть полностью и многогранность характера советского человека.

Литературный герой должен раскрыться во всей своей силе и определённости, а это предполагает подчёркивание его характера, изображение таких ситуаций, в которых наиболее полно и отчётливо проявляются его качества. Заострение художественного образа достигается тогда, когда автор не только выделяет определённые черты своего героя, но и добивается, чтобы основное в его облике не было заслонено второстепенными, малозначительными штрихами, случайными деталями.

Важное условие создания подлинно типического образа — его заострённость, отчётливость, сила и полнота концентрации в нём качеств, характерных для изображаемой категории людей.

Надо сказать, что типические образы в реалистическом искусстве часто бывают построены на прямом преувеличении. Это положение особенно важно для новаторского искусства социалистического реализма, которое отражает величественную действительность, героические дела строителей коммунизма. Горький отмечал, что «подлинное искусство обладает правом преувеличивать», что «в словесном искусстве право преувеличения выражается как типизация...»¹. Задавая вопрос, почему реальный герой советской эпохи не отражён в пьесах с той силой, какой он заслуживает, основоположник советской литературы писал: «Этот вопрос нужно будет поставить, и мне кажется, что этот вопрос следует поставить в такой плоскости: признаем ли мы за искусством право преувеличивать явления социальные, положительные и отрицательные?.. Все большие произведения, все те произведения, которые являются образцами высокохудожественной литературы, покоятся именно на преувеличении, на широкой типизации явлений»².

Смелость и широта обобщений, сознательное преувеличение подмеченных в жизни явлений — залог создания подлинно типического образа. Не было в жизни точно таких людей, как Дон-Кихот. Но в том-то и гениальность Сервантеса, что он, уловив

¹ М. Горький. О литературе, стр. 363 и 409—410.

² М. Горький. Несобранные литературно-критические статьи. Гослитиздат, 1941 г., стр. 143.

черты человека такого типа, с большой силой их обобщил, преувеличил и нарисовал образ, характерный для целой эпохи и многими своими сторонами значительный и для других эпох человеческой истории.

Этот и многие другие образы — результат поэтического преувеличения. Но надо подчеркнуть, что речь идёт не о любой гиперболе, не о всяком преувеличении. Разумеется, абстрактные аллегории или условные гиперболы — это вовсе не то преувеличение, которое является душой большого искусства. Реалистическое искусство предполагает сознательное преувеличение, заострение образа. Задача писателя — художественно ярко раскрыть внутреннюю закономерность изображаемого. Не было точь-в-точь такого Обломова, какого показал Гончаров. Но была обломовщина как явление социально-исторического порядка, и её сущность, выявленная средствами реалистической гиперболлизации, зримо выступила в образе Обломова как олицетворение всего крепостнического строя.

Сознательное преувеличение необходимо и в искусстве социалистического реализма. О великих делах советского человека надо рассказывать так, как он этого достоин: с подъёмом, страстью, синтезируя его идейные и моральные качества в ярком образе, подавая «крупным планом», с художественным преувеличением. Подобное преувеличение, разумеется, не имеет ничего общего с приподниманием героя и а д действительностью, к чему призывали иные критики.

В соответствии со спецификой искусства типичным может являться и исключительное.

В том и сила образа-исключения, что он, не будучи искусственно приподнятым над действительностью, вместе с тем является отчётливым выражением характерных черт определённого человеческого типа. Оригинальный характер, отмечал ещё Чернышевский, — это такой характер, в котором наиболее резко выражены существенные черты народа, человечества. В своём романе «Что делать?» Чернышевский нарисовал замечательный образ «особенного человека», Рахметова. Таких людей, как Рахметов, в то время было немного, но они были лучшими представителями народа, типичными борцами за его счастье.

На примере таких образов можно видеть, что типическое далеко не всегда совпадает с массовым.

Личная трагедия Павла Корчагина — редкий случай, но в нём с наибольшей силой раскрываются духовные возможности того типа людей, к которому принадлежит главный герой романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Образ Корчагина при всей его конкретности и биографической основе является образом широкого обобщения. Этот герой романа с наибольшей полнотой воплотил типические черты своего класса, той среды, которая вырастила его и воспитала. Павел является ярким художественным типом, потому что массовые черты не просто механически соединены в нём, но подчеркнуты художественными средствами.

Было бы, конечно, неверно требовать от каждого писателя, чтобы он обязательно и во всех случаях стремился к преувеличению. Это не единственно возможный способ изображения героя в реалистическом искусстве. Им редко пользовался, например, Чехов, бравший жизнь в её потоке, умевший блестяще раскрыть существенные черты человека в его повседневной жизни, в быту и т. д. Нельзя не считаться с творческой индивидуальностью художника, с особенностями его замысла.

Но при всём этом очевидна и другая сторона вопроса. Многие писатели и критики до недавнего времени не понимали значения преувеличения в искусстве; исключительный же образ нередко объявлялся «нетипичным», а типическое истолковывали как нечто среднестатистическое.

Дошло же дело до того, что Б. Михайловский и Е. Тагер в своей книге «Творчество М. Горького» (Учпедгиз, 1951), отождествляя исключительное с нетипическим, недвусмысленно заявили: «Фома Гордеев — исключительный, не типический образ».

6

Искусство социалистического реализма, развивая лучшие традиции классической литературы, вместе с тем является искусством новаторским, базирующимся на ленинском принципе партийности литературы. Искусство социалистического реализма призвано изображать действительность в её революционном развитии, не только показывать сегодняшний день народа, но и заглянуть в его завтрашний день, помочь осветить прожектором путь вперёд. Об этом говорится в целом ряде партийных решений и документов. Так, в постановлении ЦК о репертуаре драматических театров и ме-

рах по его улучшению сказано: «Драматурги и театры должны отображать в пьесах и спектаклях жизнь советского общества в её непрерывном движении вперёд, всячески способствовать дальнейшему развитию лучших сторон характера советского человека, с особой силой выявившихся во время Великой Отечественной войны».

В этих словах — ключ ко многим проблемам социалистического реализма. Воспитывая в коммунистическом духе трудящихся, помогая людям изживать пережитки прошлого, ярко и впечатляюще изображая коммунистический идеал, литература тем самым помогает успешно движению советского общества вперёд. Она не только отражает мир, но активно помогает партии изменять его в соответствии с коммунистическим идеалом.

Требование уметь заглядывать в завтрашний день обязывает писателя быть внимательным к росткам нового в жизни. Они могут быть ещё малозаметными, не получить массового распространения, но они возникают, растут, в них находят выражение главные тенденции общественного развития. Именно проникновение в сущность нашего развития даёт художнику-реалисту возможность увидеть ростки нового в жизни и указать на них народу.

Необходимость изображения нового в жизни ни у кого ныне не вызывает сомнения. Но приходится слышать и такое мнение, что, рисуя новое, пока что мало-развитое, художник якобы рисует то, что ещё не является типичным, хотя станет типичным завтра. Такое мнение неправильно и отражает обветшавшую теорию о типичности как о массовом, наиболее распространённом. Типическое — это не только то, что давным-давно сложилось и имеет массовый характер, но и то, что только ещё родилось и пока не получило широкого распространения, но чему принадлежит будущее. В этом свете становится понятным одно малоизвестное высказывание Горького, ещё в годы реакции писавшего:

«...Обязанность — а то, если хотите — задача литературы не вся в том, чтобы отражать действительность, столь быстро переходящую, — задача литературы найти в жизни общезначимое, типичное не только для сего дня... Мне хочется сказать вам, что задача времени в том, чтобы раздувать искры нового в яркие огни...»¹.

«Раздувать искры нового в яркие огни!» Эти замечательные слова словно адресованы советским писателям. Многие наши художники прониклись благородным стремлением поддерживать новое, но не совсем ясно представляют, как это можно сделать средствами художественного изображения. Ответ они могут найти в словах Горького. Не описание, не сухая регистрация примет нового, а активная его поддержка, заострение — вот тот путь, которым идёт искусство социалистического реализма, раздувая первые искры в яркие огни нового, коммунистического.

Именно потому, что новое, возникающее ещё не широко распространено, оно нуждается в особой поддержке, в том, чтобы его изображали ярко и любовно, помогая ему в борьбе со старым и косным, которое не хочет добровольно уходить из жизни. Маяковский справедливо писал:

Поэт
настоящий
вдувает
заранее
из искры
неясной
ясное знание.

Вопрос о подчёркивании, преувеличении нового вставал и перед художниками критического реализма, хотя его не всегда удавалось решить. Очень интересно одно замечание Тургенева по поводу образа Базарова. Все знают, что образ этот не лишён существенных противоречий, определённых в конечном счёте классовой позицией автора романа «Отцы и дети», который хотя и признавал историческую правду новых людей, но чувствовал себя чуждым им. В связи с выходом романа в печати высказывались самые противоречивые мнения о нём. Об этих спорах рассказал Н. Н. Страхов, писавший в журнале «Время»: «Одни нашли, что «Отцы и дети» есть сатира на молодое поколение, что все симпатии автора на стороне отцов. Другие говорят, что осмеяны и опозорены в романе отцы, а молодое поколение, напротив, превознесено...» Сам Тургенев болезненно переживал упреки в том, что он недоброжелательно изобразил новый тип. Пытаясь оправдаться, он в 1869 году писал:

«Вся причина недоразумений, вся, как говорится, «беда» состояла в том, что воспроизведённый мною Базаровский тип не успел пройти чрез постепенные фазисы, че-

¹ Журнал «Звезда» № 6 за 1947 год, стр. 170.

рез которые обыкновенно проходят литературные типы. На его долю не пришлось — как на долю Онегина или Печорина — эпохи идеализации, сочувственного превознесения. В самый момент появления *нового человека* — Базарова — автор отнёсся к нему критически... объективно. Это многих сбило с толку — и кто знает! в этом была — быть может — если не ошибка, то несправедливость. Базаровский тип имел по крайней мере столько же права на идеализацию, как предшествовавшие ему типы...»¹.

В силу целого ряда причин автор «Отцов и детей» не мог с полным сочувствием отнестись к Базарову, а «критический» взгляд на этого героя, по существу, означал неприятие его писателем. Хотя Тургенев и пользуется не совсем точной терминологией («идеализация» и т. п.), всё же вполне понятна мысль о доброжелательном, сочувственном отношении к новому, только ещё нарождающемуся типу. Яркое изображение нового, живая заинтересованность в его победе над старым, сознательное превеличение ростков нового — всё это несказанно расширяет творческие возможности художника. Недаром великие революционные демократы настойчиво учили писателей улавливать новые явления, сочувственно изображать черты передового, растущего. Об этом не раз писал Добролюбов, видевший в героине «Обломова» Ольге намёк на новую русскую жизнь, считавший, что героиня «Накануне» Елена — лицо идеальное, составленное из лучших элементов, развивающихся в русском обществе. Добролюбов требовал от критики «определить, стоит ли автор в уровень с теми естественными стремлениями, которые уже пробудились в народе или должны скоро пробудиться по требованию современного порядка дел»².

Искусство социалистического реализма имеет возможность сознательно и последовательно осуществлять то заострение нового, к которому стремились и которого не всегда могли достигнуть писатели в прошлом.

Говоря о том, что типично новое, возникающее, выражающее сущность тенденции развития, мы отвечаем и на вопрос о взглядывании вперёд, в завтрашний день нашего общества.

Социалистический реализм изображает в

поступательном развитии и жизнь и людей. Горький писал, что реализм «справился бы со своей нелёгкой задачей, если б он, рассматривая личность в процессе «становления»... изображал бы человека не только таким, каков он есть сегодня, но и таким, каков он должен быть — и будет — завтра»³.

Для того, чтобы изображать человека, несущего в себе черты завтрашнего дня, нет никакой нужды «придумывать» его, наделять несуществующими в жизни чертами. В искусстве человек завтрашнего дня угадывается в облике передового советского человека — нашего современника. Рисуя своих современников, писатель концентрирует и подчёркивает в них лучшие новые качества, которые становятся и должны стать общенародными качествами.

Основываясь на точном знании жизни, идейно вооружённый, чуткий к новому, художник одним из первых замечает в действительности возникающие новые черты. Эти черты, ещё не совсем заметные, часто рассеянные по отдельным людям, он стремится собрать и изобразить в художественном образе, дополняя при этом увиденное своим творческим чувством, создавая одно стройное целое из разрозненных черт, подчёркивая и заостряя их. Уже создание такого цельного, завершённого типа даёт возможность представить новое как образец для многих людей в их идейном и духовном росте.

Писатель не отступит от реализма, если акцентирует внимание на силе и красоте нового в людях и жизни, представит новое во всех его возможностях и потенциях.

Поэма В. Маяковского «Хорошо!», написанная в 1927 году, звучала как вдохновенный гимн Великому Октябрю. Вместе с тем поэт писал о новом, коммунистическом, как об уже утвердившемся в жизни; его поэма была пророческой, устремлённой в будущее.

Такой подход к изображению действительности творчески осваивается советскими писателями. Герои лучших произведений В. Ажаева, С. Бабаевского, Г. Николаевой и других, будучи нашими современниками, являются новыми людьми, несут в себе черты завтрашнего дня. Характерно отношение многих читателей к Груне Васильцовой — героине известного романа Е. Мальцева «От всего сердца». В Груне видят нравственный идеал, жизненный пример.

³ М. Горький. О литературе, стр. 256.

¹ И. С. Тургенев. Собрание сочинений. Изд-во «Правда», 1949, т. 10, стр. 263.

² Н. А. Добролюбов. Собрание сочинений в трёх томах, том 3, стр. 173.

Творческое отношение к своему труду, органическое единство личного и общественного, государственная точка зрения на вещи — эти качества Васильцовой присущи лучшим советским людям. В то же время не столь часто встречаются в жизни отдельные люди, в которых эти качества были бы выражены так полно и с такой силой, как они выражены у Груни. Автор романа показал, каких нравственных высот достигает человек, если лучшие его задатки развиваются во всех своих возможностях. Подчёркивая художественными средствами силу нового, передового в образе Васильцовой, Е. Мальцев верно типизирует жизненные явления.

Яркое изображение типичных новых качеств советского человека — первостепенная задача нашей литературы.

«Сила и значение реалистического искусства, — говорил тов. Г. М. Маленков, — состоит в том, что оно может и должно выявлять и раскрывать высокие душевные качества и типичные положительные черты характера рядового человека, создавать его яркий художественный образ, достойный быть примером и предметом подражания для людей»¹.

7

Только тот художник сможет верно отобразить типические явления действительности, кто покажет жизнь во всей её противоречивости и сложности. Нельзя выявить силу и значительность передового советского человека, не изобразив типичных обстоятельств, в которых он живёт и действует, не осветив его борьбы против старого, косного. Нельзя правдиво отобразить победу нового, не показав его борьбы со старым, не раскрыв характерных для нашего времени конфликтов.

Типические закономерности общественного развития могут показать только те художники, которые изображают острые конфликты, резкие столкновения передовых людей, новаторов, с рутинёрами, фальшивыми людьми. Лишь в реальной борьбе нового и старого, в процессе преодоления жизненных противоречий развиваются и проявляются человеческие характеры.

Сторонники теории «бесконфликтности», не признавая необходимости изображения

отрицательных явлений, борьбы с ними, игнорировали указания марксизма-ленинизма о законах общественного развития и вводили литераторов от активной борьбы с косным, тормозящим наше движение вперёд. Но тот, кто снимает противоречия, не способен отразить правду жизни, не может показать характеров в развитии; действительность предстаёт у него в одностороннем и, следовательно, искажённом освещении.

Неправильно представление, что лишь положительное может быть объектом типизации, объектом изображения, а отрицательное в нашей действительности, которое менее распространено, чем положительное, не подлежит, мол, типизации. Партия учит показывать в обобщённых образах старое, отживающее, отрицательное как явление, чуждое советской действительности.

Ложная точка зрения, что отрицательные явления не могут быть типичными, поскольку они не являются массовыми, отражает неправильное представление о типичном как наиболее распространённом, массовидном. Она связана с упрощённым пониманием типического как характерного для всего общества в целом. Между тем марксистское понимание типичности основано на том, что типическим является то, что с наибольшей полнотой и заострённостью выражает сущность данной социальной силы, данного социально-исторического явления. Отрицательный персонаж типизирует, разумеется, не советское общество в целом, но черты людей определённого типа, носителей старых пережитков. Такой образ соответствует сущности того конкретного социального явления, которое обличается художником, и, значит, это типический образ.

Долг советского писателя — смело показывать недостатки, разоблачать носителей отсталых настроений, вести решительную, беспощадную борьбу с пережитками капитализма и влиянием буржуазной идеологии на советских людей. Партия учит: «У нас не всё идеально, у нас есть отрицательные типы, зла в нашей жизни немало, и фальшивых людей немало. Нам не надо бояться показывать недостатки и трудности. Лечить надо недостатки. Нам Гоголи и Шедрины нужны. Недостатков нет там, где нет движения, нет развития. А мы развиваемся и движемся вперёд, — значит, и трудности, и недостатки у нас есть»².

¹ Г. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). Госполитиздат, 1952, стр. 73.

² Статья «Преодолеть отставание драматургии». «Правда» от 7 апреля 1952 года.

Робость в изображении отрицательных явлений, отсутствие сатирической заостренности — характерный недостаток ряда литературных произведений. Писатель, показывая торжество нового, передового, не должен умять силу старого, которое не сдаёт своих позиций без ожесточённой борьбы. В редакционной статье журнала «Коммунист» «Насущные задачи советской литературы» (№ 21 за 1952 г.) отмечено: «Чем острее борьба, чем сильнее препятствие, тем значительнее подвиг героя, тем ярче он выявит свою волю, бесстрашие, советский патриотизм, тем сильнее окажет он положительное воздействие на читателя. Социалистический реализм требует, чтобы и оживающая тенденция изображалась — в соответствии с жизненной правдой — в развитии, то-есть в своём умирании. Чтобы выявить этот процесс, художник имеет право заострять и преувеличивать отрицательные образы».

Отражая типические отрицательные явления, художник-реалист имеет полное право сконденсировать и подчеркнуть характерные черты разоблачаемого типа. Лучшие традиции русской и мировой сатиры являют обличительную силу образа-гиперболы. На гиперболизации основаны образы, созданные Рабле и Свифтом. Гоголь и Щедрин не боялись представить отрицательное явление в гротесково-очерченном образе с тем, чтобы беспощадно разоблачать гнилость, антинародность всего косного, омертвевшего. Благодаря этому они создали образы большого типического значения, в которых был заклеимён и осмеян самодержавно-крепостнический строй.

Партия подчеркнула необходимость освоить традиции великих русских сатириков. «Неправильно было бы думать, — говорил тов. Г. М. Маленков на XIX съезде партии, — что наша советская действительность не даёт материала для сатиры. Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнём сатиры выжигали бы из жизни всё отрицательное, прогнившее, омертвевшее, всё то, что тормозит движение вперёд»¹.

Традиции русской классической сатиры успешно развивали Горький, автор американских памфлетов, и Маяковский, создатель ряда сатирических пьес и стихотворений. Гипербола послужила Горькому

художественным приёмом обличения американских реакционеров в памфлетах «Город Желтого Дьявола», «Один из королей республики», «Жрец морали» и других. «Король» капиталистической Америки представлялся писателю в образе жадного чудовища, которое, почувствовав, что «где-то в Сибири вырос доллар... — протягивает руку через Берингов пролив и срывает любимое растение, не сходя с места». «Город Желтого Дьявола» — Нью-Йорк — рисуется воображению Горького в виде страшной челисти, безжалостно гложущей людей.

Блестящие образцы сатирического разоблачения фальшивых людей, умелого владения оружием критики и самокритики можно найти в стихах и пьесах Маяковского. В. И. Ленин высоко оценил сатирическое стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся».

Лучший, талантливейший поэт советской эпохи был беспощаден к отрицательному, оживающему, высмеивал всё косное, омертвевшее. Он широко пользовался приёмом художественного преувеличения, справедливо утверждал:

Театр
не отображающее зеркало,
а —
увеличивающее стекло.

Словно через увеличительное стекло, смотрит читатель на фальшивых людей, изображаемых Маяковским. Поэт даёт сатирический портрет носителя определённого порока, саркастически высмеивает его, пробуждая у читателя ненависть и отвращение к пережиткам капитализма. Вот перед нами Пётр Иванович Болдашкин — типичный подхалим, который «бесформен словно студень», «худ умом и телом чахл». Подлиза лезет в гору благодаря своему «таланту» — нежному способу обхождения с начальством. Истинный смысл этого «таланта» выражен поэтом в образе, построенном на гиперболе и ярко вскрывающем мерзость подхалимажа:

Лижет ногу,
лижет руку,
лижет в пояс,
лижет ниже,
как кутенок
лижет суку,
как котенок
кошку лижет.

А язык
на метров тридцать

¹ Г. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). Госполитиздат, 1952, стр. 73.

догонять
начальство вылез,
мыльный весь,
аж может бриться,
даже
кисточкой не мылась.

Эта же беспощадная, сокрушающая ирония звучит и в других сатирических стихах Маяковского, разящего чуждых нам людей, воспитывающего читателей в духе ненависти к взяточникам и бюрократам, сплетникам, ханжам, жуликам и т. д.

Опыт выдающихся мастеров искусства социалистического реализма нужно изучать и развивать. Напомнить об этом тем более важно, что ныне сатира как вид литературного произведения отсутствует в нашей литературе. Есть только отдельные исключения. Но и эти немногие исключения показывают огромные возможности сатирического произведения. Стоит вспомнить, какое широкое общественное значение имел «Фронт» А. Корнейчука. Имя Горлова сделалось нарицательным для обозначения кичащегося старыми заслугами, тупого и косного военного, который стал тормозом на пути совершенствования нашего полководческого искусства, а следовательно, и на пути к победе. А. Корнейчук предельно заострил характерные черты своих персонажей, и каждый из них явился типичным воплощением того или иного социально-общественного явления. На заострении образов построены, кстати, и некоторые другие произведения того же драматурга, в том числе комедия «В степях Украины».

Создание ярких сатирических произведений — насущная задача советских писателей. В её решении художникам слова должна помочь литературная критика. К сожалению, до сих пор не созданы серьёзные теоретические работы о советской сатире, а в ряде статей общего характера даже отрицалась необходимость изображения отрицательных явлений, борьбы с недостатками у наших советских людей. Стремление пригладить жизнь проявилось, например, в статье В. Зименко «Социалистический реализм как отражение жизни социалистического общества» (журнал «Искусство» № 1 за 1951 г.). Исходя из ложной предпосылки, что ныне противоречий уже «нет в жизни», что у нас «всё *новое* растёт беспрепятственно», автор не замечает противоречий в сознании положительного героя. По его мнению, старое без борьбы, автоматически сдвигает свои позиции. В. Зименко утверждает,

что «отдельные чёрточки психологии старого человека, присутствующие в нём (в советском человеке.— В. О.), исчезают и сглаживаются в процессе его коммунистического воспитания...» Ни особыми усилиями, ни борьбой этот процесс мирного «сглаживания», по Зименко, не сопровождается.

Но в жизни борьба старого и нового проходит не легко и не просто. Литераторы должны помнить, что у нас ещё сохранились пережитки буржуазной идеологии, сохранились носители буржуазных взглядов и буржуазной морали — живые люди, скрытые враги нашего народа. Разоблачая их, советские писатели воспитывают трудящихся в духе высокой политической бдительности. При этом следует иметь в виду, что ныне враждебные элементы, фальшивые люди, находясь в советском обществе, вынуждены действовать замаскированно, прикидываться советскими людьми. Они не решаются держаться так откровенно, как Фамусов или Сквозник-Дмухановский. Тактика фальшивых людей основана главным образом на тонкой маскировке, на скрытой, хотя и упорной, ожесточённой борьбе против нового, передового. Долг писателя — разобраться в этих уловках, раскрыть их подлинный смысл и вытащить за ушко да на солнышко всех тех, кто мешает советскому народу строить коммунизм. Для этого надо тайное делать явным, вскрывая сущность обличаемого явления, показывая его с необходимым художественным заострением.

Правильному подходу к изображению жизни, верному использованию оружия сатиры советских писателей учат указания Ленина и Сталина.

Отвечая А. М. Горькому, высказавшему мысль, что надо отказаться от увлечения самокритикой, а показывать в работе Советов по преимуществу положительное, ибо самокритика раскрывает наши недостатки, наши слабые стороны и даёт богатый материал врагам, товарищ Сталин писал: «...Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Максимович. Без неё не минуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса. Конечно, самокритика даёт материал врагам. В этом Вы совершенно правы. Но она же даёт материал (и толчок) для нашего продвижения вперёд, для развязывания строительной энергии трудящихся, для развития соревнования, для ударных бригад и т. п. Отрицательная

сторона покрывается и перекрывается положительной»¹.

Обличение недостатков должно вести к развенчанию отрицательных явлений и утверждению положительных. С правильным пониманием критики и самокритики не имеют ничего общего произведения, развенчивающие передовое, положительное; в них даётся искажённое освещение жизни. Товарищ Сталин резко указал на ошибочность и вредность антипатриотических фельетонов Демьяна Бедного «Слезай с печки», «Без пощады», «Перерва», в которых прошлое и настоящее России изображалось в сплошных чёрных красках, огульно охивалось всё русское, утверждалось, что «лень» и стремление «сидеть на печке» являются чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит, и русских рабочих, проделавших Октябрьскую революцию. «И это называется у Вас большевистской критикой! — писал товарищ Сталин. — Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата»².

Советскому народу нужна боевая, высокохудожественная сатира, разоблачающая отрицательные явления, служащая делу укрепления и возвеличения Советского государства. Такая сатира отразит правду жизни, передаст типические черты нашей действительности.

Художник-реалист, стоящий на позициях партийности, не просто описывает положительные и отрицательные явления. При создании типических образов он страстно отстаивает свои идеалы и гневно разоблачает всё гнилое, омертвевшее. Перед ним стоит важная цель: показать тенденции развития каждого явления. Новое растёт, крепнет, побеждает в борьбе со старым, и об этом писатель должен рассказать сильными, вдохновенными словами. Иная судьба у старого: оно идёт по пути умирания, и художник может ускорить гибель реакционного, сурово его обличая, показывая всю его мерзость. Сила обличения отрицательных явлений, фальшивых людей — то качество, которое отличает писателя-гражданина, писателя-борца.

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 12, стр. 173.

² И. В. Сталин. Сочинения, т. 13, стр. 25.

Напомнить об этом требовании тем более важно, что авторам некоторых новых сатирических пьес не хватает именно силы и остроты обличения. Очень хорошо, что ряд драматургов взялся за создание комедий. В большинстве случаев верно избраны объекты для разоблачения: жулики и авантюристы, ротозей, бюрократы и т. д. Но нельзя не заметить и таких явлений, о которых хотелось бы предупредить наших драматургов. Во-первых, это своеобразная «облегчённость» конфликта; конфликты в некоторых пьесах построены на незначительных недоразумениях и размолвках, они лишены необходимой остроты, а порой вообще «снимаются» к концу произведения. Во-вторых, речь идёт о подмене разящего и беспощадного негодования лёгким, шутивным осмеянием, добродушным вышучиванием отрицательного персонажа. Порой наши сатирики не умеют показать всей враждебности тех явлений, о которых они пишут, подчеркнуть необходимость непримиримого отношения к носителям чуждых взглядов.

Привлекает внимание комедия С. Михалкова «Раки», осмеивающая жуликов и ротозеев. Но до подлинного сатирического обличения автор, к сожалению, не поднялся. Наиболее уязвим образ проходимца Ленского. В его лице автор должен был заклеить негодяя, пустившегося на самые подлые махинации, чтобы, пробравшись на руководящий пост, запустить руку в государственную казну. Однако этого не случилось. Вместо того, чтобы с особой силой показать тот общественный вред, который причиняют подобные люди, С. Михалков уделил наибольшее внимание истории сватовства Ленского к дочери Лопухова. Если бы эта история заняла своё — подчинённое — место в комедии, против неё не стоило бы возражать. Беда в том, что любовные похождения Ленского оказались основной сферой, в которой проявляется его характер. Отсюда и глупая ситуация с обручальными кольцами и кража из гостиницы вазы, предназначенной в качестве подарка невесте. Одной из наиболее значительных в пьесе могла стать сцена, где Ленский, «вступив в должность», подбрасывается к государственным деньгам. Но эта сцена оказалась скромканной, автор не показал истинного лица авантюриста, не разоблачил его преступной деятельности.

Не развил драматург и другого мотива, который намечен в пьесе и давал основание ярко выявить сущность методов, которыми действует Ленский. В комедии толь-

ко мельком упоминается о том, что этот мерзавец ухитрился обманным путём получить паспорт. Начальник отделения милиции ротозей Жезлов, явившись на квартиру Лопухова, сообщает об ограблении Ленского.

«Все (приходя в движение). Как, ограбление? Когда?.. Мы ничего не знаем!.. Как это случилось?.. Какой ужас!.. Расскажите!..»

Жезлов. Граждане! Успокойтесь! Сейчас всё разъясню. У товарища Ленского были похищены личные документы, а именно: паспорт, партийный и военный билеты, трудовая книжка и сто рублей денег.

Счёткин (облегчённо вздыхает).

Аглая Ивановна. Когда же это случилось? Мы ничего не знаем.

Жезлов. Случилось это вчера. При выходе из кинотеатра, после «Тарзана».

Аглая Ивановна. Он нам ничего не говорил.

Жезлов. Товарищ Ленский тут же заявил нам об этом, и я, лично, учитывая его выдающиеся заслуги, в виде исключения, выдал ему новый паспорт, без применения штрафа. Пошёл ему навстречу. Так что с этим вопросом у него улажено».

Пустяковые положения в комедии расписываются подробнейшим образом, а сцены, в которых могли бы полностью раскрыться жулики и ротозей, оказываются, подобно этой, только «проходными».

Сделав акцент лишь на комических эпизодах сватовства Ленского, на его взаимоотношениях с семьёй Лопуховых, представив его мелким и довольно-таки безобидным жуликом, не раскрыв антиобщественного, вражеского по сути дела смысла его «похождений», С. Михалков не смог использовать разящей силы сатиры. Как этмечала партийная печать, комедия «Раки» не создаёт ощущения реальной опасности со стороны проходимцев и фальшивых людей, она не даёт запоминающегося урока бдительности.

Советская литература является мощным средством воспитания коммунистической морали, коммунистической сознательности в

советских людях. Выполняя это своё призвание, она должна не ограничиваться только критикой, а одновременно создавать образы положительных героев, во весь рост показывать новое, передовое. Без идеала, без утверждения не может быть и подлинной сатиры. Это особенно важно для советской сатиры, которая приобретает новые возможности для утверждения восторжествовавшего в самой жизни добра. Речь идёт, конечно, не о количестве положительных и отрицательных персонажей в литературном произведении, а о том, что сатира должна быть проникнута высокими идеалами, показывать действительное соотношение борющихся сил в обществе, утверждать преимущество и превосходство, неодолимую силу передового.

У нас ещё мало прозаических и драматургических произведений сатиры, посвящённых разоблачению империалистических хищников, поджигателей новой войны. Только в последнее время такие произведения начали публиковаться. Вышли в свет драматические сатиры «Шакалы» и «Ангел из Небраски», написанные Аугустом Якобсоном, который с большой сатирической остротой разоблачает американских поджигателей новой войны. Сатирическое их обличение — первейший долг советских писателей, идущих в авангарде борьбы за мир, демократию, социализм.

Советские писатели должны всегда чувствовать себя активными борцами идеологического фронта, «инженерами человеческих душ», призванными воспитывать трудящихся в духе советского патриотизма, выращивать всё новое, передовое, обличать и искоренять старое, умирающее.

Глубокая разработка проблемы типического в разных жанрах, в разных видах литературных произведений — насущная задача нашей эстетики. Необходимы специальные исследования, коллективные сборники, всесторонние разрабатывающие проблему. Такие работы сыграют большую роль в деле борьбы за высокий идейно-художественный уровень советской литературы.

**П. ВЕРШИГОРА,
А. АКИМОВА,
И. ФРЕНКЕЛЬ**

Молдавский журнал «Октябрь»

1

Почти четверть века Бессарабия стонала под игом захватчиков. С благословения Антанты и с её помощью боярская Румыния захватила богатый край, простирающийся между Днестром и Прутом. Румынские перцепторы (налоговые сборщики) и жандармы, хозяйничавшие в Молдавии, грабили трудовой народ. Подавляющее большинство молдаван, живших на территории Бессарабии, было неграмотным, небольшой процент — полуграмотным, образованные люди насчитывались буквально единицами.

С надеждой обращали свои взоры молдавские рабочие и крестьяне к Советскому Союзу. Русский язык был для молдаванина воплощением света, культуры. Именно поэтому румынский держиморда генерал Попович запретил писать и разговаривать по-русски. Но, несмотря на все приказы и угрозы, подрастающее поколение молдаван изучало русский язык, русскую литературу.

В это же время молодая советская автономная Молдавская республика быстро и уверенно шла по пути социалистического строительства.

В молдавских сёлах, где ещё недавно грамотный человек являл собой редкое исключение, и преподавания на родном языке вовсе не существовало, введено было всеобщее начальное обучение, были созданы молдавские техникумы и высшие учебные заведения.

В 1940 году обе части Молдавии воссоединились в единую советскую социалистическую республику. Рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция Заднестровья узнали радость свободного творческого труда.

Развитие молодой советской республики было прервано вторжением фашистских агрессоров.

Сразу же после изгнания гитлеровцев

молдавский народ, залечивая раны, нанесённые войной, широко развернул созидательную работу. Начали вступать в строй новые и новые промышленные предприятия, больших успехов добились молодые, быстро крепнущие колхозы. Развивается и молдавская культура, национальная по форме, социалистическая по содержанию. В отчётном докладе IV съезду Коммунистической партии Молдавии тов. Л. Брежнев говорил: «...Молдавия, в недалеком прошлом забитая, полуколониальная окраина царской России, три четверти населения которой было неграмотным, в короткий срок добилась невиданных успехов в деле развития народного образования и повышении культурного уровня народа. В республике повсеместно введено всеобщее семилетнее обучение. Сейчас почти нет такого района, где бы не было двух — трех, а то и больше средних школ».

В политическом, культурном росте молдавского народа большую роль играет печать. 168 газет и 10 журналов общим тиражом свыше полумиллиона экземпляров выходит в настоящее время в республике. Большая часть из них издаётся на молдавском языке. Растут кадры молдавских писателей.

Различными, во многом несхожими путями шли художники слова, ныне объединившие свои творческие усилия, работающие рука об руку. В свободной советской Молдавии развивался талант писателей, выросших в огне гражданской войны, на стройках первых сталинских пятилеток. Ион Канна, Леонид Корняну начали печататься ещё в двадцатых и тридцатых годах. После воссоединения Молдавии отряд молдавских писателей пополнился рядом имён. Андрей Лупан, Емелиан Буков, Богдан Истру, Ливну Деляну, Д. Ветров, до той поры работавшие в тяжких условиях боярского владычества, вошли в дружную семью молдавской советской литературы.

«Октябрь» №№ 1—6 за 1952 год. Кишинёв. Главный редактор — В. Галиц.

В военные и послевоенные годы появились новые одарённые литераторы. Среди них поэты П. Крученко, П. Дариенко, И. Балцан, Г. Менюк, В. Рошка, С. Бамдас, Ф. Пономарь, В. Руссу, П. Михня, И. Ставская; прозаики Я. Кутковецкий, А. Козмеску, В. Малева, С. Шляху, К. Кондра; драматурги Р. Портной, П. Ананко и другие.

Важную роль в творческом росте молдавских художников слова, в сплочении их вокруг задач, выдвигаемых советской современностью, призван играть литературно-художественный и общественно-политический журнал «Октомбрие» («Октябрь»), орган Союза советских писателей Молдавии. Журналу этому пошёл двадцать первый год. Издаётся он на молдавском и на русском языках; выходит раз в два месяца.

Что же напечатано в шести книжках журнала «Октябрь» за 1952 год?

2

Проза представлена в «Октябре» преимущественно произведениями русских авторов, как правило, постоянно живущих в Молдавии. Современной молдавской прозы нет ни в одном из шести номеров — не удалось перевести. Пьеса — только одна. А между тем за последние годы молдавские писатели создали ряд романов, пьес, повестей, заслуживающих внимания и, кстати сказать, напечатанных в «Октомбрие». Назовём здесь интересную повесть Л. Барского «Флорены», талантливую повесть молодой писательницы В. Малевой «Восход», пьесу Р. Портного «Наш массив», роман И. К. Чобану «Кодры». Но со всеми этими произведениями читатель «Октября» ознакомиться не может.

Одно только произведение молдавской прозы опубликовано на страницах журнала в 1952 году — это «Воспоминания детства» классика молдавской литературы Иона Крянгэ в хорошем переводе З. Шишовой.

«Воспоминаниям» предпослана небольшая по размерам, но содержательная статья одного из лучших знатоков Крянгэ — Р. Портного, — знакомящая читателя с творчеством и жизнью замечательного писателя девятнадцатого века, дающая представление о его месте в молдавской литературе. Жаль только, что Р. Портной не подчеркнул должным образом большого общекультурного значения первого перевода «Воспоминаний» на русский язык.

Между тем Ион Крянгэ — талант действительно выдающийся, к нему вполне применимо гениальное определение А. Н. Островского, сказавшего, что только тот писатель останется в веках и приобретёт славу у других народов, кто был истинно народен у себя дома.

Ион Крянгэ родился в запрутской Молдавии, в селе Хумулешть в 1837 году в семье простого крестьянина.

Историческая заслуга писателя перед молдавской литературой в том, что он первый ввёл в неё простого человека — молдавского крестьянина, — первый обратился к народному образному мышлению. Как правильно замечает Р. Портной, в «Сказках» Иона Крянгэ (его первая книга) реализма было больше, чем в большинстве новелл и рассказов, ранее написанных молдавскими писателями. Одновременно писатель внёс в литературу своей страны страстный социальный протест, глубокое знание жизни различных слоёв общества. Талант его был жизнерадостный, временами брызжущий весельем, а временами и жестоко саркастический. Можно в некотором смысле назвать Иона Крянгэ молдавским Гоголем, правда, ещё не Гоголем «Ревизора» и «Мёртвых душ», а «Миргорода».

После «Сказок» Ион Крянгэ написал и несколько рассказов из народной жизни, в лучших из них создав сатирические типы богатого боярина-самодура и «нового помещика» — либерала.

Лучшее произведение Крянгэ имеет автобиографический характер. Это написанные в 1882—1883 годах «Воспоминания детства». Стоит отметить, что румынская буржуазная критика, на словах признавая художественную ценность повести и расшаркиваясь перед талантом автора, в действительности пыталась фальсифицировать истинный смысл произведения, представить его только наивной, весёлой, безобидной безделушкой, затушевать его бичующую силу.

Но весёлость «Воспоминаний» — это, конечно, прежде всего выражение неизбывного оптимизма народа.

Книга Крянгэ написана через двадцать пять лет после того, как автор навсегда покинул родное Хумулешть. Это село, как и другие сёла запрутской Молдавии, чудовищно обнищало вследствие первых «благодетней» капитализма, и потому-то детство писателя сквозь призму времени казалось ему радостным и невинным (Крянгэ).

Отсюда и некоторая идеализация и кое-где излишняя радужность красок.

И. Крянгэ идеализировал патриархальность и даже верил в появление «добрého» господаря, отражая настроения крестьянства середины прошлого века. Но вместе с тем в повести немало картин, написанных с подлинно реалистической прямоотой и суровостью, правдиво изображающих школу с её варварскими методами обучения, церковь с её попами-мракобесами, ужасы рекрутчины.

Сила этой книги в ярко выраженной национальной форме, в жизнеутверждающем юморе, в пронизывающей её любви к русскому народу, в реалистическом изображении жизни молдавского народа.

Как не учиться молдавским прозаикам у автора «Воспоминаний» искусству наполнять мир, в котором живут герои, цветами, звуками и запахами, искусству делать движения видимыми, речи — слышимыми, вещи — объёмными?! Точно и зримо воплощена в «Воспоминаниях» материальность деревенского обихода.

Вот почему так обоснованно звучит замечание, завершающее статью Портного: «Произведения Крянгэ изучаются сейчас в школах и вузах нашей республики, на них учатся писатели Молдавии народности и художественному мастерству».

И действительно, в наиболее сильных сценах нового романа Иона Канны «Утро на Днестре» ясно ощущается плодотворное творческое освоение наследия Иона Крянгэ. Эта органическая связь одного из наиболее значительных произведений современной молдавской литературы с классической традицией ещё не получила творческого осмысления и должной оценки на страницах журнала.

«Утро на Днестре» (печатавшееся, к сожалению, лишь в отрывках в «Октябре» за 1951 год) — крупное достижение молдавской советской прозы. В рецензии Б. Крюкова справедливо отмечается следование Канны горьковским традициям. Но Иона Крянгэ критик упоминает только в скобках, мимоходом.

Наследие передовой литературы прошлого ещё не изучено молдавской критикой. Б. Крюков не использовал для постановки этого важного вопроса реальный повод — разбор романа Иона Канны.

Далее Крюков упрекает И. Канны в том, что он упростил финал своего интересного, содержательного романа, доведя повествование только до февральских событий

1917 года и обеднив образ русского ссыльного, большевика Сабурова, сыгравшего большую роль в судьбе главного героя произведения. Критика должна помочь писателю в последующих частях романа изжить недостатки и развить сильные стороны его творчества — поддержать стремление художника к созданию большой эпопеи народной жизни. И. Канны недостаточно полно нарисовал развитие революционной борьбы, не нашёл красноречивых и ярких фактов, её отражающих.

Прошлому Молдавии посвящены также повесть безвременно скончавшегося недавно Д. Ветрова и главы из романа В. Карпатова «У озера Кундук».

Повесть «Друзья отправляются в путь» написана Д. Ветровым по-русски, но принадлежит и молдавской литературе, как наравне с русской принадлежит эстонской — «Свет в Коорди» Ганса Леберехта, абхазской литературе — «Весна в Сакене» Георгия Гула, адыгейской — «Аул Псыбэ» Аскера Евтыха. Ветров одним из первых в молдавской литературе взялся за разработку исторического опыта народа. Совсем недавно происходили события, описанные в повести; сохранились, вероятно, те акции, которые цветут на первых её страницах, уцелел, может быть, хотя и переменил хозяина дом Гримальского, на ступенях которого примерно в 1936 году сидели кишинёвские дети — герои книги...

Сын безработного Петрика, дети почтальона Георгиеш и Флорика, сын политического заключённого Илиеш проходят в повести школу классово-ненависти и революционной борьбы. В жизнь детей входят не только столкновения с гимназистами, но и сигуранца, и тюрьма, фашистская диктатура, борьба испанского народа против палача Франко, радиопередачи из Москвы.

Решающим в отношениях взрослых героев, близких этим ребятам, является пролетарская солидарность. Студент Леонте, коммунист, товарищ по подполью отца Илиеша, передаёт мальчику деньги из постоянного фонда помощи политзаключённым. Врач-коммунист бесплатно лечит мать Илиеша. Фармацевт Кристия изготавливает для больной лекарства. Сестра Лиза устраивает её в больницу. Когда перцептор (сборщик налогов) увозит всю мебель из комнаты Бужоров, Петрика приносит из своей комнаты, тоже опустошённой перцептором, единственную табуретку Знаменитый футболист Зубчик, работающий в маленькой мастер-

ской у придирчивого хозяина, дарит ребятам настоящий футбольный мяч.

Хорошо, что автор не лишает своих героев детского увлечения футболом и цирком, детской дружбы, детских ссор и примирений.

Но, полно и наглядно рисуя жизнь ребят, Д. Ветров не находит достоверных, убедительных красок для изображения революционной борьбы, которая по самому замыслу произведения должна занять в повести решающее, определяющее место.

Не убедительно написаны образы революционеров, которые так плохо конспирируют, что на рецепте, могущем попасть и в руки другого фармацевта, пишут: «Болезная Бужор — жена нашего Михаила». Вряд ли при аресте Леонте агенты сигуранцы не взяли бы лежавшие прямо на полочке наушники радио и записную книжку. Да и не положил бы он их так небрежно. И не стал бы вести такую записную книжку.

Тот же грех, что и у Канна! Значит, это не частная ошибка одного писателя, а недостаток более общего порядка, требующий преодоления. Нужно ли говорить, что точное, правдивое изображение революционной борьбы молдавского народа — важнейшая задача молдавских советских писателей?

Ещё один грех есть у автора повести — это чувствительность, даже сентиментальность, столь характерная для старых «трогательных» повестей о бедных детях и сиротках. (Д. Ветров, кстати говоря, адресовал свою книгу главным образом детям, хотя написал её так, что она интересна и взрослым.) Надо сказать, что и у Канна есть налёт чувствительности, резко противоречащей общему направлению его книги — реалистическому и народному.

Именно из слезливых повестей переключившись в повесть «Друзья отправляются в путь» и нарядная дама, не позволившая своей дочке приближаться к Илиешу, и сытые господа, наполняющие приёмную жестокосердого врача, противопоставленные бедной матери Илиеша.

Правдивых и реалистических красок ждешь в таких сценах от писателя — сына кишинёвского рабочего, всю жизнь прожившего в Бессарабии и, наверное, располагавшего множеством ещё никем не описанных подробностей жизни местных рабочих и крестьян, помещиков и чиновников, подробностей, несравненно более выразительных, чем стёртые литературные аксессуары. И таланта у него на это бы достало. Не

было только настоящего редактора, редактора-критика, редактора — взыскательного друга.

Лишь намечена, но не получила достойного воплощения в повести тема величайшего значения, тема даждёй Москвы, могучей, свободной Советской страны — надежды трудящихся всего мира.

Приблизительность, беглость раскрытия важнейших сторон действительности — опять-таки отнюдь не индивидуальная ошибка писателя, а, очевидно, выражение одного из недостатков молодой молдавской литературы.

Тем радостнее отметить точное знание фактов революционной борьбы в главах из романа В. Карпатова «У озера Кундук», самая тема которого заслуживает всяческого уважения. Роман рассказывает об одном из крупнейших революционных выступлений молдавского народа — Татар-Бунарском крестьянском восстании 1924 года. Правда, отдельные эпизоды этого произведения написаны сухо, информационно. Торопливыми, иногда просто конспективными выглядят первые страницы, вводящие читателя в обстановку, и они, разумеется, проигрывают рядом с главами, где есть живое действие, борьба, столкновение... Выразительна, например, сцена допроса Мисика — крестьянина, прикидывающегося дурачком и ловко проводящего судей, — или рассказ о том, как Анри Барбюса безуспешно пытались не пропустить на суд над повстанцами.

Однако далеко не все исторические факты получили в опубликованных главах живое, образное раскрытие. Нередко оно оказывается вытесненным «беллетристическим» трафаретом и штампом. Сухость и конспективность порою соединяются с явной безвкусицей: «С самого раннего утра на улицах царило оживление. Празднично разодетые толпы заполнили улицы. Улыбки, весёлый говор, шутки, смех. Откуда эта необычайная приподнятость, нетерпение? Огненные взоры юношей и девушек, полные ожидания...»

И всё же Карпатов, пусть ещё не везде уверенно, но распаивает целину, идёт своей дорогой, а не по чужому литературному следу; он осваивает новый для литературы, ценный жизненный материал, достигая в ряде мест настоящей выразительности повествования.

А встречаются в обозреваемых номерах журнала и бессодержательные, незначительные произведения. Авторы их пошли по изхоженному литературным тропам.

В номере четвёртом напечатаны «Короткие рассказы» Н. Қиселёва — «На пристани» и «Кузнец». Это действительно очень короткие зарисовки, и краткость их переходит в беглость. В одной из них читатель узнаёт о благородном поступке старика, вернувшего кассиру ошибочно переданную ему четвертную. Затем старик удаляется, провожаемый «светлыми одобрительными улыбками пассажиров». В другом рассказе автор восторгается тем, что деревенский кузнец изучает технику.

Сами по себе эти факты заслуживают всяческого одобрения, однако они не явились основой для широких выводов и обобщений.

Неудачна и повесть Е. Қопылова «Грозы проходят». Можно было бы поставить в качестве эпиграфа к ней слова, взятые из самого произведения: «Ничего интересного эта обстановка не представляла. Бормашина, кресло, аптечка... Обыкновенный зубо-врачебный кабинет, только тем и отличающийся от других, что его оборудовали в вагоне».

Нет нужды доказывать, что предметом искусства может быть всякая обстановка — и кабинет командующего фронтом и приёмная зубного врача, — что героями могут быть люди любых званий и профессий. Но в каждой обстановке, в любых обстоятельствах автор обязан найти типическое, существенное. А в повести Е. Қопылова нет ни жизненного, значительного конфликта, ни живых, содержательных характеров. Время действия — первый послевоенный июнь. На железной дороге, в районе вымышленного русского города с довольно туманными географическими координатами, работает зубо-врачебная передвижка. Начальник её Шатов хочет перевести кабинет на положение стационара. Стоматолог Вера Лозован — молдаванка. Когда отправляют шпалы — подарок местных железнодорожников разорённой Молдавии, — она решает вернуться на родину. Но это решение случайно и лишено какого бы то ни было внутреннего значения. Ничего, по сути дела, в повести не происходит, и читатель равнодушно скользит взглядом по страницам, лишённым действия, напряжения.

Невысокой оценки заслуживают и работы некоторых других прозаиков «Октября». И думается, происходит это потому, что у большей части авторов нет своей позиции, своей темы, почерка. Ни детективный рассказ С. Пасько «Загадочный случай», написанный в подражательной «западной» мане-

ре, ни его рассказ «На полосе», «прикреплённый» к Молдавии лишь кое-какими вконец «приметами», ни маленькая новелла Е. Антоненко «Песня» о том, как по песне, пропетой по радио, человек нашёл девушку, которую он полюбил во время войны, не имеют подлинно художественного значения.

В итоге жизнь советской Молдавии не занимает в прозе журнала должного места. Д. Ветров и В. Карпатов пишут о прошлом, а Е. Қопылов, С. Пасько, Н. Қиселёв, Е. Антоненко вовсе не пишут о Молдавии.

Изображению современной Молдавии в прозе посвящён роман Е. Букова «Растут этажи», напечатанный пока только на молдавском языке в журнале «Октомврие» за 1951 год, а затем вышедший отдельным изданием.

Первое прозаическое произведение известного молдавского поэта обращает на себя внимание прежде всего попыткой расширить круг тем молдавской литературы, преимущественно изображающей жизнь крестьян.

Действие романа развивается в городе Кишинёве, столице Молдавии. Проблемы строительства, воспитание нового человека, роль интеллигенции — всё это открывает новые горизонты для молдавской прозы.

Однако роман Е. Букова опубликован преждевременно, в сыром, недоработанном виде. Автору, успешно работающему на поприще поэзии, проза пока не удалась. Редколлегия журнала должна была помочь ему, и не только критикой, но и тщательным редактированием. Таковую критику и помощь автор получил с опозданием и сейчас упорно работает над новой редакцией своего романа.

3

Не привлекает журнал для освещения жизни своей республики и всей Советской страны и самый оперативный, самый боевой жанр — очерк.

В 1952 году очерки занимали на редкость мало места; лишь в пятой книжке впервые появился самостоятельный отдел «Очерки». Здесь напечатаны очерк В. Поздова «На Волго-Доне» и очерки П. Идова и Г. Кондратьева, посвящённые молдавской действительности.

К сожалению, очерк В. Поздова литературно беспомощен и бессодержателен. Вместо того чтобы полно и ярко показать грандиозные сооружения Волго-Дона, увлекательно рассказать об их создателях, автор

ограничивается самыми общими и расплывчатыми восторгами, перечислением должностных лиц, присутствовавших на открытии канала, беглыми комплиментами молдавской бригаде, текстами рапортов и приветствий.

Три странички занимает очерк Петра Идова «Радость в Мындыке». Здесь тоже больше всего общих рассуждений, беглых воспоминаний и уже совсем отрывочных замечаний о сынах молдавского народа, сражавшихся в рядах Советской Армии и отрядах партизан в годы Великой Отечественной войны. Одну страницу из трёх занимает «экспозиция»: характеристика героя очерка — инструктора райкома партии Курараря, в далёком прошлом тырновского батрака, а в недавнем прошлом заместителя председателя колхоза в Мындыке. Затем следуют краткие сведения о колхозе в Мындыке, организованном в 1949 году, а в 1950 — объединившемся с другой артелью. Из колхозников автор представляет читателю лишь старую батрачку Анисью Павловну. Остальные герои только названы.

Очерк не имеет ни организующей внутренней темы, ни композиции, в нём нет событий, нет людей.

П. Идов не одинок. Сколько, казалось, интересного, ещё никем не описанного можно было бы найти, например, в маленьком городке Сороках, где советская власть создала девять специальных учебных заведений! Но автор очерка «В маленьком городе» Г. Кондратьев не пошёл далее статистических данных и маловыразительных «портретных» зарисовок, которые не могут восполнить отсутствия живых, содержательных картин жизни городка.

Произведений, отражающих и обобщающих большие перемены, происходящие в Молдавии, как и во всём Советском Союзе, не хватает важнейшему разделу журнала, разделу очерков.

Более благоприятное впечатление производит напечатанный в шестой книжке очерк поэта П. Крученюка «На берегу Днестра». Удачны лирические отступления, посвящённые прошлому Каховки, опыту гражданской и Великой Отечественной войны.

Живо и содержательно написан портрет одного из многих передовых людей Каховки, комсомолки маляра Раи Кыровой. Однако автор не даёт ясной и целостной картины строительства.

Очеркисты Молдавии ещё не выполнили основной творческой, патриотической зада-

чи, не рассказали о тех великих и радостных переменах, какие произошли в жизни молдавского народа.

4

В своих поэмах и стихах поэты «Октября» обращаются к важнейшим вопросам нашей современности. Но далеко не всегда они делают это с должной серьёзностью и глубиной. Не всегда находят верные и впечатляющие краски.

Георге Менюк в своей поэме «Статуя «свободы» стремился изобразить американскую лжедемократию. В сюжете её, по авторскому замыслу, должна была раскрыться горькая судьба рядового труженика — раба американского империализма Мартина Ван-Вердивана. Однако образ, нарисованный поэтом, лишён силы, мужества, благородства. Автор лишь покровительственно сострадает, сочувствует герою. Оставляют нас равнодушными вялые сетования автора, обращённые к Ван-Вердивану:

Неужто только для того
Тебя отец растил,
Чтоб кто-то силу рук твоих
В свой бизнес превратил.

Самая важная черта, определяющая облик простых тружеников мира, — воля к борьбе — осталась нераскрытой, и это обусловило слабость поэмы.

Благородные намерения были, вне всякого сомнения, и у П. Дариенко — автора поэмы «Мир победит». Он задался целью отобразить дружбу молдавского и русского народов, обратился к теме большой исторической важности. Молдаванин Фрунзе Тодер пишет письма русской девушке, жившей прежде в Молдавии. Поэт стремился в эпистолярной форме развернуть поэтический разговор, который бы затронул широкий круг вопросов. Но, к сожалению, Дариенко потопил интересные мысли и живые наблюдения в трескучих и шаблонных рифмованных декларациях. Великая тема дружбы народов не получила убедительного воплощения в поэме.

Эта тема, дорогая сердцу советских поэтов, с подлинной страстью и пафосом выражена в стихотворении Ем. Букова «Комсомольская-кольцевая». Самые яркие строки посвящены Москве, куда лирический герой стихотворения

Дорогой сердца вновь приехал
...как домой к себе — в столицу.

В подземных дворцах герой сталкивается с взрослыми и детьми, солдатами, рабочими, колхозниками. Он приметил там и враждебное:

Пальто заморского покроя -
И взгляд, как грязной пены клок...

Но праздничный поток советских людей, строителей коммунизма, гордо и спокойно движется среди сияния мозаичных стен метро, хотя наш народ не забывает, что

Есть взгляд один косо́й и злой
На тысячу прямых и светлых.

Это хорошее стихотворение прозвучало бы ещё сильнее, если бы Буков освободил его от риторически отвлечённых строк — столь распространённого греха молдавской поэзии.

Содержательное, горячее стихотворение И. Балцана «На молдавской земле их поймали» предваряется газетным сообщением о поимке американских диверсантов, сброшенных в августе 1951 года на парашютах в районе МССР. Поэт нашёл убедительные и точные слова для выражения глубокого презрения и ненависти к наёмникам доллара. Однако перевод (А. Ренина) заставляет желать лучшего: обилие женских рифм, дактилические окончания расслабляют ритм стиха.

В № 6 опубликована интересная и яркая поэма китайского поэта Лян Ай-кэ «На корейском фронте», повествующая о благородном подвиге китайских добровольцев в Корее. Рядовые коммунисты-бойцы, находящиеся в секрете, противостоят численно превосходящим силам американских захватчиков. Секрет бомбят с воздуха, накрывают артиллерийским огнём, но оставшиеся в живых герои отбивают атаку за атакой:

...Пусть один останется в живых,
Высоту он удержать сумеет.

Говоря о качестве перевода, нельзя пройти мимо работы К. Семеновского, чрезвычайно неровной, часто небрежной до безответственности. Сделав сравнительно удачный перевод поэмы Лян Ай-кэ, Семеновский в той же шестой книжке испортил стихотворение Ф. Пономаря «Октябриня». В его переводе попадают просто пародийные строчки:

А годы мчатся. Трудно мне поверить,
Что тридцать пять — уже твои годки (?).
Давно ли в школу открывала двери,
Стояла молча с мелом у доски,
С геранью розовой в косичке длинной,
Сложив 5 и 4, Октябриня!

Ты с цифрами такими свыклась смело (?),
Пятёрки в школе нравились (?) всегда...

Работа поэтов-переводчиков с молдавского языка вообще часто оказывается в «Октябре» неудовлетворительной как в смысле точности, так и в особенности по силе поэтического выражения. Наиболее удачны переводы В. Кочеткова, В. Державина, В. Тушиновой.

В журнале напечатано много стихов и русских поэтов, живущих в Молдавии. Большинство из них, к сожалению, лишь внешне связано с современностью. Живые черты действительности в большинстве стихотворений оказываются подменёнными условными, внешними приметами. Даже пейзаж в таких стихах бескрасочен и неконкретен:

У причала укачала
Катерок волна.
За причалом закричала
Чайка *после* сна (?).
К баржам, лодкам и лебёдкам,
Как янтарь горя,
Вниз по *сопкам* (?) и высоткам
Двигается заря.

Волны быстрые купают
Солнца сноп лучей (?),
Над волнами громяхают
Цепи якорей.

Из стихотворения выясняется, что «уплывает по течению в рейс днестровский флот». Никаких иных примет реальной жизни республики автор стихотворения С. Бурлака не считает нужным сообщать.

В другом стихотворении С. Бурлака рисуется клён, с которым и ведёт «лирический разговор» о влюблённой парочке, уезжающей на великие стройки («Едешь ты на Волгу, я на тихий Дон...»). Молдавия влюблённым будет помниться лишь как «фон», на котором происходили их свидания:

Знаю, мне приснится
Ночью вдалеке:
Днестр и звонкий (?) вечер,
Песня и баян,
Худенькие плечи,
Тополиный стан.

В стихотворениях «Наша стройка», «Осень над Днестром» и «Не сиделось, не лежалось» (№ 6) Бурлака опять-таки куда не ушёл от общих, лишённых эмоциональности и выразительности фраз «по поводу» тракторов, обозов и гудков.

Леонид Кузьмин пошёл по другой, ещё более «лёгкой» дороге, просто-напросто переделав (и при этом испортив) известное стихотворение С. Шипачёва. Приведём целиком его двенадцатистрочное стихотворение:

БЕРЕЗКА

Ветер взвился бурею (?) :
С поля — к перелеску...
Бросил пылью бурю
В белую берёзку.

Хвать за кудри-прутики (?) —
И к земле сгибает (?),
И трясёт и крутит их,
А она — прямая.

А она, как страж, стоит
У лесной полоски.
Видно по характеру:
Русская берёзка.

Хорошее стихотворение опубликовано поэтом Ю. Мельниковым. Оно носит название «Свет в степи» и рисует будни колхозной жизни:

Вечер мглу над степью распротёр,
Но включил электросвет монтёр.
И у нас на стане полевом
Стало вдруг светлым-светло, как днём.
И подсолнухи полужокольцом
Повернулись к лампочкам лицом,
Словно к жарким солнечным лучам,
Потянулись к свету Ильича.

В немногочисленном активе авторов «Октября», естественно, ведущее место занимают опытные молдавские поэты — А. Лупан, Ем. Буков, Б. Истру, быстро выдвинувшийся П. Крученюк. К сожалению, талантливые Б. Истру и А. Лупан не порадовали в истекшем году своими новыми крупными вещами (в «Октябре» напечатаны стихи обоих, но перевод их в «Октябре» не появился).

Петря Крученюк, опубликовавший в этом году несколько произведений, предстал перед читателем отнюдь не в лучшей поэтической «форме». В особенности это относится к маленькой поэме «Митруня Леуштяну» (№ 2).

Действие происходит в колхозной деревне. Молдавские пионеры помогают своим родителям убрать урожай без потерь. Шестилетний Никушор нашёл в поле обронённый дедом Тодором кисет. Мальчик, подражая взрослым, «закуривает». В поле начинается пожар. Первым бросается на «битву» с

огнём Митруня Леуштяну. Герою всего десять лет, но он отважен и силен. Митруня спасает ребёнка и подымает на борьбу с пожаром весь колхоз. Спешат к месту пожара тракторы. Плуг проводит глубокую борозду, отделив пылающий клин от основного пшеничного массива. Обожжённого мальчугана увозят в больницу.

Таков сюжетный остов поэмы, слабый и бедный содержанием. И с ним, по сути дела, вовсе не связаны авторские отступления, в которых поэт пространно толкует о преимуществе советской сельскохозяйственной техники перед серпами и косами старой Бессарабии, видимо, не придавая значения тому неоспоримому факту, что молдавские колхозники и не думают возвращаться к дедовским способам хозяйствования. Неубедительно звучат рассуждения о вещах, давным-давно известных:

Хорошо косить машиной!

Впрямь — с косой нерасторопной
Сравнивать комбайн обидно...

Да, считалась каменистой
Эта нива... Дело в том,—
Что помог её расчистить
Наш товарищ агроном...

Перевод опытного, квалифицированного переводчика В. Бугаевского на этот раз небрежен, страдает серьёзными неточностями.

Хорошую инициативу проявила редакция, напечатав в номере пятом журнала несколько стихотворений для детей В. Руссу, очевидно, желая привлечь молдавских писателей к работе в столь важном жанре. Но «первый блин — комом». Вероятно, в том немало виновен Д. Леонидов, чей русский перевод неуклюж и неточен:

Сказал с улыбкой папа

раз:

— Причина мне известна, детка,
Там коллектив, там однолетки —
В саду у вас...

(«В детском саду»)

Юмор и сатира представлены баснями Г. Перова, уже не первый год работающего в этом жанре и старающегося идти своим путём, не подражая, например, Сергею Михалкову. Жаль только, что Г. Перов совершенно обходит богатый материал молдавского народного творчества, где так силен юмористический элемент.

Хуже обстоит дело у В. Матвеева, опубликовавшего басню «Дерево и Дятел» (№ 2). Словарь здесь псевдокрыловский, а стих не музыкален:

В коре ведь насекомых мало.
Завидую я вот (?) Сосне
И Ели:
Не трогал их никто доселе,
И мыслью (?), потому (?)
Они весь год одеты в зелень.

.
Дотоль и делу лишь (?) чести,
Дотоль оно не загнивает,
Все недостатки в нём покуда устраняет
Наш скромный труд,
что должен быть в чести.

Надо раздел этот закрепить, расширить тематику, сделать его острым орудием разоблачения всего чуждого, отжившего, враждебного.

Неутешителен общий итог по отделу поэзии, ей явно не повезло в журнале «Октябрь» в 1952 году.

Старые и молодые поэты республики должны решительно стать на путь совершенствования мастерства и глубокого изучения жизни. Именно незнание действительности и побуждает их обращаться к схемам и шаблонам.

5

Схема и шаблон характерны и для напечатанного в шестом номере журнала произведения, написанного и прозой и стихами. Речь идёт о музыкальной комедии Л. Корняну и Е. Геркена «Марийкино счастье».

Не знаем, как дело обстоит с музыкой — ноты не приложены к тексту, — но по своим драматургическим и поэтическим качествам вещь эта слабая.

Сюжет комедии построен на коллизиях традиционно-условного порядка, которые так же условно «развязываются» с быстротой и лёгкостью, в жизни редко встречающимися.

Узкое, одностороннее понимание производственной темы, порой дающее себя знать в произведениях различных жанров, здесь носит поистине пародийный характер. Вот одна из героинь, прежде чем признаться в любви, воспекает... счётное дело:

С тех пор, как я почти два года
Была на курсах счетоводов,
Я целый день считать готова,
А ошибусь, считаю снова.

За сложным отчётом
Всю ночь бы сидела,
Без счетовода нету дела.

Но и признание не лучше:

В завмага влюблена немножко.
Все знают в колхозе,
Жених он из первых,
Но можно ли так играть на нервах?

Трудно сказать, кто «задаёт тон» в этих куплетах — авторы или переводчик. Кстати сказать, фамилия его не указана.

6

Публицистический отдел в журнале «Октомврие» невелик по объёму: в каждом номере печатается не более трёх научно-популярных, литературоведческих, исторических статей и одна — две рецензии. Невелико это количество, хотя, как правило, материалы подбираются удачно. Ценность их определяется и новизною тем и новой постановкой вопросов. Хорошо, что этот отдел последовательно (хотя и здесь есть досадные исключения) дублируется на обоих языках — в «Октябре» и «Октомврие».

В первом номере журнала за 1952 год напечатана статья кандидата филологических наук Н. Г. Корлэтяну «К вопросу изучения основного словарного фонда молдавского языка».

Товарищ Сталин в своём гениальном труде «Марксизм и вопросы языкознания» указывал: «Сотни лет турецкие ассимиляторы старались искалечить, разрушить и уничтожить языки балканских народов. За этот период словарный состав балканских языков претерпел серьёзные изменения, было воспринято немало турецких слов и выражений, были и «схождения» и «расхождения», однако балканские языки выстояли и выжили. Почему? Потому, что грамматический строй и основной словарный фонд этих языков в основном сохранились»¹.

Руководствуясь указаниями товарища Сталина, автор, привлекая многие конкретные факты, вскрыл связь молдавского языка с исторической жизнью народа, показал, что сопротивление молдавского народа турецким поработителям с большой силой сказалось в области языка.

К сожалению, отдел науки и публицисти-

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 26. Госполитиздат, 1950.

ки в первом номере представлен только этой одной статьёй. В отделе критики и библиографии напечатаны две статьи на одну и ту же тему: о первом томе «Истории Молдавии». Статья И. Дыкова представляет собой краткий пересказ глав «Истории Молдавии» и носит чисто информационный характер. В статье П. Ипатенко даётся положительный в общем отзыв на эту же книгу, сопровождаемый рядом частных замечаний. Анализа, критического разбора нет и здесь. Выход первой марксистской книги по истории молдавского народа заслуживает, как нам кажется, более серьёзного обсуждения, с привлечением и специалистов-историков и самых широких кругов партийного и советского актива.

Во втором номере журнала отдел публицистики дал две литературоведческие статьи: «Мёртвые души» Гоголя и идейная борьба 40-х годов прошлого века» кандидата филологических наук П. Мезенцева и «Великое содружество» И. Инжеватова. Заглавие первой работы довольно точно определяет её содержание. Статья написана со знанием дела и напечатана своевременно — в юбилейные дни. Вторая — рассказывает о дружбе В. И. Ленина с А. М. Горьким.

В этом же номере отдел науки знакомит читателей журнала со статьями кандидатов наук: Р. Пиотровского «О влиянии русского языка на молдавский язык» (к этой статье примыкает напечатанная в № 6 работа Б. Надэля и Р. Пиотровского «К вопросу о народнолатинской основе молдавского языка») и Ф. Грекула «Борьба молдавского народа за свою свободу и независимость против турецкой агрессии в XV веке». Статьи написаны хорошо. В них много интересных, малоизвестных фактов, ознакомление с которыми принесёт пользу читателям журнала. Но даже содержательные эти статьи внушают некоторое беспокойство. Учёные Молдавии, активно сотрудничая с писателями, публикуя свои труды на страницах «Октября», упускают, на наш взгляд, одну особенность таких публикаций. Выступая в журнале для массового читателя, учёный обязан думать не только о содержании, но и о форме своего труда. Она должна быть чёткой, ясной, логичной, свободной от всяких узкопрофессиональных терминов, выражений, оборотов речи. Мы призываем учёных, конечно, не к примитивности, а к простоте и ясности письма.

Публицистика в третьем номере «Октября» представлена юбилейной статьёй о Леонардо да Винчи А. Васильева и А. Отелина

и работой В. Сенкевича и Н. Роймана «Американские и англо-французские империалисты — организаторы антисоветской интервенции в Бессарабии в конце 1917 и начале 1918 г.».

Эта последняя напечатанная в отделе статья является единственной, вскрывающей роль международного империализма в порабощении Молдавии. А ведь народ Молдавии (Заднеэтровской) хорошо помнит издевательства и румынских бояр и их хозяев — американско-англо-французских капиталистов, терзавших страну с 1918 по 1940 год. Собрать красноречивые факты, восстановить их в памяти народа, показать связь этих событий недавнего прошлого с нынешней агрессивной политикой Уоллстрита — не важнейший ли это, истинно патриотический долг журнала! Мало напомнить только об открытой интервенции и вооружённом насилии. Почему не привлечь к подобной работе экономистов, которые показали бы с цифрами в руках, что стоила молдавскому народу румынская оккупация, не привлечь работников культуры, которые вскрыли бы роль буржуазии, как душителя просвещения, — литературоведов, историков и т. д.? К сожалению, журнал до сих пор уклоняется от столь ответственной и важной задачи, не расширяет свой авторский актив, не работает настойчиво над выращиванием новых кадров отдела науки и публицистики.

В четвёртом номере журнала напечатана статья Л. Барского «За глубокую жизненную правду (Вопросы молдавской драматургии)». Автор говорит о том, что до 1946 года советской молдавской драматургии не существовало. Перелом наметился после опубликования исторических постановлений ЦК партии по идеологическим вопросам. За последнее время молдавскими драматургами написан ряд пьес. Среди них немало слабых произведений, но имеются и отдельные удачи. Молдавский театр, ежегодно ставящий новые произведения молдавской драматургии, ещё испытывает репертуарный голод. Но зачем же автор статьи, видимо, выражающий точку зрения редколлегии журнала, требует постановки всех пьес, написанных драматургами республики? Ведь молдавская драматургия находится на первой стадии учёбы. Не следует слабости и ошибки ещё неопытной драматургии тащить на сцену.

Хотелось бы, чтобы вслед за хорошей, дающей в целом правильный обзор драматургии статьёй Л. Барского появились

на страницах журнала не только обзоры, но и разборы отдельных драматургических произведений, спектаклей, чтобы, иными словами, редакция усилила своё внимание к театральной критике.

В последнем — шестом — номере журнала редакция и стала на этот путь, напечатав статью того же автора о пьесе Р. Портного «Песня о Лэпушнице». Эта критическая статья правильно оценивает и спектакль. Обстоятельные разборы наиболее значительных явлений молдавского и всего советского искусства должны занять своё место на страницах журнала.

Опубликованная в четвёртом номере работа В. Коробана «Алеку Руссо — литературный критик и публицист» заслуживает несомненного одобрения. Статья полно раскрывает облик и творчество современника Пушкина, Гоголя, Байрона, Лермонтова, соратника классиков молдавской литературы К. Негруцци, К. Стамати, А. Донича и других. Выдержки из неизвестных русскому читателю произведений Алеку Руссо и сопровождающие их авторские комментарии рисуют образ выдающегося мыслителя, публициста-демократа, передового деятеля молдавской культуры первой половины XIX века.

Здесь же напечатана работа кандидата исторических наук И. Дыкова, рассказывающая о борьбе за установление советской власти на румынском фронте и в Молдавии в 1917 и в начале 1918 года. Статья в общем правильно ориентирует читателя, интересующегося недавним прошлым молдавского народа.

В пятом номере журнала опубликована интересная статья А. Отелина «Константин Вырнав — первый учёный-медик Молдавии».

Основной недостаток отдела науки и публицистики — слабая связь с современностью. Мы не хотели бы, чтобы нас поняли однобоко, неверно. Статьи о прошлом Молдавии, о её крупных деятелях, о славных и трагических страницах истории молдавского народа надо не только не сокращать, но и печатать их в большем количестве и объёме. Надо продолжать, развивать только начатое в Молдавии изучение прошлого, освещая его светом марксистской исторической науки. Но с уважением и гордостью оглядываясь назад, надо смотреть и вперёд! Именно этого не хватает как научно-публицистическому, так и художественному разделам журнала. Молдавским писателям необходимо глубоко и всесторонне изучать жизнь.

Делают ли они это в полную силу своих способностей и возможностей?

В своём докладе на IV съезде КП(б) Молдавии 19 сентября 1952 года тов. Л. Брежнев указывал:

«...Отставание молдавской литературы и искусства, низкий идейный и художественный уровень многих произведений объясняется тем, что многие творческие работники Молдавии не изучают жизнь народа, далеки от повседневной трудовой деятельности рабочих, колхозников, интеллигенции, недостаточно вооружены знанием марксистско-ленинской теории. Среди писателей и работников искусств не развита большевистская критика и самокритика».

Эти указания объясняют нам причины слабостей и промахов молдавской литературы, а следовательно, и изъянов, ошибок в работе журнала. Общественность республики с полным на то основанием предъявляет журналу серьёзный счёт. Он должен быть оплачен!

Гениальные работы товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», «Экономические проблемы социализма в СССР», речь вождя на XIX съезде КПСС, отчётный доклад товарища Маленкова, решения XIX съезда партии содержат поистине неисчерпаемую сокровищницу марксистско-ленинских идей, вооружающих народы всего мира в борьбе за коммунизм. В распространении, популяризации сталинских идей, решений партийного съезда велика и ответственна роль работников идеологического фронта. Важное место здесь занимает работа нашей печати и в особенности отделов публицистики, критики и библиографии Редколлегии «Октября» необходимо решительно улучшить эти отделы, приблизить их к насущным задачам современности.

7

Закрывая последний из вышедших в 1952 году номеров журнала, на титуле которого написано «Орган Союза советских писателей Молдавской ССР» и указано место издания — Кишинёв, — читатель, естественно, проверяет, что же он узнал о Молдавии, помогли ли ему опубликованные в журнале стихи и поэмы, повести, рассказы, романы лучше представить себе жизнь молодой советской республики, раскрылись ли в них и общие черты советской литературы и национальное своеобразие молдавской культуры? Великие завоевания социализма, давно уже вошедшие в повседневный обиход нашей страны,

для правобережных молдаван, вчерашних бессарабцев,— ещё непривычно радостная новь! А между тем молдавская тема занимает в журнале Союза советских писателей Молдавии небольшое место. Нетрудно перечислить художественные произведения из молдавской жизни, опубликованные в пяти номерах: поэма «Митря Леуштяну» П. Крученюка, два стихотворения поэта П. Заднепровы «Пять парней» — о сельских ребятах, посланных колхозом на курсы трактористов, и «Волшебная долина» — переосмысление старой легенды, известные нам главы из романа В. Карпатова, повесть Д. Ветрова. Назовём в этой связи ещё классические «Воспоминания» Крянгэ и очерки П. Идова и Г. Кондратьева.

Чаще встречались в этом году в «Октябре» произведения, в которых темы, отражающие жизнь республики, соприкасаются и связываются с событиями общего значения. Само по себе это заслуживает одобрения. Но в одних случаях, как в стихотворениях Е. Букова «Комсомольская кольцевая» и И. Балцана «На молдавской земле их поймали», в пьесе П. Ананко, эта связь глубока и органична, в других же случаях имеет внешний, поверхностный характер.

В журнале «Октябрь» за 1952 год не только бедно отражена молдавская действительность, но и сегодняшняя молдавская литература представлена недостаточно.

С большим опозданием журнал откликнулся на давно вышедшие в Москве книги Л. Кабо «За Днестром» и Н. Громыко «Дойна о Мариоре» рецензиями Б. Трубецкого и К. Сушкова. Отделу критики не хватает и глубины анализа, и теоретической вооружённости, и широты охвата, и оперативности.

Журнал выходит на двух языках. Это даёт возможность более широкому кругу читателей ознакомиться с произведениями

молдавских литераторов, местным русским читателям помогает освоить литературный язык народа, с которым они живут и работают, молдаванам же, в свою очередь, облегчает изучение русского языка.

Кроме того при хорошей постановке дела журнал «Октомврие» — «Октябрь» — может явиться своеобразной школой переводчиков, в которых остро нуждается молодая республика.

Но, к сожалению, все эти задачи слабо выполняются журналом. Далекое не всегда осуществляется перевод лучших произведений с молдавского на русский язык и с русского на молдавский, что было особенно характерно для работы журналов в 1952 году. Нам думается, что редакция не ошиблась бы, более последовательно сближая содержание обоих выпусков журнала — молдавского и русского.

Много у журнала задач. Молода литература Молдавии. Но ей открыт и богатейший опыт многонациональной советской литературы и славные традиции отечественной классики.

Молодому журналу можно и нужно поучиться у опытных собратьев — у всесоюзных журналов, у других, давно работающих республиканских журналов.

Союз писателей Молдавии должен иметь перспективный план развития молдавской литературы. Надо, чтобы и молодые и более опытные литераторы поняли, что обращение к большим, важным темам (если только оно серьёзно!) даёт художнику огромные силы, хотя и требует от него упорной, серьёзной работы, знания жизни.

Исторические решения XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза призывают всех советских писателей и один из его отрядов — молдавскую организацию — к творческой смелости, к новым завоеваниям и успехам.



Люди, которым принадлежит будущее

Прогрессивный американский писатель Ллойд Браун написал талантливую, правдивую книгу, рассказавшую о героической борьбе коммунистов против реакции и фашизма в США. Всё образное содержание его романа «Железный город» свидетельствует о том, что именно коммунистическая партия — это та сила, которая способна сплотить массы и повести их в наступление против мракобесия расистов, против коричневой паутины, всё больше и больше опутывающей Соединённые Штаты Америки. Книга Брауна проникнута боевым, наступательным духом, верой в силу коммунистической партии, указывающей людям труда путь к светлому будущему, к радости и счастью.

«Железный город» — отнюдь не многоплановое произведение. Здесь нет большого количества персонажей, нет параллельно развивающихся линий повествования. Действие романа происходит в тюрьме с её жестокими буднями. Герои книги — коммунисты-негры Генри Фолкон, Поль Гарпер и Айзек Зэккери, арестованные по обвинению в «неLOYALности». Эти три человека из тех, кто не сдаётся; находясь в заключении, они начинают мужественную борьбу за спасение негра Лонни Джеймса, сидящего в той же тюрьме и приговорённого к повешению по ложному обвинению в убийстве. В труднейших условиях коммунисты руководят развернувшимся на воле и принявшим массовый характер движением в защиту обречённого на смерть Джеймса.

Действие романа происходит весной и летом 1941 года, но кажется, что Браун говорит о послевоенных годах, так живо перекликаются с сегодняшним днём описываемые им события. Процессы против коммунистов, аресты и преследование прогрессивных деятелей, линчевание негров — всё

Ллойд Браун «Железный город». Изд-во иностранной литературы. Москва. 1953 год. Перевод с английского И. Кашкина. Редактор — Я. Засурский.

то, о чём рассказывает книга Брауна, приняло в современной Америке ещё более острую, жестокую форму. Правящая клика далеко зашла по пути фашизации страны, стараясь самыми варварскими мерами обезглавить рабочие массы, уничтожить коммунистическую партию, подавить движение в защиту мира.

Вслед за процессом над одиннадцатью лидерами компартии американскими мракобесами был организован процесс семнадцати коммунистов, затем процесс коммунистов Калифорнии и, наконец, процесс тринадцати руководителей компартии. Но в битву вступают новые и новые борцы, и никакой «закон Смита» не в силах уничтожить партию, которой принадлежит будущее.

Во время как буржуазные американские писатели гнут спину перед Уолл-стритом, Браун смело выступает против реакции и фашизма. Оружие писателя — слово, и он умело пользуется этим словом в борьбе за свободу и счастье трудового человечества.

Сила романа в том, что автор сумел нарисовать поэтические образы коммунистов, образы руководителей народных масс — смелых, мужественных, благородных людей. Лучшие черты народа воплощены в героях романа Брауна — Генри Фолконе, Поле Гарпере и Айзеке Зэккери. Они арестованы в числе двадцати шести коммунистов по обвинению в «заговоре с целью насильственного ниспровержения правительства» на основании «закона о преступном синдикализме». Все трое — Генри, Поль и Зэк — познакомились уже в тюрьме и здесь стали друзьями. Прочные, сердечные отношения, основанные на идейной близости, объединили этих людей.

Внешне они во многом разнятся: Поль Гарпер молод и горяч; Зэккери — человек выдержанный, серьёзный, прошедший школу жизни; нестареющий Фолкон полон жизнерадостного юмора. Всех их объединяет несокрушимая вера в коммунистическую партию, в победу коммунизма. Разные дороги при-

вели их в партию, но, однажды став на путь борьбы, они уже никогда не покинут его.

Полю Гарперу, руководителю коммунистической секции в Холлоу, двадцать семь лет. Восемнадцатилетним юношей он пришёл в партию и стал одним из активных её деятелей. Предприимчивый и энергичный Поль в тюрьме сразу завоевал авторитет у товарищей по заключению. Он образовал партийную группу, так как считал, что коммунисты — где бы они ни были — находятся на боевом посту.

Правильно решил Поль Гарпер, что борьба против смертного приговора Лонни имеет первостепенное политическое значение. Борьба против расизма — значит бороться против империализма, против фашизации страны и новой мировой войны, значит вести борьбу за жизнь и благосостояние широких масс американского народа.

Браун рисует Гарпера умелым организатором, обладающим, несмотря на молодость, большим опытом партийной работы.

Сердечность и теплоту придаёт образу Поля Гарпера и его большая любовь к жене Чарлин — верному товарищу и помощнику. С её помощью он и за стенами тюрьмы руководит движением в защиту Джеймса. Хотя читатель видит Чарлин только в те краткие минуты, когда она приходит на свидание к мужу, тем не менее он успевает полюбить эту маленькую мужественную женщину.

Два товарища Поля, старшие по возрасту, видят в нём своего руководителя, прислушиваются к его словам, спрашивают его мнения, хотя иногда им и приходится охлаждать не в меру горячего и пылкого друга. Они любовно называют Гарпера «наш Поль»... Фолкон взглянул на Поля. «Его улыбка говорила о тёплом чувстве, которое вызывал в нём этот долговязый юнец. Наш Поль — узколицый, длинноногий и длиннорукий, поджарый, как борзая, и такой же горячий. Перед ним длинный, трудный путь, но если кто-нибудь способен пройти его, так это именно он. Таких они зовут плохими неграми, с такими капитану Чарли¹ не сладить, разве что убить, так ведь таких и убить нелегко».

Обаятельны и точно очерчены образы Фолкона и Зэккери.

Генри Фолкону уже за шестьдесят. Это подвижной, деятельный, жизнерадостный человек. В нём покоряют чудесный юмор

¹ Капитаном Чарли негры называют белых (примечание переводчика).

и неослабевающая, неиссякающая энергия. Свою общественную деятельность он начал, участвуя в борьбе за сохранение жизни девяти юношам из Скоттсборо, которых вышудал электрический стул. Без устали выступал Фолкон на многочисленных митингах, собраниях, собирал пожертвования и подписи под петициями. И всё сильнее ненавидел он буржуазный строй.

Автор нашёл свежие, сильные краски для этого героя, наделив Фолкона выразительным, образным языком и народной мудростью, показав его достойным представителем талантливого, трудолюбивого негритянского народа, лучшие сыны которого поднимались не только на борьбу за свои права, но и за равенство всех народов, за мир во всём мире.

По-особому сложилась судьба Айзека Зэккери. Ещё в детстве, впервые увидев мчащийся поезд, он страстно захотел стать машинистом. Эта мечта не оставляла Айзека и позже, когда он работал сцепщиком и затем кочегаром. Не было ещё такого случая, чтобы чёрный стал машинистом, но «дерзкое» стремление не оставляло молодого негра. Его упорство, трудолюбие, все его помыслы были направлены к одной цели. Однако все усилия оставались тщетными, и наконец он понял, что в одиночку нельзя добиться счастья, что только вместе с другими пролетариями в жестокой борьбе он сможет завоевать право на настоящую жизнь, на любимый труд. Долгий путь, которым Зэккери шёл к истине, привёл его к коммунистам. Работая в профсоюзах, Зэккери «познакомился со своим народом, стал членом многолюдной семьи, членом сурового братства рабочих».

Немногословный и сдержанный, Зэккери внушает к себе уважение. В нём угадываются затаённая сила и упорство. Это стойкий и решительный боец, понявший, что не цвет кожи разъединяет людей, не расовые различия, а классовые. Их разъединяет власть и богатство одних и бесправие, бедность других. Но как донести это сознание до людей, чёрных и белых? Какая сила может переродить их сердца? Что нужно сделать, чтобы настал день, когда люди в комбинезонах, чёрные и белые, скрепят своё единство братским и дружеским рукопожатием? Сила эта — партия коммунистов. Выставляя кандидатами в президенты и вице-президенты Уильяма Фостера и Джеймса Форда — белого и чёрного, — партия обратилась к массам с призывом: «За единство, за равные права, за всеобщее братство!»

Зэккери и его жена Энни Мэй, прошедшая с ним рука об руку долгую и трудную жизнь, нашли наконец путь к истине. «Вот он, прямой поезд, и теперь, когда Айзек и Энни Мэй нашли его, они не сойдут с него, что бы ни ждало их впереди: удачи или испытания, счастье или беда... Сквозь тьму и опасность, мимо боковых путей и скрещений, все вперед и вперед... к тому великому грядущему дню, когда все люди сплотятся воедино...»

Простыми, суровыми чертами рисует Браун образ рабочего-коммуниста Зэккери, отмечая «торжественную серьезность этого великана, строгое, не улыбающееся лицо, медленное достоинство его речей». Вспоминая о прошлом Зэккери, автор знакомит читателей с Америкой 30-х годов: изображает рабочее движение, профсоюзную работу, депрессию и безработицу. Этот период жизни был отличной школой для Зэккери и его товарищей. И сейчас, в тюрьме, он твердо верит в победу дела, за которое борется, верит в людей, ведущих эту борьбу.

Тема коммунистической партии как организующей и ведущей силы народа, нации, является основой романа Брауна «Железный город». Писатель показывает маленькую группу, работающую в тюрьме так, что ясно видна тесная связь, объединяющая коммунистов, находящихся в заточении, со всей организацией, с широким народным движением, развивающимся за стенами каземата. Именно этим и определяется значение книги. Браун раскрыл в своём романе историческую правду, показал жизненное единство коммунистов и трудящихся масс и осветил те тяжёлые условия, в которых Коммунистическая партия США борется за человеческие права, за мир и свободу. Буржуазная демократия, которая долгое время кичилась принципами гуманизма и демократизма, уже сбросила старую маску и обнажила свою подлинную реакционную сущность.

«Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт,— сказал товарищ Сталин с трибуны XIX съезда.— Я думаю, что это знамя придётся поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народа. Больше некому его поднять». Эти слова, обращённые И. В. Сталиным к братским коммунистическим партиям, работающим в странах, где господствует капитал, указывают направление и методы борьбы. Неразрывная связь с народом делает ком-

партия непобедимыми, и народные массы видят в них последовательных и единственных защитников интересов трудящихся. Роман «Железный город» правдиво показывает — и в этом его ценность, — как борются коммунисты с самым опасным врагом демократии — американским империализмом.словно лучом прожектора, Браун выхватил кусок жизни — события, происшедшие в Мононгазельской тюрьме, — и в нём, как в зеркале, отразил типические черты «американского образа жизни»: травлю и преследование коммунистов, разнуданный фашистский террор «куклужсклановцев», подавление всякой прогрессивной мысли.

Показательна в этом смысле и судьба Гарвей Оуэнса, заключённого вместе с Полем, Зэккери и другими. Его прозвали «Арми» (солдатом) потому, что он служил в армии. Уходя из тюрьмы, Оуэнс, радостный и полный надежд, прощается со своими друзьями, которых успел полюбить. И вот автор заглядывает в будущее этого человека, рассказывает о новых военных походах «Армии», о его наградах, о его женитьбе и, наконец, о его конце — страшном, чудовищном, но таком обычном в Соединённых Штатах Америки: «Опять весна, шестая весна после той, которая застала тебя в Мононгазельской окружной тюрьме, и, признаться, хоть все остальное плохо на Юге, но весна забирает здесь крепко, братец! Здесь всего-навсего старый городишко, и даже не заметишь, как уже вышел на шоссе, и асфальт пружинит под ногой, а звезды над твоей головой большие и тяжёлые. И ночь теплая и молодая, как все в тебе и вокруг. А твой дружок со своей женой идут позади и шушукуются и смеются каким-то своим секретам, но у тебя с твоей женошкой уже завелись свои секреты, и вам нет дела до чужих. Но тут вас нащупают автомобильные фары, остановятся четыре машины, вылезут белые, и ты будешь говорить им, что ничего дурного не сделал, но у них в руках ружья, они выстроят вас в канаве и убьют. Четыре ружья, каждый с двумя стволами. Тебя, и твою жену, и твоего приятеля, и его жену, и там, где найдут ваши тела, красная глина будет еще краснее».

Эта страшная расправа — обычное явление в современной Америке. Ведь в Пикскилле сотни бандитов, именующих себя «свободными гражданами», собравшись линчевать Поля Робсона, напали на мирных, но мужественных людей во главе с извест-

ным всему миру писателем Говардом Фастом. Да, страшно жить в Америке! Но против террора и реакции выступают героические борцы. Им, этим доблестным людям, и посвятил свою книгу Ллойд Браун.

Каждой строкой своего романа писатель обличает ужасы «американского образа жизни», зверски поправшего естественные человеческие права.

Дело Лонни Джеймса — это также типичный случай расовой дискриминации. Лонни приговорили к повешению за то, что он якобы убил белого человека. Но достаточно внимательно прочитать в материал следствия, и мы поймём, что он не только не убивал, но и не мог убить. Комедия суда, громкий процесс со «свидетелями» и «защитниками» нужны лишь для того, чтобы отвлечь внимание масс от классовой борьбы. Подобные правовые инсценировки — явление, широко распространённое в США. Наряду с «законом Линча», когда человека без суда и следствия вздёргивают на первом попавшемся дереве или сжигают живьём, существует ещё и так называемое «узаконенное линчевание», при котором убивают невинного, предварительно заставляя его участвовать в судебном фарсе, «освящённом» законом и конституцией.

Дело девяти негров из Скоттсборо в тридцатых годах было встречено с возмущением не только в США, но и за пределами страны. Процесс шести негров из Трентона, ложно обвинённых в убийстве, вызвал такую волну протеста, что власти не решились вынести смертный приговор и «милостиво» осудили ничем не провинившихся людей на пожизненное заключение. Не так давно был казнён Вилли Макги, против которого было сфабриковано обвинение в изнасиловании белой женщины. Таких примеров можно привести множество; все они свидетельствуют о разнузданной травле негритянского народа, о разгуле расистов.

Лонни Джеймс, рабочий из Кэйнспорта, никогда не подозревал даже, что он может оказаться преступником. Но его схватили и бросили в тюрьму, принуждали сознаться в различных преступлениях и, наконец, остановились на одном: он убил аптекаря. «Шестнадцать дней и шестнадцать ночей они обрабатывали меня. И каждый раз меня возили в другое полицейское управление. Это плохо. Так плохо, что я вам и рассказать не сумею».

Лонни не сдавался: ведь он не виновен. Но что он мог сделать один?! А он всю

жизнь был один. Сирота, он с детства думал, что надо надеяться только на себя. Тогда же Лонни узнал, что кличка «цветной» не даёт ему права чувствовать себя человеком равным среди других. Уже в сиротском доме он понял: на его родине иметь тёмную кожу — значит подвергаться оскорблениям и унижениям. С детства озлобленный, не получая ласки и внимания, он вымещал свои обиды в драках. Когда вырос, замкнулся, твёрдо уверовав, что все белые — его враги.

В тюрьме Лонни знакомится с коммунистами Полем, Эзккери и Генри. Эти люди встали на его защиту. Впервые в жизни он обрёл друзей, почувствовал силу коллектива. Массовое движение, развернувшееся в его защиту, убедило Лонни, что сила народа крепче тюремных заповоротов, что есть люди, которые борются за справедливость и правду, за будущее народных масс. Эти люди — коммунисты. Всё его существо наполнилось благодарностью к ним за то, что они хотят спасти не только его, но и всех таких, как он. Это внутреннее духовное преображение молодого негра, накануне казни ощутившего полноту и радость жизни, почувствовавшего могущество коллектива, показано автором наглядно и убедительно.

Мы не знаем, удалось ли спасти Лонни. Но читатель убеждён в том, что мужественные люди, вставшие за правое дело, победят. Борьба за жизнь Лонни — это спасение многих других жертв американского империализма, борьба против реакции, фашизма, и это понимают не только коммунисты, но и Лонни. На вопрос: «Что же ваши друзья? Собираются они что-нибудь предпринять для вашего освобождения?» — Поль Гарпер отвечает: «Конечно, собираются... Борьба за Лонни — это неотъемлемая часть борьбы за нас. Те же, кто сфабриковал его дело, сфабриковали и наше... Люди вспоминают, что мы всегда выступали... — и в деле юношей из Скоттсборо и в других случаях — и всегда боролись против зверств полиции, стальных и угольных компаний и их наемных убийц, терроризирующих все заводские и шахтерские города».

Не сочувствием и жалостью к жертвам террора и реакции, а верой в их торжество пронизана вся книга.

Не смирение и покорность дяди Тома — образ, долгое время бытовавший в литературе о негритянском народе, — характеризуют героев романа «Железный город», а наступление, протест, активное сопротивление.

Самые лучшие, передовые представители негритянского народа встают в ряды коммунистической партии плечом к плечу со своими белыми товарищами, чтобы сражаться за свободу страны. Жаль только, что автор ограничил действующих лиц романа одними неграми. Это сужает рамки охвата действительности, ослабляет идейное и художественное значение книги. Вместе с тремя неграми-коммунистами в Мононгальскую тюрьму попали трое белых. Упомянув об этом, автор, хотя он и подробно описывает жизнь тюрьмы, не нашёл всё же нужным отвести им место в романе, не показал, какое участие белые принимают в работе партийной группы и комитета по спасению жизни Лонни. Хотелось бы также, чтобы на страницах романа получила достаточно полное отражение работа коммунистической секции на воле, та работа, которой руководят заключённые коммунисты. Правда, автор ограничивает место действия только пределами тюрьмы, но свободное построение композиции позволяет ему раздвинуть эти рамки. Так, читатель знакомится со всей прошлой жизнью героев. Автор говорит о будущей их судьбе, например, о трагической судьбе «Арми», которая дана в авторском отступлении. Таким образом, расширяя время и место действия, Браун широко и полно знакомит читателя с жизнью страны. И это делало возможным развернуть картину деятельности коммунистов на воле, что значительно обогатило бы роман.

Ллойд Браун — журналист. Он выступил со своим первым крупным художественным произведением, имея за плечами большой опыт профсоюзной работы. С юности Браун участвовал в рабочем движении, и это дало ему возможность наблюдать жизнь и борьбу рабочего класса, пробуждение и сплочение негритянского народа. Опубликовав свой первый роман, Браун тем самым встал в ряды прогрессивных литераторов, произведения которых являются надёжным оружием

в битве за мир, против оплота мировой реакции — американского империализма.

Прогрессивная общественность США высоко оценила «Железный город» Брауна. Глубокий оптимизм этого романа отмечают Говард Фаст, Джон Говард Лоусон, Генри Уинстон и другие. «Эта книга, — пишет Поль Робсон, — зовет к борьбе за мир, за свободную и счастливую Америку».

Браун создал картину счастливого будущего, рассказывая о сне, привидевшемся Фолкону. Ему, этому жизнерадостному и деятельному человеку, снится, будто он выступает на митинге. Собралось более миллиона... два миллиона человек. Они будут его слушать. Но Фолкон хочет не только говорить, он знает, что должен совершить нечто такое, что приблизило бы «сияющий день» дружбы народов. Будущее представляется ему, как осуществление этой великой мечты.

Писатель говорит о стремлении людей труда к мирной, счастливой жизни для всех народов, о их растущей ненависти к империализму, войнам. Ллойд Браун показал благородство и несокрушимость коммунистов — передовых борцов за светлое будущее человечества.

Ясная, страстная, партийная направленность «Железного города» — живое свидетельство роста передового искусства, тесно связанного с освободительной борьбой народных масс.

Характеризуя роман, теоретический орган компартии США, журнал «Политикл афферс», писал: «Опубликование романа «Железный город» явилось событием первостепенного значения в литературной и политической жизни страны. Роман вступил на арену идеологической борьбы в то время, когда капиталисты Уолл-стрит и их правительство проводят политику фашизации Соединенных Штатов, политику подготовки новой мировой войны».

В этих словах дана точная оценка романа — его идейной смелости, глубины и высокой действенности.

Главный редактор — **Вадим КОЖЕВНИКОВ.**

Редколлегия: **П. ВЕРШИГОРА, Б. ЛЕОНТЬЕВ, А. МАКАРОВ, Т. СЕМУШКИН, Л. СКОРИНО, А. СОФРОНОВ, Ник. ТИХОНОВ, А. ЧАКОВСКИЙ.**

Адрес редакции: Москва, ул. Станиславского, 24. Телефоны: Б 9-52-93; Б 9-06-91
и Б 9-53-85.

А 00124.

Изд. № 224.

Заказ № 443.

Тираж 130 000 экз.

Подписано к печати 10/III 1953 г. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 6 бум. л.—16,44 печ. л.

Типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.

Цена 5 руб.